This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

01192

Въ пользу бѣдныхъ матерей и дѣтей, пострадавшихъ отъ цынги и тифа въ Воронежской губерніи.

РУССКИМЪ МАТЕРЯМЪ.

СБОРНИКЪ РАЗСКАЗОВЪ И СТИХОТВОРЕНІЙ

О МАТЕРЯХЪ И ДѢТЯХЪ,

составленный изъ произведеній: С. Аксакова, А. Апухтина, К. Баранцевича, А. Барыковой, Н. Гоголя, гр. А. Голенищева-Кутузова, Дніпровой-Чайки, Ѳ. Достоевскаго, В. Короленко, Кота-Мурлыки (Н. Вагнера), В. Лихачева, Н. Лѣскова, А. Майкова, Д. Марковича, Д. Мережковскаго, С. Надсона, Н. Некрасова, И. Никитина, А. Плещеева, А. Подолинскаго, Печерскаго (Мельникова), Я. Полонскаго, В. Слѣпцова, И. Сурикова, Л. Толстого, И. Тургенева, Г. Успенскаго, В. Чайченко, О. Чуминой, Т. Шевченко, Е. Шелеметьевой и другихъ.

Къ сборнику приложены: акварельный рисунокъ Е. Бемъ „За кусочками—притомился“ (на обложкѣ); снимки съ картинъ: Н. Касаткина „Осиротѣли“ и В. Маковскаго „Въ ученьи“, и рисунки Е.Бемъ, К. Лебедева и В. Переплетчикова къ разсказамъ „Питомка“ и „Пріемышъ“.

Составилъ **И. ГОРБУНОВЪ-ПОСАДОВЪ.**

ЦѢНА 1 РУБ.

МОСКВА.
Типографія И. Д. Сытина и К., Валовая улица, собств. домъ.
1892

ПРЕДИСЛОВІЕ.

I.

Всегда около всѣхъ насъ были и есть тяжело нуждающіяся и горюющія матери и дѣти, но въ этомъ году особенно много ихъ было среди нашего народа. Не стану уже говорить о томъ, каково приходилось матерямъ голодавшихъ дѣтей, — это уже прошло: пришедшая со всѣхъ сторонъ помощь дала имъ возможность вздохнуть посвободнѣе. Но широко распространившіяся въ неурожайныхъ губерніяхъ болѣзни — тифъ и цынга — оставили многихъ матерей вдовами съ большими семьями на рукахъ, и притомъ очень многихъ вдовами уже старыми, больными, искалѣченными въ свою очередь слѣдами этихъ болѣзней, — такими, словомъ, которыхъ никто за себя не беретъ и которымъ однѣмъ приходится биться изъ-за куска хлѣба для своихъ ребятъ.

Такихъ женщинъ много и въ той мѣстности, гдѣ я живу, гдѣ широкой полосою прошла цынга, переморивъ и перекалѣчивъ сотни людей, пока не подоспѣла помощь. Я засталъ многихъ изъ такихъ вдовъ заброшенными, совершенно одинокими, лежащими безъ движенія много недѣль, съ ногами скорченными отъ общей порчи крови и внутреннихъ кровоизліяній, съ дѣтьми безъ всякаго призора. Только сосѣди, кое-когда заглядывавшіе чтобы что-нибудь спечь и сварить имъ, не давали этимъ семьямъ совсѣмъ загибнуть.

Теперь, благодаря усиліямъ нѣсколькихъ дѣятельныхъ людей, большинство такихъ женщинъ уже поднялось, движется и кое-какъ кормитъ дѣтей и себя. Но многія изъ нихъ надолго останутся неспособными къ настоящему крестьянскому труду, да и способнымъ трудно очень одѣмъ прокормиться съ кучею дѣтей. Есть же настолько искалѣченныя, ослѣпшія и т. д., которыя сами, какъ малыя дѣти, требуютъ постояннаго ухода и поддержки.

Среди цынготныхъ у насъ было также очень много матерей съ грудными дѣтьми Тяжело было очень видѣть молодыхъ женщинъ, лежавшихъ безъ движенія, съ сохнущими малютками, тоскливо пищавшими подлѣ нихъ и ничего не находившими въ грудяхъ матерей, обезсиленныхъ цынгою.

И эти матери почти всѣ повставали теперь и, хотя съ трудомъ, да ходятъ. Но нуженъ большой притокъ силъ, чтобы оживить ихъ изнуренный материнскій организмъ; нужно долгое хорошее питанье матерей и усиленное подкармливанье дѣтей, чтобы въ нихъ проснулась мало-мальски здоровая жизнь и изгладились бы тяжелые слѣды цынги.

Для всѣхъ такихъ семей необходимы, напримѣръ, коровы, — а ихъ-то теперь можно найти здѣсь только въ немногихъ дворахъ, и то всѣ коровы даютъ самое ничтожное количество молока вслѣд-

ствіе полной безкормицы, такъ какъ дождей всю весну не было, травы въ степи чрезвычайно плохи, и скотина совершенно отощавшая. Нужно, значитъ, не только снадбить такія семьи (хотя бы наиболѣе бѣдствующія) коровами, но и запасти корма для скотины.

Таковы однѣ изъ горестей и нуждъ матерей въ нашихъ мѣстахъ,— приблизительно таковы же онѣ и во многихъ изъ пострадавшихъ мѣстъ. Это — горести и нужды матерей, вдовъ и женъ, но послѣ голодныхъ болѣзней поостаралось много и круглыхъ сиротъ. Однихъ поразбирали добрые люди, о другихъ нужно непремѣнно позаботиться, нужно найти имъ хорошій пріютъ, обуть, одѣть и кормить ихъ.

Вотъ ради помощи хоть немногимъ такимъ матерямъ и сиротамъ (въ нашей и другихъ мѣстностяхъ) я и задумалъ изданіе этого сборника. Вся выручка съ него должна пойти на это. Объ употребленіи денегъ, полученныхъ отъ продажи сборника, данъ будетъ подробный отчетъ.

II.

Я собралъ въ этой книгѣ тѣ произведенія писателей нашихъ, въ которыхъ болѣе или менѣе задушевно и проникновенно выразилось у нихъ глубокое благоговѣніе предъ материнской и дѣтской любовью и горячее сочувствіе материнскимъ и дѣтскимъ скорбямъ и страданіямъ.

Безконечно милый, безконечно любимый образъ матери вѣчно живетъ въ нашей душѣ. Среди катящихся волнъ жизни мы иногда забываемъ о немъ, но стоитъ только наступить минутамъ тяжкихъ испытаній—и мы зовемъ дорогой образъ всею нашею любовью, чтобы хотя въ воспоминаньи увидѣть милую, кроткую улыбку матери, ея добрые, нѣжно глядящіе глаза, чтобы услыхать родной, тихій, душу всю согрѣвающій голосъ, чтобы почувствовать ласковыя, теплыя слезы участья, текущія по нашему лицу со склонившейся надъ нами старческой головы...

Мы знаемъ, что она-то ужъ всегда—и при жизни, и въ воспоминаньи, изъ-за могилы—всегда поддержитъ, всегда отогрѣетъ насъ дыханьемъ своей святой, безкорыстной, многотерпѣливой любви.

Изъ-за дали разлуки, изъ-за гробового предѣла, протягиваются къ намъ милыя руки, нѣжно обнимаютъ насъ и не даютъ намъ упасть подъ тяжестью самыхъ жестокихъ ударовъ и терзаній.

«Великое, святое слово *мать*», говоритъ поэтъ, — и правда, въ самомъ словѣ этомъ звучитъ для каждаго что-то самое родное, близкое и дорогое.

Вотъ отчего какъ только талантъ искренняго и сердечнаго писателя прикасается къ чему-нибудь, выражающему глубокую и вѣчную связь матери и ребенка, слово этого писателя начинаетъ звучать самой сильной и захватывающей любовью.

Такихъ страницъ много въ нашей литературѣ, — я успѣлъ

собрать здѣсь только небольшую частичку и прошу прощенія, если проглядѣлъ, вѣроятно, многое лучшее въ произведеніяхъ писателей нашихъ, что могло бы, можетъ быть, составить однѣ изъ трогательнѣйшихъ страницъ сборника.

Я прошу прощенія также у лучшихъ авторовъ нашихъ за то, что вплелъ въ вѣнокъ ихъ прекраснѣйшихъ чувствъ и образовъ свои блѣдные опыты.

III.

Въ книгѣ этой много страницъ печали, много строкъ, пропитанныхъ слезами измученныхъ, скорбящихъ и осиротѣвшихъ материнскихъ и дѣтскихъ сердецъ.

Въ часы тяжкихъ душевныхъ страданій, разлуки и смерти, какъ ключъ живой воды, всего сильнѣе выбиваются изъ души самыя чистыя и дорогія наши чувства. Этими часами глубокой муки и скорби всегда провѣряется и очищается вся наша любовь. Теряется все, что въ ней было себялюбиваго — исканье и ожиданье отъ любимыхъ существъ личныхъ радостей, личныхъ наслажденій, — и остаются одни только самыя чистыя, самыя святыя, неумирающія чувства человѣка, и изъ нихъ особенно свѣтло выступаетъ чувство тайной вѣчной связи матери и ея ребенка.

Кромѣ такихъ очищающихъ мукъ и скорбей, вся жизнь вокругъ насъ переполнена такими слезами и страданьями, которыя уже не поднимаютъ, а чрезмѣрностью своею давятъ и пригнетаютъ душу.

Мы-же зачастую безучастно проходимъ мимо подобныхъ страданій, или вовсе не замѣчая ихъ, или стараясь поскорѣе проскользнуть мимо, чтобы не доставить себѣ непріятныхъ ощущеній.

Но не такъ поступаютъ отзывчивые писатели-художники, — на то они и стоятъ среди насъ, чтобы будить въ насъ живую душу. Они чаще всего останавливаются предъ безутѣшною скорбью, они перестрадываютъ ее вмѣстѣ со скорбящими и, облекая ее потомъ въ образы и звуки, приносятъ намъ, говоря: «Вотъ тѣ слезы и страданья, мимо которыхъ вы равнодушно прошли. Мы собрали ихъ, сами переплакали и переболѣли ими и принесли ихъ вамъ, чтобы они, наконецъ, дошли до вашего сердца и тронули бы его, чтобы вы забыли о своихъ личныхъ заботахъ въ самоотверженной жалости и трудѣ для облегченія этихъ обойденныхъ вами мукъ и скорбей».

Среди этого обходимаго нами горя есть много мукъ и скорбей материнскихъ и дѣтскихъ, и изъ нихъ материнскія — самыя глубокія и тяжелыя.

Кто много любитъ, тотъ много страдаетъ. Немного на свѣтѣ есть любви, которая была бы сильнѣе и безпредѣльнѣе любви материнской, и мало на свѣтѣ страданій сильнѣе материнскихъ страданій!

Мать знаетъ высшую радость на свѣтѣ — радость всепоглощающей, безграничной, безкорыстнѣйшей любви. Въ мукахъ и радо-

стныхъ слезахъ родитъ она своихъ слабыхъ и голодныхъ птенцовъ, кормитъ и защищаетъ ихъ своею всевыносящею грудью. Вся жизнь ихъ расцвѣтаетъ подъ солнцемъ ея любви.

Мать знаетъ и сильнѣйшее горе на свѣтѣ. Всѣ съ удовольствіемъ берутъ свою долю въ семейномъ счастьи, но самый тяжелый, непримѣтный, въ потѣ лица, трудъ для этого счастья падаетъ на мать. Всѣ съ отрадою пользуются семейными радостями, но темныя стороны жизни семьи—тысячи большихъ и мелкихъ горестей и тяжелыхъ заботъ, подавляющая нужда, семейный разладъ, порочная жизнь дѣтей, ихъ тѣлесныя, душевныя и нравственныя уродства и несчастья—все это обрушивается сильнѣе всего на мать.

Тамъ, гдѣ всѣ отступаютъ, махаютъ рукой и уходятъ, она одна поддерживаетъ, помогаетъ и спасаетъ.

Ничто не можетъ ослабить или уничтожить любовь матери — никакая неблагодарность, никакое забвеніе, никакія обиды и оскорбленія отъ любимыхъ существъ. Она выносила ихъ подъ своимъ сердцемъ, и ничто не можетъ оторвать ея сердца отъ нихъ.

Зато сердце это часто истекаетъ кровью, невидимо ни для кого, потому что самая сильная материнская скорбь и самая самоотверженная любовь матери меньше всего видны для кого-нибудь, и только одинъ Богъ и душа ея знаютъ, что приходится переносить ей.

IV.

Тебѣ, родная моя, дорогая моя мама, посвящаю я этотъ сборникъ.

Твоя жизнь была почти безпрерывнымъ страданьемъ, и оттого-то всякое страданье находило въ твоей душѣ родной отголосокъ. Всю душу свою ты готова была отдать тѣмъ, чья жизнь была полна скорби, обидъ и лишеній. Послѣднимъ дѣлилась ты съ ними, сама часто ничего не имѣвшая.

Пусть же мысль объ изданіи этого сборника и нѣсколько моихъ въ немъ страничекъ будутъ твоей копеечкой въ общей складчинѣ для матерей—сестеръ твоихъ, и для дѣтокъ, которыхъ всѣхъ ты такъ крѣпко любила.

Ты стояла передо мною, когда я задумывалъ эту книгу; твой голосъ точно говорилъ мнѣ изъ другого міра о томъ, что нужно и мнѣ сдѣлать хоть что-нибудь, что съумѣю, для того, чтобы помочь тѣмъ, ради кого издается эта книга.

Пусть же и оттуда, изъ міра вѣчнаго свѣта, твоя рука подастъ чрезъ сына свою милостыню тѣмъ несчастнымъ, о которыхъ всегда горячо плакало твое изстрадавшееся сердце.

28 мая 1892 года.

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Кончившей земную жизнь, но вѣчно-живой
для меня матери моей
Еленѣ Горбуновой
посвящаю этотъ сборникъ.

Составитель.

. . . . . .

И кроткій образъ твой сіяетъ надо мной
Улыбкой нѣжнаго участья и привѣта,
И тихо говоритъ: „Иди, иди за мной!..“
И озаряетъ путь живительной волной
Неугасающаго свѣта.
Родная, милая, живи во мнѣ, живи!..
Что значитъ смерть измученнаго тѣла
Предъ чудной силою божественной любви,
Незнающей кончины и предѣла?!..

И. Г.-П.

Новое знакомство.

(Къ картинѣ К. В. Лемоха).

«Женщина, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому что пришелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, — уже не помнитъ скорби отъ радости, потому что родился человѣкъ въ міръ».

(Іоанна гл. 16, ст. 21).

Ребенокъ родился, — желанный гость въ семьѣ,
Кормилецъ будущій, работникъ... Слава Богу!..
Мать молодая рада; въ сладкомъ забытьѣ
Лежитъ, усталая... Надъ люлькою убогой
Склонилась бабушка сѣдою головой
И внучкѣ старшенькой показываетъ брата,
Обнявъ малютку крѣпко ласковой рукой,
И шепчетъ: — „Няньчить будешь?..“
Малые ребята
Сосѣдскіе зашли провѣдать, стали въ рядъ
Въ дверяхъ избушки смирно, робко, у порога;
На люльку издали въ раздуміи глядятъ;
И любопытно имъ, и боязно немного:
„Рабёночекъ?.. Отколь?.. И какъ онъ къ нимъ попалъ?..“
Имъ дивно. — „Не было?.. И вдругъ — Господь послалъ!..“
Невинны лица ихъ. Ни зло, ни грязь земная
Еще ихъ не коснулась; дѣтская душа
Въ глазахъ ихъ свѣтится чиста и хороша...
Такихъ любилъ Христосъ. Такихъ, благословляя,

Онъ, „Кроткій“, всѣмъ въ примѣръ намъ ставилъ и ласкалъ,
И Царствіе Свое имъ—„малымъ“ обѣщалъ...
Надъ бѣдной колыбелью—тишина святая;
Но въ этой тишинѣ Христосъ намъ говоритъ:
„Любите малыхъ сихъ! Дитя—душа живая;
Зародышъ жизни новой, свѣтлой въ ней сокрытъ.
Любите малыхъ сихъ! Они вамъ освѣщаютъ
Тяжелый, трудный путь, въ нихъ новый Божій свѣтъ,
Они вамъ близость Царства Моего вѣщаютъ,
Они—живой залогъ грядущихъ лучшихъ лѣтъ!..“

А. Барыкова.

Первыя воспоминанія.

(Изъ неизданныхъ авто-біографическихъ замѣтокъ Л. Н. Толстого).

Вотъ первыя мои воспоминанія (которыя я не умѣю поставить по порядку, не зная, что было прежде, что послѣ. О нѣкоторыхъ даже не знаю, было ли то во снѣ или на яву), вотъ они: я связанъ; мнѣ хочется выпростать руки, и я не могу этого сдѣлать, и я кричу и плачу, и мнѣ самому непріятенъ мой крикъ; но я не могу остановиться. Надо мной стоятъ нагнувшись кто-то, я не помню кто. И все это въ полутьмѣ. Но я помню, что двое. Крикъ мой дѣйствуетъ на нихъ: они тревожатся отъ моего крика, но не развязываютъ меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Имъ кажется, что это нужно (то-есть чтобъ я былъ связанъ), тогда какъ я знаю, что это не нужно, и хочу доказать имъ это, и я заливаюсь крикомъ, противнымъ для самого себя, но неудержимымъ. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалѣютъ меня, но судьбы, и жалость надъ самимъ собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я былъ грудной, и я выди-

ралъ руки, или это пеленали меня, уже когда мнѣ было больше года, чтобы я не расчесывалъ лишаи; собралъ ли я въ одно это воспоминаніе, какъ то бываетъ во снѣ, много впечатлѣній, но вѣрно то, что это было первое и самое сильное мое впечатлѣніе жизни. И памятно мнѣ не крикъ мой, не страданія, но сложность, противурѣчивость впечатлѣнія. Мнѣ хочется свободы, она никому не мѣшаетъ, и я, кому сила нужна, я слабъ, а они сильны.

Другое впечатлѣніе радостное. Я сижу въ корытѣ, и меня окружаетъ новый не непріятный запахъ какого-то вещества, которымъ трутъ мое маленькое тѣльце. Вѣроятно это были отруби, и вѣроятно въ водѣ и корытѣ, но новизна впечатлѣнія отрубей разбудила меня, и я въ первый разъ замѣтилъ и полюбилъ свое тѣльце, съ видными мнѣ ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученныя руки няни и теплую парную, струящуюся воду и звукъ ея, и, въ особенности, ощущеніе гладкости мокрыхъ краевъ корыта, когда я водилъ по нимъ ручонками.

Странно и страшно подумать, что отъ рожденія моего и до трехъ лѣтъ, въ то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли отъ груди, когда я сталъ ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искалъ въ своей памяти, я не могу найти ни однихъ впечатлѣній кромѣ этихъ двухъ.

Когда же я начался? Когда началъ жить? И почему мнѣ радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, какъ и теперь страшно многимъ, представлять себя тогда, когда я опять вступлю въ то состояніе смерти, отъ котораго не будетъ воспоминаній, выразимыхъ словами?

Развѣ я не жилъ тогда, когда учился смотрѣть, слушать, понимать, говорить, когда спалъ, сосалъ грудь и цѣловалъ грудь, и смѣялся и радовалъ мою мать? Я жилъ и блаженно жилъ! Развѣ не тогда я пріобрѣталъ все то, чѣмъ я теперь живу, и пріобрѣталъ такъ много, такъ быстро, что во всю остальную жизнь я не пріобрѣлъ и одной сотой того? Отъ пятилѣтняго ребенка до меня только шагъ. Отъ новорожденнаго до пятилѣтняго страшное разстояніе. Отъ зародыша до новорожденнаго—пучина. А отъ несуществованія до зародыша отдѣляетъ уже не пучина, а непостижимость. Мало того,

что пространство, и время, и причина суть формы мышленія, и что сущность жизни внѣ этихъ формъ, но вся жизнь наша есть большее и большее подчиненіе себя этимъ формамъ и потомъ опять освобожденіе отъ нихъ.

Слѣдующія воспоминанія мои относятся уже къ четыремъ, пяти годамъ, но и тѣхъ очень немного, и ни одно изъ нихъ не относится къ жизни внѣ стѣнъ дома. Природа до пяти лѣтъ не существуетъ для меня. Все, что я помню, все происходитъ въ постелькѣ, горницѣ. Ни травы, ни листьевъ, ни неба, ни солнца не существуетъ для меня. Не можетъ быть, чтобъ не давали мнѣ играть цвѣтами, листьями, чтобъ я не видалъ травы, чтобы не защищали меня отъ солнца, но лѣтъ до пяти, до шести нѣтъ ни одного воспоминанія изъ того, что̀ мы называемъ природой. Вѣроятно, надо уйти отъ нея, что̀бы видѣть ее, а я былъ природа.

Слѣдующее за корытцемъ воспоминаніе есть воспоминаніе *Еремеевны*. „Еремеевна“ было слово, которымъ насъ, дѣтей, пугали. И вѣроятно уже давно пугали, но мое воспоминаніе о ней такое: я въ постелькѣ, и мнѣ весело и хорошо, какъ и всегда, и я бы не помнилъ этого, но вдругъ няня или кто-то изъ того, что̀ составляетъ мою жизнь, что-то говоритъ новымъ для меня голосомъ и уходитъ, и мнѣ дѣлается, кромѣ того что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не одинъ, а кто-то еще такой же, какъ я. (Это вѣроятно моя годомъ младшая сестра Машенька, съ которой наши кроватки стоятъ въ одной комнаткѣ). И вспоминаю, что есть положокъ у моей кроватки, и мы вмѣстѣ съ сестрою радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось съ нами, и я прячусь въ подушку, и прячусь, и выглядываю въ дверь, изъ которой жду чего-то новаго и веселаго. И мы смѣемся, и прячемся, и ждемъ. И вотъ является кто-то въ платьѣ и въ чепцѣ, все такъ, какъ я никогда не видалъ, но я узнаю, что это та самая, кто всегда со мной (няня или тетка, я не знаю), и эта кто-то говоритъ грубымъ голосомъ, который я узнаю, что-то страшное про дурныхъ дѣтей и про Еремеевну. Я визжу отъ страха и радости и точно ужасаюсь и вмѣстѣ радуюсь, что мнѣ страшно, и хочу, чтобы тотъ, кто меня пугаетъ, не зналъ, что я узналъ

ее. Мы затихаемъ, но потомъ опять нарочно начинаемъ перешептываться, чтобы вызвать опять Еремеевну.

Подобное воспоминанію Еремеевны есть у меня другое, вѣроятно позднѣйшее по времени, потому что болѣе ясное, но навсегда оставшееся для меня непонятнымъ. Въ воспоминаніи этомъ играетъ главную роль нѣмецъ Ѳедоръ Ивановичъ, нашъ учитель, но я знаю навѣрное, что еще я не нахожусь подъ его надзоромъ; слѣдовательно, это происходитъ до пяти лѣтъ. И это первое мое впечатлѣніе Ѳедора Ивановича. И происходитъ это такъ рано, что я еще никого, ни братьевъ, ни отца, никого не помню. Если и есть у меня представленіе о какомъ-нибудь отдѣльномъ лицѣ, то только о сестрѣ, и то только потому, что она одинаково со мною боялась Еремеевны. Съ этимъ воспоминаніемъ соединяется у меня тоже первое представленіе о томъ, что въ домѣ у насъ есть верхній этажъ. Какъ я забрался туда, самъ ли зашелъ, кто меня занесъ, я ничего не помню, но помню то, что насъ много, мы всѣ хороводомъ держимся рука за руку, въ числѣ держащихся есть чужія женщины (почему-то мнѣ памятно, что это прачки), и мы всѣ начинаетъ вертѣться и прыгать, и Ѳедоръ Ивановичъ прыгаетъ, слишкомъ высоко поднимая ноги и слишкомъ шумно и громко, и я въ одно и то же мгновенье чувствую, что это нехорошо, развратно, и замѣчаю его, и кажется начинаю плакать, и все кончается.

Вотъ все, что я помню до пятилѣтняго возраста. Ни своихъ нянь, тетокъ, братьевъ, сестеръ, ни отца, ни комнатъ, ни игрушекъ, я ничего не помню. Воспоминанія, болѣе опредѣленныя, начинаются у меня съ того времени, какъ меня перевели внизъ къ Ѳедору Ивановичу и къ старшимъ мальчикамъ.

При переводѣ меня внизъ къ Ѳедору Ивановичу и мальчикамъ я испыталъ въ первый разъ, и потому сильнѣе, чѣмъ когда-либо послѣ, то чувство, которое называютъ чувствомъ долга, называютъ чувствомъ креста, который призванъ нести каждый человѣкъ. Мнѣ было жалко покидать привычное (привычное отъ вѣчности), грустно было, поэтически грустно разставаться не столько съ людьми, съ сестрой, съ няней, съ теткой, сколько съ кроваткой, съ положкомъ, съ подушкой, и страшна была та новая жизнь, въ которую я вступалъ. Я

старался находить веселое въ той новой жизни, которая предстояла мнѣ; я старался вѣрить ласковымъ рѣчамъ, которыми заманивалъ меня къ себѣ Ѳедоръ Ивановичъ, старался не видѣть того презрѣнія, съ которымъ мальчики принимали меня, меньшого, къ себѣ; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику съ дѣвочками, и что ничего хорошаго не было въ этой жизни наверху съ няней; но на душѣ было страшно грустно, и я зналъ, что я безвозвратно терялъ невинность и счастье, и только чувство собственнаго достоинства, сознаніе того, что я исполняю свой долгъ, поддерживало меня.

Много разъ потомъ въ жизни мнѣ приходилось переживать такія минуты на распутьяхъ жизни, вступая на новыя дороги. Я испытывалъ тихое горе о безвозвратности утраченнаго. Я все не вѣрилъ, что это будетъ. Хотя мнѣ и говорили про то, что меня переведутъ къ мальчикамъ, но, помню, халатъ съ подтяжкой, пришитой къ спинѣ, который на меня надѣли, какъ будто отрѣзалъ меня навсегда отъ верха, и я тутъ въ первый разъ замѣтилъ не всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ я жилъ наверху, но главное лицо, съ которымъ я жилъ и которое я не помнилъ прежде. Это была тетушка Т. А. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нѣжную, жалостливую. Она надѣвала на меня халатъ, обнимая, подпоясывала и цѣловала, и я видѣлъ, что она чувствовала то самое, что̀ и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. Въ первый разъ я почувствовалъ, что жизнь не игрушка, а трудное дѣло. Не то ли я почувствую, когда буду умирать,—я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дѣло.

5 мая 1878 г.

Мать.

Тяжелое дѣтство мнѣ пало на долю:
Изъ прихоти взятый чужою семьей,
По темнымъ угламъ я наплакался вволю,
Извѣдавъ всю тяжесть подачки людской.

Меня окружало довольство... Лишеній
Не зналъ я, за то и любви я не зналъ,
И въ тихія ночи отрадныхъ моленій
Никто надъ кроваткой моей не шепталъ.
Я росъ одиноко, я росъ позабытымъ,
Пугливымъ ребенкомъ,—угрюмый, больной,
Съ умомъ не по-дѣтски печалью развитымъ,
И съ чуткой, болѣзненно чуткой душой;
И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы,
И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать,
И дѣтскія слезы, безвинныя слезы,
Съ рѣсницъ моихъ тихо крылами свѣвать!..

Ночь... Въ комнатѣ душно... Сквозь шторы струится
Таинственный свѣтъ серебристой луны...
Я глубже стараюсь въ подушки зарыться,
А сны надо мной ужъ, завѣтные сны!..
Чу! Шорохъ шаговъ и шумящаго платья...
Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй...
Вотъ нѣжное „здравствуй“, и чьи-то объятья
Кольцомъ обвилися вкругъ шеи моей!..
„Ты здѣсь, ты со мной, о моя дорогая,
О милая мама!.. Ты снова пришла...
Какіе жъ дары изъ далекаго рая
Ты бѣдному сыну съ собой принесла?
Какъ въ прошлыя ночи, взяла ль ты съ собою
Съ луговъ его яркихъ, какъ день, мотыльковъ,
Изъ рѣкъ его рыбокъ съ цвѣтной чешуею,
Изъ темныхъ садовъ—ароматныхъ плодовъ?
Споешь ли ты райскія пѣсни мнѣ снова,
Разскажешь ли снова, какъ въ блескѣ лучей
И въ синихъ струяхъ ѳиміама святого
Тамъ носятся тѣни безгрѣшныхъ людей?
Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ
И бродятъ вокругъ поселеній людскихъ,
И чистыя слезы молитвъ собираютъ
И нижутъ жемчужныя нити изъ нихъ?..
Сегодня, родная, я стою награды,

Сегодня... о, какъ ненавижу я ихъ,—
Опять они сердце мое безъ пощады
Измучили злобой упрековъ своихъ...
Скорѣй же, скорѣй?.."
И подъ тихія ласки,
Обвѣянъ блаженствомъ нахлынувшихъ грезъ,
Я сладко смыкалъ утомленные глазки,
Прильнувши къ подушкѣ, намокшей отъ слезъ!..

С. Надсонъ.

ОДНА.

(Изъ „Степныхъ думъ").

Лёнка, Лёночка, дочка родная моя! Гдѣ ты, гдѣ ты, куда жъ ты ушла отъ меня?

Боже Ты мой, какъ хорошо сегодня! Какъ хорошо въ степи! Весною вѣетъ, весною запахло всюду.

Любила я всегда эти вешніе дни. Любо глядѣть, бывало, какъ готовитъ твой батько плугъ и борону, какъ вѣетъ передъ хатой зерна на посѣвъ. И не стало твоего батька, а и съ тобой были радостны вешніе дни. Солнышко свѣтитъ ближе, теплое, ласковое. И ты, какъ солнышко, вся разгоришься, веселая, радостная, бѣгаешь цѣлый день, возишься со своей старой мамой на огородѣ...

Боже Ты мой, какъ сладко перекликаются жавороночки, чрезъ все сердце такъ и переливаются ихъ голоски! Молодость въ сердцѣ вспоминается, ласки чьей-то, милыхъ словъ чьихъ-то хочется.

Переливаются жавороночки, только отчего же среди нихъ не слыхать твоего голоса? Гдѣ ты, гдѣ ты? Куда жъ ты ушла отъ меня, Лёнка, Лёночка, птичка степная моя?

Вернулись изъ-за моря, запѣли милыя пташки, заструились звонкія воды по ярамъ степнымъ. А я положила тебя въ

сырую землю, крестъ надъ тобой бѣлый поставила! Отчего не взяла ты меня съ собой? Зачѣмъ оставила старую мать одну горевать?

Звенятъ веселыя воды по ярамъ степнымъ, перекликаются дѣти на улицѣ, идутъ люди — на весну глядятъ, говорятъ веселѣй, въ полѣ скоро ѣхать готовятся... А я вернусь одна въ хатинку, въ опустѣлую хатинку мою... И со всѣхъ угловъ ты будто на меня тамъ выглядываешь... Вотъ и чоботки твои, и свитиночка *) твоя, и юпочка **), и шарафанчикъ ***) виситъ... Стану я все цѣловать и слезами обливать.

Сижу я такъ, цѣлую твои тряпочки и жду, все жду,— вдругъ придешь ты, зазвенитъ нѣжный голосокъ, обовьются тонкія ручки вокругъ старой шеи моей: — „Мамо, милая, какъ же люблю я тебя“...

Любила ты, голубонька моя, крѣпко любила маты свою, любила и денечки эти весенніе. Цѣлый день бѣгала на гору въ степь подивиться не завиднѣлись ли сиротки ****), не улыбнутся ли тебѣ желтенькими глазками.

Цѣлый день съ дівчатами рѣзвишься и поешь, легкая, статная, радостная, смугляночка моя, утѣшеніе мое!

Лёнка, Лёночка, милая дочка моя! гдѣ ты, гдѣ ты, куда жъ ты ушла отъ меня?..

Когда давно стаетъ снѣгъ и сбѣгутъ ручьи, выглянетъ на Божій свѣтъ зеленая травка, съ хворостинкой плелась ты еще маленькая за стадомъ панскихъ гусей, заробляла на хлѣбъ намъ. И скученъ мнѣ безъ тебя весь день.

А зимою все-то мы вмѣстѣ вдвоемъ. Длинны зимніе вечера. Сидимъ рядышкомъ... Шумитъ колесо на прядкѣ, прядёво на гребнѣ смычется... До поздней ночи прядемъ и тихо бесѣдуемъ. Чего ужъ не переговоримъ мы... И про батька покойнаго вспоминаемъ, и про братца, который далеко за Кубань давно ушелъ и вѣстей не даетъ... И сказки старыя всѣ переберемъ до одной...

---

*) Верхняя суконная одежда у малороссовъ.
**) Нѣчто вродѣ кофты.
***) Шарафаномъ малороссы зовутъ не сарафанъ, а верхнюю юбку.
****) Си́ротки—подснѣжники, первые полевые цвѣты.

Погляжу, погляжу я на твою молодою красоту и стану я говорить: „Скоро невѣстой станешь ты у меня. Пошли Богъ милостивый тебѣ добраго человѣка, чтобъ спокойно тебѣ было за нимъ, какъ за мной, чтобъ берегъ, на рукахъ чтобъ носилъ тебя, моя ясная звѣздочка!“

А ты бросишь прядево, прижмешься къ моей груди, плачешь и шепчешь сквозь слезы: „Не пойду я ни за кого, не оставлю я тебя сироткой, родная моя!“

И гляжу я въ темныя очи твои, и цѣлую ихъ, и плачу и смѣюсь отъ радости.

Закрылись теперь темныя оченьки твои для меня навѣки... Не видать мнѣ ихъ больше, не видать никогда... Лёнка, Лёночка, дочка родная моя!

Тучей черной нашла на насъ лихая година эта. Ничего не дала намъ земля, словно мертвая пролежала она въ тяжеломъ снѣ, подъ страшнымъ зноемъ, безъ капли дождевой. Все выжгло, все высушило... Съ самой осени пошло горькое горе наше. Ѣдутъ прежде, бывало, полные возы съ поля къ хатамъ. А теперь ничего не собрали люди. Нанимала и я десятинку земли: собрали всего три мѣры жита да двѣ мѣры ячменя. Какъ жить?.. А за работу, за скотину отдавать надо...

Охъ, горе же пришло на насъ, бѣдныхъ. До зимы пробились, а зима пошла — стало такъ, что хоть помирай. Ходила я скрозь — искала куда дочку въ наймы отдать, не беретъ никто, никому не нужно. А далеко отпускать боюсь, — какъ я безъ нея останусь?..

Такъ и маемся мы день за день...

Занесло хатинку снѣгомъ. Гудитъ въ степи мятель, будто плачетъ горько, будто наше счастье, нашу долю отпѣваетъ.

Куда ни пойдешь просить — вездѣ на тебя тоскливыми очами глядятъ, вездѣ послѣдній хлѣбъ доѣдаютъ. Только ты, мое солнышко, и веселишь меня: „Ничего, мама, зачѣмъ такъ скучать? Смотри, ужъ Филипповки проходятъ, Рождество минетъ, Крещенье, а тамъ и Великій постъ близенько, а тамъ и Великъ день, и жавороночки прилетятъ... Тепло пойдетъ... Наймутъ меня люди... Будетъ хлѣбъ у тебя... Станемъ какъ нибудь жить съ тобой, ненько моя“.

И говоришь такъ и ласково усмѣхаешься. А у самой-то, должно быть, не легко на душѣ. Легко ли дітынѣ на одномъ хлѣбѣ съ водой сидѣть, да и того не доѣдать! А все крѣпишься, весело глядишь, меня утѣшаешь, мое серденько.

Ой, гдѣ же ты, гдѣ ты, доня моя? Что жъ не вижу нигдѣ я, родная, тебя?

И идутъ такъ зимніе дни, тихо идутъ, темные такіе, хмурые, скучные. Днемъ тяжко, а вечеромъ еще того больше. Ума не приложу за что браться. Не уродилъ Богъ ни льна, ни конопли. Изъ воздуха ничего не спрядешь...

Приходитъ вечеръ, не за что гасу *) купить, сидимъ въ темнотѣ да тихо переговариваемся, а то думаемъ втихомолочку думки грустныя.

И холодно жъ въ хатѣ! Гною нѣтъ:—хожу по сосѣдямъ, низко кланяюсь: выпрошу—у кого десятокъ, у кого пятокъ кирпичинъ. А другой день хата и вовсе не топлена.

Рано спать заляжемъ, укроемся старымъ батькинымъ кожухомъ, и свиты и все тряпье наложимъ, чтобъ теплѣе спать было. Перекрещу я тебя на ночь и засну тяжелымъ сномъ. Снятся сны все печальные, нерадостные.

А утромъ — займется заря, поднимемся, подивлюсь я на тебя: худая стала ты, потускли очи, личико блѣдное стало, что восковое. Видишь ты, что я съ тоской на тебя гляжу, и улыбаешься мнѣ блѣдными устами.

Идетъ мѣсяцъ, идетъ другой. Чаще стала у насъ въ церкви служба похоронная слышаться. Несутъ все больше стариковъ да старухъ, несутъ и помоложе, а тамъ и дѣтки что-то много помирать стали.

По всей слободѣ голодная горячка пошла ходить. „Ну, думаю, скоро, видно, и мнѣ, старухѣ, на тотъ свѣтъ отправляться“.

Двухъ подругъ ужъ захоронила. Дівчатами еще дружны были, вмѣстѣ пѣсни веселыя пѣвали когда-то... А теперь запѣли надъ ними: „Со святыми упокой!“

Упокой, Господи, ихъ, устали старыя подруги мои. Тя-

*) Гасъ—такъ зовутъ хохлы керосинъ.

желая доля на насъ легла. Горькими слезами доля наша полита!

И жду я своего череда. А все на ногахъ твердо хожу, не посылаетъ Богъ за мной, не хочетъ еще оставить безъ матери дівоньку мою.

А она все худѣетъ, ослабла вся,—въ чемъ душа только держится. И что ей сдѣлать, чѣмъ помочь — ничего не знаю. Болитъ только у меня сердце, разрывается отъ смертной тоски.

Пошелъ и Великій постъ, и на Сорокъ святыхъ слегла она, да и не встала больше.

Лежитъ она весь день на печи, укрываю я ее кожухомъ и свитою, подъ головку ей подстилаю. Горитъ ея головка, разметались косыньки темныя...

Тяжко ей, тяжко бѣдной, а все еще мнѣ улыбнуться старается...

Ой, бѣдная, бѣдная дочка моя! Ой, Лёночка, Лёнка, зачѣмъ покидаешь меня?..

Лежитъ она такъ недѣлю, другую лежитъ... И все ей хуже становится. Вижу—ужъ догораетъ моя свѣчечка бѣленькая.

Сижу съ ней, ласкаю ее. А сама смотрю на нее и думаю: „Чѣмъ же мнѣ удержать тебя? Гдѣ та сила, молитва та, чтобъ тебя со мною оставить? Боже милостивый! Сохрани ее мнѣ, Господи!“

А она еще говоритъ мнѣ: „Какъ ты изъ-за меня печалишься, убиваешься, родная мамо моя. И зачѣмъ это я такъ огорчаю тебя? Оченьки твои распухли отъ слезъ. Погоди, мамонька, вотъ я уже скоро, Богъ дастъ, встану. Не убивайся такъ, кохана моя“.

И прижмусь я головой къ ея грудкѣ, и плачемъ тихо мы обѣ.

Сижу я все около нея; выпросила взаймы полотна, шью ей рубашку, а то и перемѣнить нечѣмъ... А она вся такая горячая... Шью я такъ, а на рубашечку слезы нѣтъ-нѣтъ да и капаютъ, слезами материнскими рубашечку ей вышиваю...

Придутъ въ неділю *) подружки ея — дівчата, посядутъ

---

*) Неділя—воскресенье.

вокругъ нее, весело балакаютъ *). И она повеселѣетъ, слушаючи ихъ.

А я пока въ церковь пойду. Стою среди людей съ печалью моей. Молятся люди, жарко молятся. Давно ужъ можетъ не маливались такъ, какъ въ лихую годину эту. И объ одномъ всѣ моленія наши: чтобъ далъ намъ Богъ силъ снести нашъ крестъ, чтобъ отвелъ отъ насъ голодную болѣзнь, чтобъ взглянулъ Господь милостивымъ окомъ на нашу нужду горькую.

Стою я среди людей, а предо мной Спасъ въ терновомъ вѣнцѣ—на меня глядитъ. И молюсь я ему: „Спасе свѣтлый, пречистый! Прибѣжище наше! Ты ходилъ по землѣ, страдалъ за насъ грѣшныхъ, добру людей училъ. Помоги же намъ, услышь рыданія наши. Можетъ есть еще добрые люди на бѣломъ свѣтѣ, которые законъ Твой сполняютъ. Что жъ не придутъ они къ намъ, не помогутъ въ великой бѣдѣ нашей. Гдѣ жъ вы, гдѣ, добрые люди? Или ужъ такъ и пронадать намъ всѣмъ!

Іисусе Христе, Сыне Божій! Приди къ намъ, осѣни милостью своей мою бѣдную доченьку. Сохрани матери дітятко. Нѣту у меня силъ терпѣть горе мое!“

И смотритъ на меня Спасъ подъ терновымъ вѣнцомъ, и будто слышу я, говоритъ онъ мнѣ: „Терпи, старенькая,—и Я много терпѣлъ. Видишь—кровь изъ язвъ моихъ бѣжитъ и скорбь смертная на лицѣ моемъ. Терпи. Не иди противъ предѣла твоего.“

И стою я, смотрю на Него, Батюшку, и слезы градомъ у меня катятся... И тише у меня, легче на душѣ станетъ. Иду я домой, покойная и терпѣливая.

Только чуть переступлю порогъ, гляну, какъ лежитъ дитя мое посреди подругъ, увижу, какія онѣ веселыя, румяныя, а она какъ сорочка бѣлая, очи ввалились, худая такая,—и оборвется опять сердце у меня, и опять я на Бога ропщу грѣшная...

Ой, Боже мой, Боже, чѣмъ я прогнѣвила Тебя? Зачѣмъ отнимаешь родное дитя у меня?

---

*) Балакаютъ—говорятъ.

Прошла Похвальная, пришла Вербная. Сталъ ей конецъ подходить. Лежитъ она ужъ безъ памяти и меня узнавать не стала. Однимъ глазкомъ только сплю я ночи подлѣ нея... Боюся конецъ ея проспать. Всѣ молитвы ужъ мои я вымолила, всѣ слезы выплакала.

Было это въ ночь подъ субботу Вербную. Лежу я на полу... Задремала... Вдругъ словно кто-то толкнулъ меня... Вскочила я, смотрю—уже заря занялась; сидитъ моя Лёнка на печи, ножки свѣсила, глядитъ прямо на меня.

„Что съ тобою, Лёнка? что ты, голубонька?“ обняла ее—спрашиваю.

А она тихо такъ подняла глаза на меня и говоритъ: „Простите меня, мамо...“

„Что это ты? въ чемъ мнѣ тебя простить?“

Ничего она не отвѣтила, только стала тихо склоняться... Положила я ее опять и укрыла... Вижу—закрылись у нея глаза, тише все дышетъ, будто замираетъ... И какъ стали къ обѣднѣ звонить, тутъ скоро и преставилась она.

Пришли сосѣдки, раздѣли мы покойницу мою, обмыли ее. Падаютъ руки у меня, сама не знаю, что дѣлаю. Стали мы изъ моего платья ей темное платьице шить. Не могу я шить,—падаетъ игла изъ рукъ, шарафанчикъ на полъ спалзываетъ.

Стали одѣвать ее. Въ послѣдній разъ одѣла я мое дитятко ненаглядное. Думала я такъ съ подругами когда-нибудь къ вѣнцу наряжать ее, а теперь съ сырой землей вѣнчать ее пришлось.

Сдѣлали дівчата—подружки вѣночекъ ей изъ красныхъ и зеленыхъ квітковъ *), украсили темныя волосики. А на бѣломъ лбу вѣнчикъ я положила.

Пришла старая черничка псалтирь читать. Читаетъ каѳизмы, а я слушаю, слушать хочу, и не понимаю...

Отводятъ, разговариваютъ меня... А я сижу, глазъ не свожу съ нея. Да правда ли, что унесутъ ее отъ меня, захоронятъ навѣки?

Ой, Лёнка, Лёночка, свѣтлая радость моя! Навѣки покинула дочка родная меня!

---

*) Цвѣты.

Сдѣлалъ сосѣдъ мнѣ гробъ, собрала я по добрымъ людямъ на погребеніе. Отслужилъ на другой день попъ, положилъ крестъ на столъ, стали къ кресту подходить, а потомъ съ моей покойницей прощаться. Въ вѣнчикъ, а потомъ и въ уста цѣлуютъ.

Дівчата плачутъ, а я стою какъ каменная, гляжу и не понимаю. Слышу говорятъ надо мной: „Пойди простись съ дочерью“. Тутъ очнулась я, припала къ ея грудкѣ: „Дитя мое... Серденько... Лѣнчикъ мой... Лѣнушка... Отозвись мамѣ своей“...

Не отвѣчаетъ она мнѣ, лежитъ безгласная, не шелохнется...

Не помню я, какъ забили крышку и понесли. Сестра двоюродная ужъ за меня коржиковъ напекла и на могилу снесла мнѣ.

Выкопалъ дядя Опанасъ племянницѣ могилку. Стоитъ открытая глубокая ямка, гляжу я въ нее, гляжу на гробъ, какъ онъ туда уходитъ... Прощай, моя Лѣнка! Боже мой, Боже великій!..

Люди мимо кладбища вербы святить въ церковь несутъ, останавливаются, крестятся. А со степи вешнія воды внизъ къ слободѣ бѣгутъ... И струятъ ручьи подлѣ самаго края кладбищенскаго. А могилка на краешкѣ и стоитъ. И чудится мнѣ, что степь родная наша плачетъ со мною о дітынѣ моей...

Травка выглянетъ, станутъ дѣти синенькія перелѣсочки носить... А ея здѣсь не будетъ.

Можетъ покойнѣе, свѣтлѣе ей тамъ у престола Его, гдѣ нѣтъ воздыханія и печали. А все же не увидятъ ея глазки милые родной степи, синенькихъ квітковъ, золотого солнышка...

Столпились дѣтки вокругъ могилки. Стала я имъ коржики раздавать, — гляжу, какъ они жадненько за нихъ берутся, голодненькіе. Смотрю я на нихъ и плачу...

И она была у меня такая же маленькая, чистая, невинная ангельская душенька... Господи Боже, да будетъ воля святая Твоя. Видно такая ужъ доля моя!

Идетъ день за днемъ. Открыли у насъ столовыя, кормятъ голодныхъ. И я туда хожу.

Только отчего же вы такъ долго не приходили къ намъ,

добрые люди? Можетъ, жива бы была моя дѣточка... Можетъ, много людей не ушло бы отъ насъ безвременною кончиной...

Пошлетъ Господь Богъ урожай, поднимется, Богъ дастъ, трава въ степи высоко; зашумятъ густые, высокіе хлѣба подъ вѣтромъ степнымъ; нальется полный колосъ, до земли гнуться станетъ.

Зарадуются печальныя очи. Вздохнетъ легче народъ.

Только не отдадите вы мнѣ, тяжелые снопы, моей дочушки. Не отдадите вы мнѣ, высокіе скирды, родимое дитя мое, не вернете матерямъ дѣтокъ, а дѣткамъ матерей.

Хожу я на могилку ее. Сяду, думаю-думаю, гляжу въ степную даль...

Гляжу на слободу, на хату нашу, на церковную голубую крышу.

Тутъ крестила я ея. Тутъ вѣнчалась я съ ея батькомъ, покойнымъ Андріемъ моимъ.

Можетъ, свидѣлись они тамъ, дочка съ батькомъ своимъ, обнялись подъ покровомъ Божіимъ.

А я-то одна... одна-одинёшенька...

Гдѣ ты, гдѣ ты, куда жъ ты ушла отъ меня, Лёнка, Лёночка, дочка родная моя?

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Двѣ матери.

I.

Оставшись сиротой, жила она въ прислугахъ.
Здоровую, какъ волъ, проворную въ услугахъ,
Ее цѣнили всѣ. Когда въ Ивановъ день
Фермеры шли толпой изъ ближнихъ деревень
Для найма служащихъ, то видъ ея фигуры,
Дышавшей силою, и честнаго лица
Смягчалъ невольно ихъ угрюмыя натуры,
И всѣ, до самого суроваго скупца,

Спѣша нанять ее, дарили ей обнову.
Красы особенной въ ней не было, но къ слову
Сказать, была она пригожа и мила,
Съ глазами темными, румяна и бѣла,
И съ черными, какъ смоль, густыми волосами
Подъ шелковымъ платкомъ. Съ проворными руками
Она была вездѣ: за стиркой и станкомъ,
На кухнѣ, въ садикѣ, ходила за скотомъ,
Домашней птицею, копалась въ огородѣ
И каждый Божій день вставала на восходѣ.
Любила ли она? Загадочный вопросъ.
Тутъ затруднялися рѣшительнымъ отвѣтомъ
Всѣ кумушки села, и только прошлымъ лѣтомъ,
Когда гурьба крестьянъ идетъ на сѣнокосъ,
Она, охвачена какой-то лихорадкой,
Плѣнилась безъ ума красивымъ молодцомъ —
Плохимъ работникомъ. Усы его кольцомъ,
Въ связи съ нахальною и дерзкою ухваткой,
Доставили ему въ деревнѣ рядъ побѣдъ
(Недаромъ онъ служилъ въ гусарахъ восемь лѣтъ...).
Не странно ль? Дѣвушкѣ, работящей и смирной,
Понравился, увы, герой ея трактирный,
Который въ кутежахъ прослылъ за знатока.
И свадьбу справили веселую. Пока
Онъ тратилъ денежки, накопленныя ею,
Ихъ быстро превративъ въ бутылокъ батарею,—
Все было хорошо, а тамъ пошелъ разладъ
(Извѣстны каждому подобныя развязки...),
Побои грубые, смѣняющіе ласки,
Обидныя слова, ну, словомъ, цѣлый адъ...
Затѣмъ и нищета...
Но тутъ случилось хуже.
Инстинкты звѣрскіе таились въ этомъ мужѣ,
И въ день, когда дитя явилося на свѣтъ,
Онъ средство пріискалъ избавиться отъ бѣдъ:
Чтобъ скромный домикъ ихъ, посуду и корову
Спасти отъ описи, рѣшилъ онъ, что жена
Наняться въ городѣ кормилицей должна,

Чтобъ, повинуяся рѣшительному слову,
Оставила она, согбенная стыдомъ,
Ребенка, спавшаго своимъ невиннымъ сномъ!
Его не испугалъ отказъ ея упорный,—
Онъ убѣжденіемъ и ласкою притворной
Подѣйствовать сумѣлъ:—„Вѣдь я теперь отецъ,
Такъ, значитъ, кутежамъ да праздникамъ — конецъ!
Сыночка изъ рожка мы вскормимъ превосходно,
Не бойся, не умретъ онъ смертію голодной,
Сосѣдка добрая поможетъ приглянуть".
И мать съ тоской въ душѣ отправилася въ путь.

II.

Кто можетъ описать весь ужасъ этой ночи,
Когда потоки слезъ, туманившіе очи,
Мѣшали ей глядѣть въ синѣющую даль,
А на-сердцѣ росла безумная печаль,
И въ шумѣ поѣзда, отчетливо и звонко,
Все слышался ей плачъ голоднаго ребенка?..
Солдаты пьяные, къ ней ближе пересѣвъ,
Смѣясь, горланили безсмысленный напѣвъ...
Такъ прибыли они къ Парижу на разсвѣтѣ;
Тамъ ждалъ ее лакей, пріѣхавшій въ каретѣ.
Великолѣпіемъ отеля смущена,
Въ роскошныхъ комнатахъ явилася она;
Въ ней сердце дрогнуло при видѣ колыбели,
Въ шелку и кружевахъ стоящей у постели;
При видѣ матери прелестной, молодой,
Не знавшейся вовѣкъ ни съ горемъ, ни съ нуждой;
И рядомъ съ гнѣздышкомъ богатаго дитяти
Другая колыбель – изъ прутьевъ ивняка—
Представилася ей, а рядомъ на кровати—
Храпѣвшій пьяница, сейчасъ изъ кабака
Вернувшійся домой...
Она взяла на руки
Чужого мальчика, и тутъ вошелъ отецъ—
Банкиръ-милліонеръ, извѣстнѣйшій дѣлецъ;

Внимательный къ женѣ, съ оттѣнкомъ легкой скуки
Въ чертахъ, онъ произнесъ небрежно:
— „Недурна...
Замужняя?“ — О, да. — „Откуда же она?“
— Нормандка! — „Кажется, вамъ медики южанку
Совѣтовали взять?“ — Ну, что же? Въ поселянку
Изъ Арля мы ее чудесно превратимъ.
Брюнетка... ей пойдетъ нарядъ въ подобномъ родѣ,
Притомъ же на водахъ костюмы эти въ модѣ...
Отлично?.. — И она смѣялася своимъ
Сребристымъ хохотомъ. - „Конечно, дорогая,
Что жъ? Забавляйтеся“. Отвѣтилъ ей, шагая
Къ двери, съ насмѣшкою изысканной банкиръ.

Какъ чуждъ кормилицѣ казался этотъ міръ!
Ребенокъ также былъ болѣзненный и хилый;
Недаромъ на балу почувствовала мать,
Что скоро ей нельзя ужъ будетъ танцовать,
И думала о томъ съ досадою унылой.
Отецъ же, услыхавъ негаданную вѣсть
(Бумаги важныя какъ разъ на той недѣлѣ
Понизились въ цѣнѣ), промолвилъ: „Въ самомъ дѣлѣ?“
Но тотчасъ поспѣшилъ съ эффектомъ произнесть:
„Я очень, очень радъ!“ волненіемъ объятый.
(Жена его была наслѣдницей богатой).

III.

Кормилица съ своимъ питомцемъ на рукахъ,
Закутаннымъ, какъ принцъ, въ шелку и кружевахъ,
Бродила, словно тѣнь, по длинной амфиладѣ
Покоевъ и съ тоской глубокою во взглядѣ
Считала тихо дни изгнанья своего.
Ребенокъ не встрѣчалъ любви ни у кого:
Мать занималася кокетствомъ и балами,
Отецъ — лишь биржею и важными дѣлами;
Онъ изъ любезности порою говорилъ
Женѣ за завтракомъ: — „Сынокъ вашъ очень милъ“.

Но, недовольная какимъ-нибудь нарядомъ,
Окидывала мать немилостивымъ взглядомъ
Малютку, говоря: — „Кормилица, Гастонъ,
Мнѣ кажется, усталъ. Пускай ложится онъ!“
Но что за дѣло ей, кормилицѣ наемной.
До окружающей испорченной среды?
И чахлое дитя, носящее слѣды
Недуга, самый домъ, роскошный и огромный,
Наполненный толпой съ зари и до зари,
Катанья вѣчныя, прогулки въ Тюльери,
Куда кормилица являлась разодѣта
Въ костюмы пестрые, достойные балета, —
Всѣ эти мелочи что̀ значатъ для нея?
Тогда какъ и душа, и помыслы ея
Стремятся за письмомъ къ деревнѣ отдаленной,
Откуда къ матери, разлукой огорченной,
Приходитъ изрѣдка желаемый отвѣтъ:
„Ребенокъ живъ, здоровъ, но денегъ больше нѣтъ“.
И, примиряяся съ своею горькой долей,
Спѣшила съ радостью обманутая мать
Всѣ деньги кровныя скорѣе отослать,
Добытыя, увы, тяжелою неволей!

IV.

Спектакли! Вечера! Вернулася зима
И съ ней обычныя веселья, кутерьма.
Ребенокъ захирѣлъ. Отъ кашля исхудалый,
Онъ таялъ, какъ свѣча, и взоръ его усталый
Порою вспыхивалъ болѣзненнымъ огнемъ.
Тоскливо, медленно тянулся день за днемъ...
Однажды вечеромъ, безъ боли и мученья,
Онъ тихо на рукахъ кормилицы угасъ.
Разряженная мать, съ большого представленья
Какой-то оперы иль драмы возвратясь,
Нашла дитя свое недвижнымъ, охладѣлымъ...
И ей съ усиліемъ немалымъ удалось
Въ присутствіи врача пролить потоки слезъ
Надъ этимъ крошечнымъ, почти изсохшимъ тѣломъ.

Кормилица теперь была имъ не нужна
И къ сыну своему отправилась она.
Какое счастіе найти его здоровымъ!
Зима съ морозами и холодомъ суровымъ,
Покрытый тучами угрюмый сводъ небесъ,
И стаи вороновъ, и обнаженный лѣсъ—
Для бѣдной матери все кажется прекраснымъ.
Конецъ изгнанію и мукамъ ежечаснымъ!
Онъ скоро будетъ съ ней... Сквозь рощицы просвѣтъ
Въ вечернихъ сумракахъ мелькаетъ силуэтъ
Ихъ церкви. Боже мой! Свистокъ локомотива—
Они пріѣхали.
Зачѣмъ же такъ тоскливо
Кружатся по вѣтру опавшіе листы
Средь наступающей глубокой темноты,
И стонетъ старый лѣсъ, ростущій у дороги?
Зачѣмъ душа ея исполнена тревоги?
Зачѣмъ въ такую ночь любимый край родной
Ее съ холодностью встрѣчаетъ ледяной?
Но вотъ она въ селѣ. До путницы усталой
Доносится лишь лай разбуженныхъ собакъ.
Вотъ церковь старая, а рядомъ и кабакъ,
Откуда къ ней напѣвъ несется разудалый.
Блѣднѣя, замерла она передъ окномъ,—
Ей голосъ пьяницы, къ несчастію, знакомъ...
Онъ снова въ кабакѣ! Сомнѣнья невозможны.
Итакъ, слова его и клятвы были ложны?
Онъ пьянствуетъ опять, а тамъ несчастный сынъ
Томится въ хижинѣ—заброшенъ и одинъ!..
И мать, охвачена безумною тревогой,
Спѣшитъ по улицѣ. Изъ хижины убогой
Не слышно голосовъ, и дверь незаперта...
Скорѣй, скорѣй огня! Какая темнота...
При свѣтѣ ночника, среди каморки грязной
Постыдные слѣды попойки безобразной
Увидѣла она. И матери глазамъ,
Испуганнымъ такой зловѣщею картиной,
Предстала вся въ пыли, обвита паутиной,

Въ углу, куда давно кидали старый хламъ,—
Пустая колыбель умершаго дитяти...
. . . . . .
Кормилица безъ чувствъ упала у кровати.

V.

Въ ближайшемъ городѣ есть зданіе, и въ немъ
Я видѣлъ женщину, съ безумія огнемъ
Въ блуждающихъ глазахъ — безмолвную, сѣдую,
Хотя еще на видъ довольно молодую;
Несчастная, присѣвъ на жалкую постель,
Качаетъ цѣлый день пустую колыбель.

О. Чумина.

Груня Богоданная.

(Изъ романа „Въ лѣсахъ“ Печерскаго).

Испоконъ вѣку народъ говоритъ: жена добрая домовитая во сто кратъ цѣннѣй золота, не въ примѣръ дороже камня самоцвѣтнаго. Правдиво то русское извѣчное слово; правду его Иванъ Григорьевичъ на себѣ спозналъ. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двухъ лѣтъ, но такое сокровище, что дай Богъ всякому доброму человѣку.

Свѣжая, здоровая, изъ себя пригожая, Аграфена Петровна вотъ уже пятый годъ живетъ за нимъ замужемъ, и хоть Иванъ Григорьевичъ больше чѣмъ вдвое старше ея, любитъ сѣдого мужа всей душой, денно и нощно благодаря Создателя за счастливую долю, ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны вѣрнѣй всякихъ рѣчей говорило, что нѣтъ у нея ни горя на душѣ, ни тревоги на сердцѣ. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всѣми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничѣмъ невозмутимая, краснымъ солнцемъ сіяла она въ мужниномъ домѣ, и куда вчужѣ ни

показывалась, вездѣ ей были рады, какъ свѣтлому гостю небесному Куда ни войдетъ, всюду внесетъ съ собою миръ, ладъ, согласье и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свѣтъ глядѣвшіе, юнѣли и, будто сбросивъ десятокъ годовъ съ плечъ долой, становились мягче, добрѣй и привѣтливѣй. Никогда не слыхать было при ней пересудовъ, ни злыхъ попрековъ, ни лихихъ перекоровъ. Какъ достигла Аграфена Петровна такого вліянія на всѣхъ ею знаемыхъ, сама не знала, и другіе не вѣдали. Какъ-то само собой вышло, а когда началось и съ чего началось, никто бы не съумѣлъ и отвѣта дать.

— Такая ужъ молодица: отъ Бога ей дано, — говорили сосѣди, когда спрашивали у нихъ, отчего при женѣ Заплатина ни злословить, ни браниться и ничего недобраго никто сдѣлать не можетъ.

Самый вздорный человѣкъ, самый охочій до ссоръ и брани стихалъ на глазахъ кроткой разумницы, и потомъ самъ на сторонѣ говорилъ, что при Аграфенѣ Петровнѣ вздорить никакъ не приходится.

Росла она круглой сиротой, но святый Божій покровъ всегда былъ надъ нею. За молитвы, видно, родительскія не довелось Грунѣ извѣдать горечи и тяги, неразлучныхъ съ сиротскою долей. Съ младенческой колыбели до брачнаго вѣнца никогда почти не знавала она ни бѣдъ, ни печалей, а принявъ вѣнецъ, рай въ мужнинъ домъ внесла и царила въ немъ. Почти не знала бѣдъ и печалей, но не совсѣмъ же онѣ были ей невѣдомы. Безъ горя, безъ печали, что безъ грѣха, человѣку вѣка не изжить. И надъ Груней, еще дѣвочкой, внезапно грозой разразилась бѣда тяжкая, и пришлась бы она ребенку не подъ силу, если бъ не нашлось добрыхъ людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирнымъ счастьемъ душу дѣвочки.

Отецъ ея былъ хоть не изъ великихъ тысячниковъ, но все же достатки имѣлъ хорошіе и жилъ душа въ душу съ молодой женой, утѣшаясь, не нарадуясь на подроставшую Груню. Дѣти у нихъ не жили, одну ее сохранилъ Господь, и крѣпко любили родители бѣлокурую дочку свою. Девять годовъ Грунѣ на купальницу исполнилось, чрезъ мѣсяцъ

послѣ именинъ ея поѣхали отецъ съ матерью къ Макарью—тамъ у нихъ въ Щепяномъ ряду на пескахъ, что у Стрѣлки, лавка была. Взяли они съ собой и маленькую дочку. Такъ они ее любили, что ни за какія блага не покинули бъ въ деревнѣ съ домовницей, чтобъ потомъ, живучи въ ярмаркѣ, день и ночь думать да передумывать, не случилось ли чего недобраго съ ненаглядной ихъ дочуркой.

Годъ былъ тяжелый: смерть по людямъ ходила. Холера на ярмаркѣ валила народъ. У Грунина отца въ одинъ день двое молодцовъ заболѣло, свезли ихъ въ Мартыновскую, оттоль къ Петру - Павлу. Прошелъ день—другой, разомъ у Груни отецъ съ матерью заболѣли, ихъ тоже въ больницу свезли. Одна-одинешенька, средь чужихъ людей, осталась въ лавкѣ девятилѣтняя Груня. Урвавшись какъ-то отъ сосѣднихъ торговцевъ, Христа ради приглядывавшихъ маленько за дѣвочкой, она, не пивши не ѣвши, цѣлый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконецъ, выбившись изъ силъ, заночевала въ кустахъ Волжскаго откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная дѣвочка уже стояла и плакала у воротъ Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на дворъ. Долго лежала она подъ солнечнымъ припекомъ, громко рыдая и умоляя пустить ее къ отцу съ матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь отъ больничныхъ воротъ и сказали, что ни тятьки, ни мамки у ней больше нѣтъ, что до свѣту обоихъ на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бѣдная Груня все-таки прочь отъ больницы не шла.

Тогда взглянулъ Господь на сироту милосердымъ окомъ и послалъ къ ней добраго человѣка.

Провѣдалъ одинъ ярмарочный торговецъ изъ-за Волги, что въ Щепяномъ ряду выморочная лавка явилась, и въ ней одинъ - одинешенекъ малый ребенокъ остался. Спросилъ у сосѣдей той выморочной лавки, куда дѣвалась сирота—никто не знаетъ. Бросилъ свое дѣло добрый человѣкъ и пустился на розыски. Отыскалъ онъ Груню у воротъ больницы и взялъ сиротинку въ домъ свой. Вспоилъ, вскормилъ ее и воспиталъ наравнѣ съ родными дочерями, ни на волосъ ихъ отъ богоданной дочки не отличая. И благословеніе Божіе почило на добромъ человѣкѣ и на всемъ домѣ его: въ семь лѣтъ, что

прожила Груня подъ кровомъ его, седмерицею достатокъ его увеличился, изъ зажиточнаго крестьянина сталъ онъ первымъ богачемъ по всему Заволожью. То былъ осиповскій тысячникъ, Потапъ Максимычъ Чапуринъ.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Потапа Максимыча, какъ разъ въ подружки имъ сгодилась. Выростая вмѣстѣ съ Настей и Парашей, она сдружилась съ ними. Добрымъ, кроткимъ правомъ, любовью къ подругамъ и привязанностію къ богоданнымъ родителямъ такъ полюбилась она Потапу Максимычу и Аксиньѣ Захаровнѣ, что тѣ считали ее третьей своей дочерью.

— Слушай, Аксинья, — говорилъ хозяйкѣ своей Потапъ Максимычъ,—съ самой той поры, какъ мы взяли Груню въ дочери, Господь видимо благословляетъ насъ. Сиротка къ намъ въ домъ счастье принесла, и я такъ въ мысляхъ держу, что̀ ни подалъ намъ Богъ—за нее, за голубку, все подалъ. Смотри жъ у меня— не ровенъ часъ, всѣ подъ Богомъ ходимъ, коли вдругъ пошлетъ мнѣ Господь смертный часъ, и не успѣю я насчетъ Груни распоряженья сдѣлать, ты безъ меня ее не обидь.

— Чего ты́ только ни скажешь, Максимычъ!—съ досадой отвѣтила Аксинья Захаровна. — Ну, подумай, умная ты голова, возможно развѣ обидѣть мнѣ Грунюшку? Во утробѣ не носила, своей грудью не кормила, а все жъ я ей мать, и сердце у меня лежитъ къ ней все одно какъ къ роженымъ дочерямъ. Всѣ мои три дѣвоньки за одно лежатъ на сердцѣ.

— Знаю про то, Захаровна, и вижу,—продолжалъ Потапъ Максимычъ,—а говорю для того, что ты баба. Стары люди не съ вѣтру сказали: „баба, что мѣшокъ: что въ него положишь, то и несетъ“. И потому, что ты есь баба, значитъ разумомъ не дошла, то какъ меня не станетъ, могутъ тебя люди разбить. Мало ль есть въ міру завистниковъ? Впутаются не въ свое дѣло и все вверхъ дномъ подымутъ.

— Да что ты въ самомъ дѣлѣ, Максимычъ, дура что ли я повитая? Послушаюсь я злыхъ людей, обижу я Грунюшку? Да никакъ ты съ ума спятилъ?—заговорила, возвышая голосъ, Аксинья Захаровна и утирала рукавомъ выступившія слезы. — Обидчикъ ты эдакій, право, обидчикъ!.. Какое слово про

меня молвилъ!.. По сердцу ровно ножемъ полоснулъ!.. Бога нѣтъ въ тебѣ!.. Право, Бога нѣтъ!..

— А ты горла-то зря не распускай,—въ свою очередь возвысивъ голосъ, сказалъ ей Потапъ Максимычъ. — Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита, чтобъ я не видалъ бабьихъ слезъ!.. Слушай, что приказывать стану... слова не смѣй проронить; все въ точности исполни!.. Богъ дастъ, женихи станутъ къ Грунѣ свататься и къ дочерямъ— приданое всѣмъ поровну. Что Настасьѣ, что Прасковьѣ, то и Грунѣ... Слышишь?.. А помремъ мы съ тобой, весь домъ и все добро, что останется, тоже на три доли, всѣмъ поровну... Помни же завѣтъ мой, изъ ума его не выкидывай. Не то моимъ костямъ въ гробу покоя не будетъ. Не будь Настасьѣ съ Прасковьей родительскаго моего благословенія, коли поровну онѣ съ Груней не подѣлятся. Не мое и не ихнее добро, что мы нажили: его Богъ ради Груни послалъ. Такъ я въ разумѣ держу, такъ и ты держи, и дочери такъ же пусть держатъ. Помни же слово мое. А коли, послѣ меня, какъ я приказываю, не сдѣлаешь, такъ я тебя...—прибавилъ Потапъ Максимычъ, подымая кверху увѣсистый кулачище...— На томъ свѣтѣ-то... передъ Богомъ на страшномъ судбищѣ поставлю... И засудитъ Онъ тебя, засудитъ, — въ адъ кромѣшный пошлетъ, коли Груню обидишь... Да, да... Ты это помни!.. А теперь вотъ что,—продолжалъ онъ, значительно понизивъ голосъ послѣ окрику,—на той недѣлѣ, наканунѣ Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаусъ, что изъ Астрахани привезенъ, сарафанъ именинницѣ справь, пуговицы были бы серебряныя. Есть тамъ у тебя... И дочерямъ такіе же сарафаны сшей, канаусу на всѣхъ должно хватить.

Понималъ Потапъ Максимычъ, что за безцѣнное сокровище въ дому у него подростаетъ. Разумомъ острая, сердцемъ добрая, ко всѣмъ жалостливая, нрава тихаго, кроткаго, росла и красой полнилась Груня. Не было человѣка, кто бы, разъ-другой увидавши дѣвочку, не полюбилъ ея. Дочери Потапа Максимыча души въ ней не чаяли, хоть и немногимъ была постарше ихъ Груня, однако онѣ во всемъ ея слушались. Ни у той, ни у другой никакихъ тайнъ отъ Груни не бывало. Но не судьба имъ была вмѣстѣ съ Груней вырости.

Только что Груня заневѣстилась, сталъ Потапъ Максимычъ присматривать хорошаго, степеннаго человѣка, на руки котораго, безъ страха за судьбу, безъ опасенья за долю счастливую, можно бы было отдать богоданную дочку.

На ту пору овдовѣлъ Иванъ Григорьевичъ. Покинула ему жена троихъ дѣтокъ, малъ-мала меньше Бѣдовое ему настало время: извѣстно, вдовецъ дѣткамъ не отецъ, самъ круглый сирота. Нѣтъ за малыми дѣтьми ни уходу, ни призору, не отъ кого имъ услышать того добраго, благодатнаго слова любви, что изъ устъ матери струей благотворной падаетъ въ самыя основы души ребенка и тамъ сѣменами добра и правды разсыпается. Лежатъ тѣ сѣмена глубоко въ тайникѣ души, дожидаясь поры-времени, когда ребенокъ, возмужавъ, вырастетъ, выхолитъ ихъ доброй волей и свободнымъ хотѣньемъ... И благо тому, кто сумѣетъ вырастить сѣмена, посѣянныя въ немъ любовью матери— добрый плодъ изъ нихъ выйдетъ. Бѣда, горе великое малымъ дѣткамъ остаться безъ матери, пуще бѣды, чѣмъ пчелкамъ безъ матки. Понималъ это горемычный Иванъ Григорьевичъ, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сиротокъ.

Жениться! Легко слово молвить, а сдѣлать какъ? Жениться не мудрость, и дуракъ сумѣетъ, но какъ вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужимъ дѣтямъ? Гдѣ? въ какомъ царствѣ, въ какомъ государствѣ? Мало что - то такихъ водится... Какъ ни разводилъ Иванъ Григорьичъ разумомъ, какъ ни вскидывалъ мыслями на знакомыхъ вдовъ и дѣвушекъ, ни одной мало-мальски подходящей не обыскалось. Одно гребтитъ на умѣ бѣднаго вдовца: хозяйку къ дому сыскать не хитрое дѣло, было бъ у чего хозяйствовать; на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, совѣтная, а гдѣ, за какими морями найдешь родну мать чужу дѣтищу?..

Эхъ, житье вдовца, горькое, безталанное!.. Отъ печалей къ немощамъ, отъ немощей къ печалямъ!.. Не подъ стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова ужъ заиндѣвѣла, а слезы стараго и людямъ смѣшны, и себѣ стыдны. Крѣпится Иванъ Григорьичъ, а иной разъ непрошенная слеза бѣжитъ да бѣжитъ по сѣдымъ усамъ.

До гробовой доски, до бѣлаго савана думать бы да передумывать бѣдному горюну, если бы другъ не выручилъ. Тотъ же старый другъ, то же неизмѣнное копье, что и въ прежніе года изъ житейскихъ невзгодъ выручалъ, тотъ же Потапъ Максимычъ.

Справивъ сорочины по покойницѣ, сталъ Иванъ Григорьичъ изъ дому по дѣламъ уѣзжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены-покойницы, старуха хворая, хозяйствомъ въ дому у него заправляла и за дѣтьми приглядывала. Но не сможетъ она съ домомъ справиться — и хотѣла бы, да не умѣетъ. Дѣтей любила да по своему: въ неряшествѣ Спиридоновна бѣды не видала, а тукманки,—думала она,—дѣтямъ нужны: умнѣе ростутъ... Другой хозяйки Ивану Григорьичу негдѣ взять: родни только и есть, что Спиридоновна, а чужую въ домъ ко вдовцу зазорно ввести. Не по чину, не по обряду; въ добрыхъ людяхъ такъ не водится.

Заѣхалъ разъ Иванъ Григорьичъ въ Осиповку размыкать тоску свою въ совѣтной бесѣдѣ съ другомъ извѣданнымъ. Пора была вечерняя. Въ передней горницѣ вся семья Потапа Максимыча за чаемъ сидѣла. Обѣ дочери и Груня были на ту пору въ Осиповкѣ; изъ обители, куда въ ученье были отданы, онѣ погостить пріѣзжали... Потапъ Максимычъ и Аксинья Захаровна при нихъ завели съ гостемъ бесѣду, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его.

Настя, тогда ей только что тринадцать лѣтъ минуло, о чемъ-то пересмѣивалась съ Парашей, а шестнадцатилѣтняя Груня прислушивалась къ рѣчамъ говорившихъ. Отпили чай. Съ громкимъ смѣхомъ Настя съ Парашей прыснули вонъ изъ горницы и побѣжали играть въ огородъ, клича съ собой и Груню, но Груня не пошла съ ними... Усѣлись кумовья за пуншикомъ, Аксинья Захаровна къ нимъ же подсѣла съ шитьемъ, рядомъ съ ней Груня съ вязаньемъ.

— Вотъ и живу я, кумушка, ровно божедомъ въ скудельницѣ,—говорилъ Иванъ Григорьичъ Аксиньѣ Захарьевнѣ.— Одинъ, какъ перстъ! Слова не съ кѣмъ перемолвить, умрешь —поплакать некому, помянуть некому.

— Что ты, батька,—возразила Аксинья Захаровна, - дѣтки по родительской душѣ помянники.

— Что дѣтки? Малы они, кумушка, еще не разумны,— отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ.—Пропащіе они дѣти безъ матери... Нестройно, неукладно въ дому у меня. Не глядѣлъ бы... Все, кажись, стоитъ на своемъ мѣстѣ, попрежнему; всѣ кажется порядки идутъ, какъ шли при покойницѣ, а нето... Пустымъ пахнетъ, кумушка.

— Это такъ, — пригорюнясь, отвѣтила Аксинья Захаровна, — правду говорятъ, безъ хозяйки домъ-то что мертвецъ несхороненный.

— Да что домъ! Пропадай онъ совсѣмъ!..—молвилъ Иванъ Григорьичъ.—Не домъ крушитъ меня, - сироты мои бѣдныя. Какъ рости имъ безъ матери!.. Ходитъ за ними Спиридоновна, какъ умѣетъ, усердствуетъ, да развѣ мать?.. Ни приласкать, ни приголубить... У отца въ дому, а дѣтямъ горькая доля!.. Призору нѣтъ: пріѣдешь изъ города, али съ мельницы: дѣти не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойницѣ развѣ водилось такъ? Недавно, провѣдалъ, безъ меня иной разъ голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хворая: гдѣ ей за всѣмъ углядѣть?.. Рада-радешенька до подушки добраться, а работницы народъ вольный. Спиридоновна на боковую, онѣ на супрядки, дѣти-то одни и остались. Того и гляди, что грѣшнымъ дѣломъ искалѣчутся... Горько житье мое, кумушка!

И склонивъ голову на руку, тяжкимъ вздохомъ вздохнулъ Иванъ Григорьичъ. Слезы въ глазахъ засверкали.

Пристально глядѣла на плачущаго вдовца Груня. Жаль ей стало сиротокъ. Вспомнила, какъ сама, голодная, бродила она по чужому городу.

— Жениться надо, кумъ, вотъ что, — сказалъ Потапъ Максимычъ.

— Легко сказать, а сдѣлать-то какъ? — отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ.

— Надо искать. Извѣстно дѣло, невѣста сама въ домъ не придетъ,—сказалъ Потапъ Максимычъ.

— Гдѣ ее сыщешь? — печально молвилъ Иванъ Григорьичъ.—Не жену надо мнѣ, мать дѣтямъ нужна. Ни богатства, ни красоты мнѣ не надо, дѣтокъ бы только любила, замѣсто бы родной матери была до нихъ. А такую и днемъ

съ огнемъ не найдешь. Не мало я думалъ, не мало на вдовъ да на дѣвокъ умомъ своимъ вскидывалъ. Ни единая не подходитъ... Ахъ, сироты вы мои, сиротки горькія!.. Лучше ужъ вамъ за матерью слѣдомъ въ сыру землю пойдти.

— Что ты?.. Христосъ съ тобой!.. Опомнись, куманекъ!.. — вступилась Аксинья Захаровна. — Можно ль такъ отцу про дѣтей говорить?.. Молись Богу да Пресвятой Богородицѣ, не оставятъ... Самъ знаешь: за сиротой Самъ Богъ съ калитой.

Долго толковали про бѣдовую участь Ивана Григорьича. Онъ уѣхалъ; Аксинья Захаровна по хозяйству вышла за чѣмъ-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшія листья розанели. На глазахъ у ней слезы. Потапъ Максимычъ замѣтилъ ихъ, подошелъ къ Грунѣ и спросилъ ласково:

— Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названнаго отца и слезы хлынули изъ очей ея.

— Что ты, что съ тобой, Грунюшка? — спрашивалъ ее Потапъ Максимычъ.—О чемъ это ты?

— Сиротокъ жалко мнѣ, тятя,—трепетнымъ голосомъ отвѣтила дѣвушка, припавъ къ плечу названнаго родителя.— Сама сирота, разумѣю... Пошлетъ ли Господь имъ родную мать, какъ мнѣ послалъ? Голубчикъ тятинька, жалко мнѣ ихъ!

— Господь возлюбилъ слезы твои, Груня,—отвѣчалъ тронутый Потапъ Максимычъ, обнимая ее,—святые ангелы отнесутъ ихъ на небеса. Сядемъ-ка, голубонька.

И сѣли рядомъ на диванъ.

— Помнишь, что у Златоуста про такія слезы сказано?— внушительно продолжалъ Потапъ Максимычъ.—Слезы тѣ паче поста и молитвы, и Самъ Спасъ пречистыми устами Своими рекъ: „никто-же больше тоя любви иматъ, аще кто душу свою положитъ за други своя“... Добрая ты у меня, Груня!.. Господь тебя не оставитъ.

— Тятенька, голубчикъ, какъ бы сиротъ-то устроить? — говорила Груня, ясно глядя въ лицо Потапу Максимычу. — Я бы, кажись, душу свою за нихъ отдала...

Молчалъ Потапъ Максимычъ, глядя съ любовью на Груню. Она продолжала:

— Сама сиротой я была. Не долго была по твоей любви да по милости, а все же я помню, каково мнѣ было тогда, какова есть сиротская доля. Богъ тебя мнѣ послалъ да мамыньку, оттого и не спознала я горя сиротскаго. А помню, каково было бродить по городу... Ничѣмъ мнѣ не заплатить за твою любовь, тятя; одно только вотъ передъ Богомъ тебѣ говорю: люблю тебя и мамыньку, какъ родныхъ отца съ матерью.

— Полно, полно, моя ясынька, полно, привѣтная, полно, — говорилъ растроганный Потапъ Максимычъ, лаская дѣвушку. — Чего жъ намъ еще отъ тебя?.. Любовью своей сторицей намъ платишь... Ты намъ... счастье въ домъ принесла... Не мы тебѣ, ты добро намъ сдѣлала.

— Тятя, тятя, не говори... Не воздать мнѣ за ваши милости... А если ужъ вамъ не воздать, Богу-то какъ воздать?

Припала Груня къ груди Потапа Максимыча и зарыдала.

— Добрыми дѣлами, Груня, воздашь, — сказалъ Потапъ Максимычъ, гладя по головкѣ дѣвушку. — Молись, трудись, всего паче бѣдныхъ не забывай. Никогда, никогда не забывай бѣдныхъ да несчастныхъ. Это Богу угоднѣй всего...

— Слушай, тятя, что я скажу,—быстро поднявъ голову, молвила Груня съ такой твердостью, что Потапъ Максимычъ, слегка отшатнувшись, зорко поглядѣлъ ей въ глаза и не узналъ богоданной дочки своей. Новый человѣкъ предъ нимъ говорилъ. Давно я о томъ думала,—продолжала Груня,— еще махонькою была, и тогда ужъ думала: какъ ты меня призрѣлъ, такъ и мнѣ надо сиротъ призирать. Этимъ только и могу я Богу воздать... какъ думаешь ты, тятя?.. А?..

— Ты это хорошо сказала, Груня, — молвилъ Потапъ Максимычъ, — по-божески.

— Жаль мнѣ сиротокъ Ивана Григорьича,—сказала Груня, — я бы, кажись, была имъ матерью, какую онъ ищетъ.

— Какъ же такъ? — едва вѣря ушамъ своимъ, спросилъ Потапъ Максимычъ. — Нешто пойдешь за старика?

— Пойду, тятя,—твердо сказала Груня.—Онъ добрый... Да мнѣ не онъ... Мнѣ бы только сиротокъ призрѣть.

— Да вѣдь онъ старый! Тебѣ не ровня, — молвилъ Чапуринъ.

— Старъ-ли онъ, молодъ—по мнѣ все одно,—отвѣчала Груня.—Не за него, ради бѣдныхъ сиротъ...

— Ахъ ты, Грунюшка, моя Грунюшка! — говорилъ глубоко растроганный Потапъ Максимычъ, обнимая дѣвушку, нѣжно цѣлуя ее.—Ангельская твоя душенька!.. Отецъ твой съ матерью на небесахъ взыграли теперь!.. И аще согрѣшили въ чемъ передъ Господомъ, искупила ты грѣхи родительскіе. Старъ я человѣкъ, много всего на вѣку я видалъ, а такой любви къ ближнему, такой жалости къ малымъ сиротамъ не видывалъ, не слыхивалъ... Чистая, святая твоя душенька!..

— Тятя, тятя, что ты?—вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и названный отецъ крѣпко обнялись.

На другой день, рано по утру, Потапъ Максимычъ собрался на-скоро и поѣхалъ въ Вихорево. Войдя въ домъ Ивана Григорьича, увидалъ онъ друга и кума въ такомъ гнѣвѣ, что не узналъ его. Возвратясь изъ Осиповки, вдовецъ узналъ, что одинъ его ребенокъ кипяткомъ обваренъ, другой избитъ до крови. Отъ недосмотра Спиридоновны и нянекъ, пятилѣтняя Марѳуша, рѣзвясь, уронила самоваръ и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марѳушу уму-разуму: въ кровь избила ее.

— Вотъ, кумъ, посмотри на мое житье!—говорилъ Иванъ Григорьичъ. — Полюбуйся: одну обварили, другую избили... Изъ дому уѣдешь, только у тебя и думы — цѣлы ли дѣти, про дѣла и на умъ не идетъ... Просто бѣда, Потапъ Максимычъ, другъ мой любезный, бѣда неизбывная.... Не придумаю, что и дѣлать...

— Молчи ты, — весело отвѣчалъ на его жалобы Потапъ Максимычъ.—Я къ тебѣ съ радостью.

— Какія тутъ радости! — съ досадой отозвался Иванъ Григорьичъ. — Не до радостей мнѣ... Думаю не придумаю, какую бы старуху мнѣ въ домовницы взять. Спиридоновна совсѣмъ никуда не годится.

— Да ты слушай, что говорить стану,—сказалъ Потапъ Максимычъ.—Невѣста на примѣтѣ.

— Какая тутъ невѣста!.. — съ досадой отозвался Иванъ

Григорьичъ. — Не до шутокъ мнѣ, Потапъ Максимычъ. Побойся Бога: человѣкъ въ горѣ, а онъ съ издѣвками...

— Хорошая невѣста, — продолжалъ свое Чапуринъ. — Настоящая мать будетъ твоимъ сиротамъ... Добрая, разумная. И жена будетъ хорошая, и хозяйка добрая. Да къ тому же не изъ бѣдныхъ—тысячъ тридцать приданаго теперь получай да послѣ родителей столько же, коли не больше, получишь. Дѣвка молодая, изъ себя красавица писаная... А ужъ добра какъ, какъ дѣтей твоихъ любитъ: не всякая, братецъ, мать любитъ такъ свое дѣтище.

— Полно сказки-то сказывать,—отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ.—Про какую царевну-королевну рѣчь ведешь? За моремъ, за океаномъ, что ль, такую сыскалъ?

— Поближе найдется: здѣсь же, у насъ, въ лѣсахъ коегдѣ...—улыбаясь, говорилъ Потапъ Максимычъ.

— Не мути мою душу. Грѣхъ!.. — съ грустью и досадой отвѣтилъ Иванъ Григорьевичъ. — Не на то съ тобой до сѣдыхъ волосъ въ дружбѣ прожили, чтобъ на старости издѣваться другъ надъ другомъ. Полно чепуху-то молоть, про домашнихъ лучше скажи? Что Аксинья Захаровна? Дѣтки?

— Чего имъ дѣлается? И сегодня живутъ по вчерашнему, какъ вечоръ видѣлъ, такъ и есть,—отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.—Да слушай же, не съ баснями я пріѣхалъ къ тебѣ, съ настоящимъ дѣломъ.

— Съ какимъ это?—спросилъ Иванъ Григорьичъ.

— Да все насчетъ того... Про невѣсту.

— Про какую? Гдѣ ты ее за ночь-то выкопалъ.

— Да хоть про нашу Груню, — молвилъ Потапъ Максимычъ.

— Съ ума ты спятилъ, — отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ.—Хоть бы дѣломъ что сказалъ, а то натко поди.

— Дѣломъ и говорю.

— Да подумай ты, голова, у насъ съ тобой бороды сѣдыя, а она ребенокъ. Сколько годовъ-то?

— Семнадцатый съ петровокъ пошелъ. Какъ есть заправская невѣста.

— То-то и есть, — сказалъ Иванъ Григорьичъ, — ровня что ли? Охота ей за старика на дѣтей идти.

— Безъ ея согласья, извѣстно, нельзя дѣла сладить, — отвѣчалъ Потапъ Максимычъ. — Потому хоша она мнѣ и дочка, а все жъ не родная. Будь Настасья постарше, да не крестная тебѣ дочь, я бы разговаривать не сталъ, сейчасъ бы съ тобой по рукамъ, потому она дѣтище мое, — куда хочу, туда и дѣну. А съ Груней надо поговорить. Поговорить, что ли?

— Да полно тебѣ чепуху-то нести! — сказалъ Иванъ Григорьичъ. — Статочно ли дѣло, чтобы Груня за меня пошла? Полно. И безъ того тошно.

— А какъ согласна будетъ — женишься? — спросилъ Потапъ Максимычъ.

— Пустяшное дѣло, кумъ, говоришь, — отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ. — Охотой не пойдетъ, силомъ взять не желаю.

— Ну такъ слушай же, что было у меня съ ней говорено вечоръ, какъ ты изъ Осиповки уѣхалъ.

И разсказалъ Потапъ Максимычъ Ивану Григорьичу разговоръ свой съ Груней. Во время разсказа Иванъ Григорьичъ больше и больше склонялъ голову, и когда Потапъ Максимычъ кончилъ, онъ всталъ и, смотря плачущими глазами на иконы, перекрестился и сдѣлалъ земной поклонъ.

— Голубушка! — сказалъ онъ. — Святая душа!.. Ангелъ Господень!.. Гришутка, Марѳуша!.. Бѣгите скорѣй!

Вбѣжалъ шестилѣтній мальчикъ въ красной рубашонкѣ и Марѳуша съ синяками и запекшимся рубцомъ на щекѣ.

— Молись Богу, дѣти! — сказалъ имъ Иванъ Григорьичъ. — Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: „сохрани, Господи, и помилуй рабу Твою, дѣвицу Агрипину! Воздай ей за добро добромъ, Владыка многомилостивый!“

И самъ вмѣстѣ съ дѣтьми клалъ земной поклонъ за поклономъ.

Потапъ Максимычъ стоялъ сзади и тоже крестился.

— Вотъ вамъ отцовскій наказъ, — молвилъ дѣтямъ Иванъ Григорьичъ: — по утрамъ и на сонъ грядущій каждый день молитесь за здравіе рабы Божіей Агрипины. Слышите! И Маша чтобы молилась. Ну, да я самъ ей скажу.

— Какая же это Агрипина, тятя? — спросилъ маленькій Гриша.

— Святая душа, что любитъ васъ, добра вамъ хочетъ. Вотъ кто она такая: мать ваша,—сказалъ дѣтямъ Иванъ Григорьичъ.

На другой день были смотрины, но не такія, какъ бываютъ обыкновенно. Никого изъ постороннихъ тутъ не было и свахи не было, а женихъ, увидавъ невѣсту, поступилъ не по старому чину, не по дѣдовскому обряду.

Какъ увидѣлъ онъ Груню, въ землю ей поклонился и, давъ волю слезамъ, говорилъ, рыдая:

— Матушка!.. Святая твоя душа!.. Аграфена Петровна!.. Будь матерью моимъ сиротамъ!..

— Буду,—тихо, съ улыбкой промолвила Груня.

Черезъ двѣ недѣли привезли бѣглаго попа изъ Городца, и въ моленной Потапа Максимыча онъ обвѣнчалъ Груню съ Иваномъ Григорьичемъ.

Раститъ Груня чужихъ дѣтей, раститъ и своихъ: два ужъ у ней ребеночка. И никакой межъ дѣтьми розни не дѣлаетъ, пасынка съ падчерицами любитъ не меньше родныхъ дѣтей. А хозяйка какая вышла, просто на удивленіе.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревскаго тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай Богъ всякому такой славы, такой доброй по людямъ молвы!

Незаконный.

Ночь... Въ углу сырого, темнаго подвала
Крикъ раздался страшный... Что-то запищало.
На нужду, на горе свыше осужденный,
Родился ребенокъ, мальчикъ—незаконный.
Баринъ, ради шутки, баловства пустого,
Съ толку сбилъ и кинулъ (это ужъ не ново)
Глупую дѣвчонку, швейку молодую,
Съ личикомъ румянымъ, славную такую.
Старая хозяйка грязнаго подвала,

Гдѣ бѣдняга швейка уголъ нанимала,
Видитъ: дѣло плохо, дѣвка помираетъ;
Бѣгаетъ, хлопочетъ, чѣмъ помочь незнаетъ.
Смерть въ лицо худое холодомъ дохнула,
И лежитъ бѣдняга, словно какъ уснула...
Грудь не шелохнется, глазъ раскрытъ широко—
Въ немъ, съ нѣмымъ укоромъ, взглядъ застылъ глубокій...
Вотъ оретъ мальчишка, звонко, что есть духу.
„Вишь! живой родился!“—молвила старуха,
„Мало, что ли, было безъ тебя голодныхъ?“
И въ пріютъ казенный для дѣтей безродныхъ.
Тащитъ, завернувши тряпкою посконной
„Вѣдь отца-то нѣту... Ты вѣдь... Незаконный“.
Какъ? Отца-то нѣту?.. Вотъ онъ—у камина,
Въ бархатной визиткѣ дремлетъ, грѣя спину...
Выспался отлично, долго брился, мылся,
Съ англійскимъ проборомъ битый часъ возился,
Спрыснулся духами и на балъ поскачетъ.
Что жъ? Вѣдь онъ не слышитъ, какъ сынишка плачетъ...
Что ему за дѣло! Бѣдной швейки повѣсть
Не разскажетъ франту въ этотъ вечеръ совѣсть...
И спокоенъ, веселъ, этотъ шутъ салонный...
Впрочемъ, что жъ за важность?... Сынъ былъ незаконный.

А. Барыкова.

Квитанція.

(Отрывокъ изъ статьи „Живыя цыфры“ Г. И. Успенскаго).

... Начитавшись мѣстныхъ данныхъ, я безъ перерыва принялся за матеріалы, собранные столичными статистиками, и здѣсь въ отдѣлѣ браковъ, прироста, рождаемости и смертности населенія я натолкнулся на цыфру, которая мнѣ (по неопытности) показалась совершенно необъяснимой: оказывается, что въ Петербургѣ ежемѣсячно нарождается до 700 дѣтей, у которыхъ нѣтъ ни отцовъ, ни матерей. Въ графѣ

„отцы“ стоитъ 0, въ графѣ „матери“ — тоже 0, а въ итогѣ написано — итого 700 *штукъ человѣкъ*.

Научный методъ мышленія настолько еще не овладѣлъ мною и моими соображеніями, что я рѣшительно не могъ оставить въ покоѣ этихъ нулей, изъ которыхъ выходятъ цѣлые „люди“, и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытныхъ вычисленій, цѣль которыхъ была доказать себѣ, что изъ двухъ нулей не можетъ произойти ребенокъ и что для появленія его на свѣтъ необходимы хоть какія-нибудь отце-и-матере-образныя дроби, я, при помощи сложенія и дѣленія, вычислилъ, что на каждаго изъ 700 человѣкъ дѣтей въ среднемъ выводѣ приходится не 0 и 0, а (принимая во вниманіе всю сумму единицъ, составляющихъ то, что называется „обществомъ“) все-таки нѣкоторая дробь отцовскаго и материнскаго элемента. Естественно во мнѣ родилось желаніе, розыскать то существо въявѣ и вживѣ, которое можетъ удѣлить на выполненіе материнскаго дѣла только одну сотую часть (таково было мое вычисленіе) своего существованія. И гдѣ же остальныя девяносто девять частей человѣка, матери, женщины?

Нисколько не защищаясь противъ могущихъ быть упрековъ со стороны читателей въ недостаткахъ сдѣланныхъ мною вычисленій, я долженъ сказать, однако, что лично во мнѣ эти вычисленія выразились въ весьма опредѣленномъ и рѣшительномъ поступкѣ.

Въ первый же пріѣздъ мой въ Петербургъ я, подъ вліяніемъ всевозможныхъ соображеній, которыхъ теперь не могу даже припомнить хорошенько, прямо съ вокзала велѣлъ извозчику ѣхать въ воспитательный домъ; можетъ быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что нашъ деревенскій поѣздъ приходилъ раньше всѣхъ другихъ поѣздовъ, когда надъ Петербургомъ лежитъ еще тьма зимней ночи, когда весь Петербургъ спитъ, и когда только что начинаютъ открываться булочныя и вообще когда негдѣ приткнуться, чтобы напиться чаю или же не къ кому заѣхать, чтобы не разбудить утомленнаго петербуржца и не побезпокоить его. Какъ бы то ни было, но я думаю — перевѣсъ въ моихъ поступкахъ брало не столько нежеланіе безпокоить моихъ

знакомыхъ, сколько опять-таки увлеченіе многосодержательностью цыфръ, овладѣвшихъ въ послѣднее время всѣмъ моимъ вниманіемъ. Меня особенно поразило то, что въ одномъ Петербургѣ каждый мѣсяцъ рождается до 700 дѣтей, у которыхъ нѣтъ ни отцовъ, ни матерей. Полагаю, что послѣднее вліяніе было во мнѣ преобладающимъ, и говорю это на томъ основаніи, что сторожъ, къ которому меня подвезъ извозчикъ, и который стоялъ около того мѣста воспитательнаго дома, гдѣ идетъ „продажа картъ“, долгое время слушалъ мои вопросы и разглагольствія какъ бы въ какомъ-то недоумѣніи и, наконецъ, повидимому, самъ заразился моими статистическими выраженіями. Какъ бы въ подражаніе моему статистическому языку, онъ сталъ разговаривать со мною тоже какимъ-то страннымъ и также какъ бы научнымъ языкомъ.

— Рождаемость? — въ недоумѣніи проговорилъ онъ, какъ бы приходя въ себя отъ моихъ многосложныхъ вопросовъ.— Рождаемость... это съ Мойки вамъ надо заѣхать... Придется объѣзжать по Невскому и оттуда, отъ мосту, по лѣвой рукѣ... Тамъ идетъ эта самая... напримѣръ рождаемая приноска. Изъ тѣхъ воротъ съ уткой и утятами... Туда бабы волокутъ свое нарожденіе, съ Мойки. А въ наши ворота идетъ уже выпускъ—кое въ деревню, а кое на гигіенъ-станцію.

— Какая же это гигіенъ-станція?

— А Преображенка!.. Какъ же? Какъ пойдете по Гончарной и будетъ улица въ концѣ, къ Казачьему плацу — и тутъ сейчасъ на лѣвой рукѣ гигіенъ-станецъ. Для очистки воздуха. Вентиляція. Потому Петербургъ—не деревня... Тамъ дай Богъ въ годъ два-три покойника, а вѣдь въ Петербургѣ кажинный Божій день народу намретъ, какъ снѣгу въ подворотни набьетъ. Одного нашего брата мужика, мастерового, навалитъ въ сутки тьма-тьмущая. Держать мертвечины долго не годится—вотъ ее изъ всѣхъ мѣстъ—изъ больницъ изъ всякихъ—прямо на гигіенъ-станецъ, а тамъ въ вагонъ, а тамъ на Преображенку, за городъ! Гигіенъ называется все одно, какъ очистка. Для воздуха. Кабы полиція не дѣлала у насъ хорошую гигіену, у насъ бы въ воспитательномъ мерло не такъ, а теперь все не шибко.

Я находился въ недоумѣніи, не умѣя понять, въ какой

степени все то, что говоритъ сторожъ, относится къ разрѣшенію заданной мною себѣ задачи? Но тотъ же сторожъ вывелъ меня изъ затрудненія.

— Да вотъ и сегодня ужъ вывозка была младенцамъ на гигіенъ-станецъ, а часу въ девятомъ ихъ ужъ по машинѣ отправятъ. А ежели вамъ насчетъ рождаемаго, напримѣръ, такъ бабы шляются туда, съ Мойки... Это ужъ къ Полицейскому мосту надо объѣздъ дѣлать.

— Ну, спасибо!—сказалъ я, спѣшно сѣвъ опять на того же извозчика, и торопливо сказалъ ему:

— Поѣзжай въ Гончарную поскорѣе!

Клячонка ночного извозчика, на которой я ѣхалъ, дѣлая второй длинный конецъ по направленію къ тому же Николаевскому вокзалу, съ половины дороги пошла чрезвычайно тихо, хотя извозчикъ ее и стегалъ довольно исправно. Впрочемъ, судя по тому, что темнота еще довольно густо лежала на землѣ, можно было думать, что время еще раннее. Знаменская площадь была совершенно пуста и только у рельсовъ конно-желѣзной дороги виднѣлась капельная фигурка гимназистика съ ранцемъ на спинѣ: онъ, проживающій съ родителями на Пескахъ, ждалъ конки, чтобы поѣхать на Васильевскій островъ въ гимназію; крошечный человѣчекъ, не доспавъ, всталъ въ шесть часовъ утра и воротится домой никакъ не ранѣе шести часовъ вечера и потомъ еще уроки до одиннадцати. Жутко было какъ-то среди этой тьмы и холода видѣть эту дѣтскую фигурку, изнуряющую свои младенческіе годы навѣрное ради куска хлѣба въ будущемъ—и раздумывая объ этомъ, я не замѣтилъ, что лошадь извозчика уже не бѣжитъ, не пытается даже бѣжать, а только постоянно вертитъ хвостомъ и дергаетъ сани впередъ по вершку. Я видѣлъ, что лошадь устала, но не рѣшался понукать извозчика и терпѣливо плелся на немъ по пустынной Гончарной, хотя крайне опасался, что я не поспѣю на гигіенъ-станецъ до отхода поѣзда.

Вдругъ, равняясь со мною санями, появилась сначала дымящаяся лошадь, потомъ сани.

— Поскорѣй, извозчикъ! Ахъ, извозчикъ, опоздаемъ!— услышалъ я съ лѣвой стороны.

И обернувшись, я увидѣлъ женскую руку въ перчаткѣ (довольно ветхой), которая трогала извозчика въ спину.

— Поѣзжай!.. Скоро отойдетъ поѣздъ! Ужъ должно быть отошелъ! Ахъ, Боже мой!

— Не безпокойтесь, ничего!—хлопнувъ дымящуюся лошадь что есть силы, сказалъ извозчикъ.

И я сразу увидѣлъ, что на саняхъ сидитъ та самая „бѣлошвейная мастерица", которую всякій петербуржецъ встрѣчаетъ въ такомъ обиліи среди уличной толпы. Аккуратно одѣтая дѣвушка, а рядомъ съ ней картонка продолговатая, коричневая съ глянцеватой крышкой.

— Пожалуйста!..—послышалось мнѣ еще разъ, когда, послѣ ошеломляющаго удара, лошадь извозчика сильно рванула и сразу обогнала насъ.

— Поспѣемъ!—едва слышно донеслись слова извозчика, сопровождаемыя новымъ ударомъ, огласившимъ какъ выстрѣлъ пустынную Гончарную.

Извозчикъ обогналъ насъ. Я едва видѣлъ бѣлошвейку, но и видѣннаго было достаточно, чтобы узнать, что она въ величайшемъ безпокойствѣ. Она, сидя на одномъ мѣстѣ, была въ какомъ-то непрерывномъ волненіи, и рука ея поминутно прикасалась къ плечу извозчика.

Извозчикъ дралъ свою клячу, высоко замахиваясь кнутомъ, даже поднимался во весь ростъ и махалъ въ воздухѣ концами вожжей.

— Пошелъ! Поѣзжай скорѣй!—закричалъ и я моему извозчику.—Опоздаемъ!

Я былъ вполнѣ увѣренъ, что бѣлошвейка ѣдетъ на „гигіенъ-станецъ", хотя присутствіе коробки съ какимъ-нибудь нарядомъ смущало меня. Можетъ быть, она везетъ нарядъ какой-нибудь именинницѣ и спѣшитъ такъ рано? Но, не спуская съ обогнавшей меня дѣвушки глазъ, я увидѣлъ, что извозчикъ ея поворачиваетъ съ Гончарной направо и именно туда, гдѣ должна быть Преображенка, и что дѣвушка даже приподнялась на извозчикѣ, что она, кажется, даже пихаетъ его въ спину, что лошадь уже скачетъ всѣми четырьмя ногами сразу, осыпаемая непрерывными ударами.

— Пошелъ!—закричалъ я, какъ только могъ.—Прибавлю. Пошелъ во всю мочь!

Извозчикъ, чувствуя что-то небывалое, также пришелъ въ возбужденное состояніе и также принялся „лупить“ свою клячу, что было мочи. Но трудно было „разжечь“ несчастную, утомленную ночною ѣздою скотину, и она хотя и начала такъ же, какъ лошадь обогнавшаго насъ извозчика, прыгать всѣми четырьмя ногами, но надлежащаго успѣха отъ всѣхъ этихъ стараній не получалось, и мы, при поворотѣ съ Гончарной къ Казачьему плацу, встрѣтили извозчика, который везъ бѣлошвейку, уже порожнякомъ. Онъ ѣхалъ медленно, весь въ клубахъ пара, исходившаго отъ лошади.

— Опоздали?—почему-то впопыхахъ воскликнулъ мой возница, неустанно нахлестывая клячу.

— Первый звонокъ былъ!—не спѣша отвѣтилъ извозчикъ, собираясь закурить папироску.—Пожалуй опоздаете...

Это извѣстіе заставило моего возницу сдѣлать какое-то невозможное усиліе — и руками, и горломъ, и кнутомъ, и мы наконецъ таки очутились около крыльца „Преображенки“.

II.

Опрометью вбѣжалъ я въ этотъ покойницкій вокзалъ и сразу натолкнулся на такую сцену: гдѣ-то звенѣлъ желѣзнодорожный звонокъ, шла какая-то суета, но помѣщеніе было ужъ пусто и только у двери столпилось нѣсколько служащихъ, группой окружившихъ бѣлошвейку. Тутъ были жандармъ, купецъ, артельщики въ фартукахъ и какіе-то люди—и все это громко говорило, въ то время, когда бѣлошвейка, сидя на скамейкѣ рядомъ со своимъ коробкомъ, заливалась горючими слезами. Группа народа, толкавшаяся около нея, одинъ передъ другимъ старались въ чемъ-то убѣдить ее, и въ тонѣ разговаривающихъ была слышна сочувственная нота.

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, Боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчикъ мой!..—облитая слезами въ три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала „аккуратная“ фигурка бѣлошвейки.

— Сударыня! ничего теперь невозможно!—убѣдительнымъ тономъ говорилъ артельщикъ.

— У меня есть квитанція! — поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь словами, говорила она. — Вотъ, вѣдь, я говорю... есть!

Въ рукахъ ея виднѣлась какая-то бумажка.

— Эта квитанція не можетъ способствовать!..

— Вѣдь это на моего мальчика!

— Оно точно! Дѣйствительно, на мальчика вашего—только что не такіе нумера...

— Мой мальчикъ! Но вѣдь это его нумеръ?

— Это ихній нумеръ, вѣрно! Только что это пріемная квитанція, значитъ, живого младенца, а здѣсь накладныя мертвецкія... Этотъ нумеръ не можетъ подойтить!

— И напрасно вы изволите безпокоиться, — прибавилъ другой сочувствовавшій горю человѣкъ.—Окончательно по этой квитанціи покойника не разыскать. На живого одинъ нумеръ, а на мертваго другой... Который нумеръ? Позвольте?

Бѣлошвейка рыдала въ платокъ, но квитанцію дала все-таки.

— Четыреста восемьдесятъ одинъ. Ну, онъ тамъ и обозначенъ умершимъ, а въ пріемкѣ у него можетъ двадцать девятый или какой тамъ... И окончательно оставьте! Господь прибралъ—что жъ? Кабы ежели въ покойницкой были...

— Неужели я не увижу? Господи!.. Дайте мнѣ эту квитанцію! Можетъ быть, я увижу... Тамъ еще поѣздъ, пассажирскій.

Раздался третій звонокъ.

— Ахъ, милый мой!.. Уѣдетъ!.. Нѣтъ, я побѣгу на вокзалъ!..

Она быстро вскочила съ лавки, схватила картонку, уронила ее и, несмотря на самыя задушевныя доказательства, что ничего она не добьется, быстро побѣжала, пробиваясь сквозь толпу. Я схватилъ ея коробку и побѣжалъ вслѣдъ за ней, а за нами высыпала и вся толпа.

— А ты, коли рожаешь ребенка, такъ ты его не бросай какъ щенка!—вдругъ, какъ обухомъ по лбу, громко и отчетливо проговорилъ какой-то изъ слушателей, видомъ лавочникъ.

Бѣдная бѣлошвейка остановилась, и хотя она и была вся измучена, и лицо ея опухло отъ слезъ,—въ ней проснулась на минуту бойкость „бѣлошвейки", которая иногда вынуждена давать дуракамъ сдачи.

— Послушайте!—смѣло сказала она, останавливаясь.— Вы какъ смѣете говорить дерзости?

— Чего бормочешь!—прикрикнули на него нѣкоторые изъ артельщиковъ,—нашелъ время галдѣть!

— Да,—настойчиво болталъ нравоучитель. – Коли родишь, такъ не бросай! А то только бы хвостомъ повертѣть? Нѣтъ, шалишь! Вотъ и поплачь, матушка, ничего!

— Перестань, дуракъ!—закричали сочувствующіе бѣдной женщинѣ люди.

Дуракъ не переставалъ бормотать, и это бормотанье какъ будто приковало ноги дѣвушки къ землѣ: она не трогалась съ мѣста и гнѣвно смотрѣла на удалявшагося дурака.

— Пойдемте! — сказалъ я. — Можетъ быть, поѣздъ еще не ушелъ.

Она пошла, но слова нежданнаго дурака, очевидно, ошеломили ее, и она, сдѣлавъ два-три шага, быстрыхъ и стремительныхъ, вдругъ замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гнѣвно и медленно:

— Скверный! Чтобъ я бросила ребенка... Что я, собака? Я бросила! Когда мнѣ кормить нечѣмъ! Чѣмъ я буду кормить?

Опять градомъ льются ея слезы, и мы быстро идемъ впередъ. И вдругъ опять остановка.

— Кабы у меня были родные или кто-нибудь на свѣтѣ... У меня никого нѣтъ! Я сирота! Каждый годъ у насъ родитъ кухарка, и всѣ ребята живы... Девять рублей получаетъ, платитъ въ деревню... И всѣ живы... А я?

Горькія слезы.

— ...Я еще и въ мастерицы не вышла... Скверный какой!.. Я бы его нашла потомъ! Ихъ въ деревню отдаютъ... Бросила ребенка! Подлецъ этакой! Я бы нашла его...

— Пойдемте, пойдемте, пожалуйста!—говорилъ я.

Она опять побѣжала и опять остановилась:

— Я одна кругомъ... *Онъ* тоже копейки не имѣетъ... ученикъ... Меня съ шести лѣтъ мучаютъ работой... У меня

даже своего лоскута нѣтъ... Вѣдь за нихъ казна платитъ, какъ же мнѣ быть?.. Я бы ужъ нашла его!.. У меня, у самой, молока было ужасть! Двухъ бы покормила! Дуракъ эдакой, невѣжа! Вся рубашка молокомъ-то... Чѣмъ я виновата!.. Всѣмъ можно родить, а мнѣ нельзя? Гадкій какой дуракъ, безсовѣстный!.. Теперь и не найтить моего мальчика!.. Ахъ, милый мой! Голубчикъ мой! Пойдемте ради Бога скорѣе!

До самаго вокзала она неслась какъ вѣтеръ, и платокъ поминутно мелькалъ около ея лица.

— Опоздали? — впопыхахъ спросили мы у татарина въ буфетѣ, сказавъ, зачѣмъ мы пришли.

— Да,—проговорилъ онъ, поглядѣвъ на круглые часы:— сейчасъ уйдетъ!

— Что жъ?—сказалъ я,—теперь ужъ право нечего!..

Она стояла неподвижно. Я взялъ ее подъ локоть, привелъ къ скамейкѣ и посадилъ. Она отвернулась отъ меня, какъ-то перевѣсилась черезъ ручку деревяннаго дивана и, молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю. Туго застегнутый, „аккуратный“ хозяйскій дипломатъ дрожалъ подъ истерическимъ дрожаніемъ всего ея тѣла.

— Голубчикъ!—чуть-чуть шептала она...—Прощай! Прощай, ангельчикъ мой!

И будто поцѣлуи слышались тихіе...

Я сидѣлъ около нея недвижимо и боялся дохнуть.

III.

Помню, что она ушла съ опухшимъ лицомъ, но не забыла задернуть его кусочкомъ вуальки и вообще постаралась принять, насколько въ ней хватало силы, обычный видъ бѣлошвейки, опять типъ той самой, которую всякій видитъ въ толпѣ съ коробкой въ рукахъ.

— Ой,—сказала она сиплымъ шопотомъ, взглянувъ на часы, — одиннадцатый! Теперь полковница меня съѣстъ! Ужъ давно надо было быть! Ахъ, Боже мой!..

Толпа, схлынувшая съ почтоваго поѣзда, поглотила ея „фигурку“, ставшую опять „аккуратной“... Я просидѣлъ еще

довольно долго, не смѣя тронуться съ мѣста подъ впечатлѣніемъ чего-то ужаснаго. Наконецъ, я всталъ со скамейки и пошелъ.

— Господинъ! — остановилъ меня сторожъ съ бляхой.— Вотъ бумажку обронили!

Я взялъ бумажку: это была квитанція на принятіе ребенка бѣлошвейки.

А, вѣдь, она какъ цѣловала эту квитанцію-то! И теперь у нея ничего не осталось. Она опять должна девяносто девять частей своей жизни посвятить работѣ на хозяйку, заботамъ о полковницѣ, которая „выходитъ изъ себя“, если на ней дурно „сидитъ“, огорченью за неуспѣхъ этихъ полковницъ изъ-за туалета, скорби хозяйки о недостаткѣ средствъ на игру въ карты — и только сотую часть своему материнскому дѣлу, чувству, обязанности.

Такъ вотъ какія иногда многосложныя вещи таятся въ статистическихъ дробяхъ! Думаешь надъ этими нуликами, дѣлаешь разныя вычисленія, а нежданная слеза возьметъ да все и запачкаетъ!

ГРѢШНИЦА.

Нынче праздникъ „всѣхъ скорбящихъ“,
Не пойти ли мнѣ во храмъ?
Въ чемъ мнѣ люди отказали,
Не пошлетъ ли небо тамъ?

Мать все плачетъ,— утѣшенья
Нѣтъ для дочери у ней!
Занемогъ отецъ; ихъ горе
Видѣть мнѣ всего больнѣй.

Поздоровавшись съ старушкой,
Приготовила она

Старику больному пищу
И пошла отъ нихъ грустна;

Потупляетъ боязливо
Предъ сосѣдями глаза;
Но зато глядитъ такъ смѣло
Взоръ ея на небеса.

Въ домъ къ роднымъ зашла, робѣя
И съ мучительной тоской;
Но во храмъ вступила твердой,
Безбоязненной стопой.

Стала тихо на колѣни
Передъ Матерью Христа...
Но о чемъ молить—не знаетъ,
И молчатъ ея уста...

И какъ будто слышитъ голосъ
Чей-то: „встань! младенецъ твой
Примиритель и посредникъ
Между небомъ и тобой...

Вѣдь его съ пеленокъ будутъ
До могилы распинать...
Все искупитъ онъ съ избыткомъ,
Въ чемъ была виновна мать...“

А. Плещеевъ.

Мальчикъ у Христа на елкѣ.

РАЗСКАЗЪ.

Еще очень маленькій мальчикъ, лѣтъ шести или даже менѣе, проснулся утромъ въ сыромъ и холодномъ подвалѣ. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то халатикъ и дрожалъ. Дыханіе его вылетало бѣлымъ паромъ и онъ, сидя въ углу на сундукѣ, отъ скуки нарочно пускалъ этотъ паръ изо рта и забавлялся,

смотря какъ онъ вылетаетъ. Но ему очень хотѣлось кушать. Онъ нѣсколько разъ съ утра подходилъ къ нарамъ, гдѣ на тонкой, какъ блинъ, подстилкѣ и на какомъ-то узлѣ подъ головой вмѣсто подушки лежала больная мать его. Какъ она здѣсь очутилась?

Должно быть, пріѣхала съ своимъ мальчикомъ изъ чужого города и вдругъ захворала. Хозяйку угловъ захватили еще два дня тому въ полицію; жильцы разбрелись, дѣло праздничное, а оставшійся одинъ халатникъ уже цѣлыя сутки лежалъ мертво-пьяный, не дождавшись и праздника. Въ другомъ углу комнаты стонала отъ ревматизма какая-то восьмидесятилѣтняя старушонка, жившая когда-то и гдѣ-то въ нянькахъ, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, такъ что онъ уже сталъ бояться подходить къ ея углу близко. Напиться-то онъ гдѣ-то досталъ въ сѣняхъ, но корочки нигдѣ не нашелъ и разъ въ десятый уже подходилъ разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконецъ, въ темнотѣ: давно уже начался вечеръ, а огня не зажигали. Ощупавъ лицо мамы, онъ подивился, что она совсѣмъ не двигается и стала такая же холодная, какъ стѣна. „Очень ужъ здѣсь холодно“, подумалъ онъ, постоялъ немного, безсознательно забывъ свою руку на плечѣ покойницы, потомъ дохнулъ на свои пальчики, чтобъ отогрѣть ихъ, и вдругъ, нашаривъ на нарахъ свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошелъ изъ подвала. Онъ еще бы и раньше пошелъ, да все боялся вверху, на лѣстницѣ, большой собаки, которая выла весь день у сосѣдскихъ дверей. Но собаки уже не было, и онъ вдругъ вышелъ на улицу.

Господи, какой городъ! Никогда еще онъ не видалъ ничего такого. Тамъ, откудова онъ пріѣхалъ, по ночамъ такой черный мракъ, одинъ фонарь на всю улицу. Деревянные низенькіе домишки запираются ставнями; на улицѣ, чуть смеркнется—никого, всѣ затворяются по домамъ и только завываютъ цѣлыя стаи собакъ, сотни и тысячи ихъ воютъ и лаютъ всю ночь. Но тамъ было зато такъ тепло и ему давали кушать, а здѣсь — Господи, кабы покушать! И какой здѣсь стукъ и громъ, какой свѣтъ и люди, лошади и кареты, и морозъ, морозъ! Мерзлый паръ валитъ отъ загнанныхъ ло-

шадей, изъ жарко-дышащихъ мордъ ихъ; сквозь рыхлый снѣгъ звенятъ объ камни подковы, и всѣ такъ толкаются, — и, Господи, такъ хочется поѣсть, хоть бы кусочекъ какой-нибудь, и такъ больно стало вдругъ пальчикамъ.

Вотъ и опять улица, — охъ, какая широкая! Вотъ здѣсь такъ раздавятъ навѣрно; какъ они всѣ кричатъ, бѣгутъ и ѣдутъ, а свѣту-то, свѣту-то! А это что? Ухъ, какое большое стекло, а за стекломъ комната, а въ комнатѣ дерево до потолка; это елка, а на елкѣ сколько огней, сколько золотыхъ бумажекъ и яблокъ, а кругомъ тутъ же куколки, маленькія лошадки; а по комнатѣ бѣгаютъ дѣти, нарядныя, чистенькія, смѣются и играютъ, и ѣдятъ и пьютъ что-то. Вотъ эта дѣвочка начала съ мальчикомъ танцовать, какая хорошенькая дѣвочка! Вотъ и музыка, сквозь стекло слышно. Глядитъ мальчикъ, дивится, ужъ и смѣется, а у него болятъ уже пальчики и на ножкахъ, а на рукахъ стали совсѣмъ красные, ужъ не сгибаются и больно и пошевелить. И вдругъ вспомнилъ мальчикъ про то, что у него такъ болятъ пальчики, заплакалъ и побѣжалъ дальше; и вотъ опять видитъ онъ сквозь другое стекло комнату, опять тамъ деревья, но на столахъ пироги, всякіе — миндальные, красные, желтые, и сидятъ тамъ четыре богатыя барыни, а кто придетъ, онѣ тому даютъ пироги, а отворяется дверь поминутно, входитъ къ нимъ съ улицы много господъ. Подкрался мальчикъ, отворилъ вдругъ дверь и вошелъ. Ухъ, какъ на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорѣе и сунула ему въ руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Какъ онъ испугался! А копеечка тутъ же выкатилась и зазвенѣла по ступенькамъ: не могъ онъ согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбѣжалъ мальчикъ и пошелъ поскорѣй-поскорѣй, а куда — самъ не знаетъ. Хочется ему опять заплакать, да ужъ боится, и бѣжитъ-бѣжитъ, на ручки дуетъ. И тоска беретъ его потому, что стало ему вдругъ такъ одиноко и жутко, и вдругъ, Господи! Да что жъ это опять такое? Стоятъ люди толпой и дивятся: на окнѣ за стекломъ три куклы, маленькія, разодѣтыя въ красныя и зеленыя платьица и совсѣмъ-совсѣмъ какъ живыя! Какой-то старичокъ сидитъ и будто бы играетъ на большой скрипкѣ;

два другихъ стоятъ тутъ же и играютъ на маленькихъ скрипочкахъ и въ тактъ качаютъ головками, и другъ на друга смотрятъ, и губы у нихъ шевелятся, говорятъ, совсѣмъ говорятъ,—только вотъ изъ-за стекла не слышно. И подумалъ сперва мальчикъ, что они живыя, а какъ догадался совсѣмъ, что это куколки—вдругъ разсмѣялся. Никогда онъ не видалъ такихъ куколокъ и не зналъ, что такія есть! И плакать-то ему хочется, но такъ смѣшно-смѣшно на куколокъ. Вдругъ ему почудилось, что сзади его кто-то схватилъ за халатикъ: большой злой мальчикъ стоялъ подлѣ и вдругъ треснулъ его по головѣ, сорвалъ картузъ, а самъ спизу поддалъ ему ножкой. Покатился мальчикъ на земь, тутъ закричали, обомлѣлъ онъ, вскочилъ и бѣжать-бѣжать, и вдругъ забѣжалъ самъ не знаетъ куда, въ подворотню, на чужой дворъ,—и присѣлъ за дровами: „тутъ не сыщутъ, да и темно“.

Присѣлъ онъ и скорчился, а самъ отдышаться не можетъ отъ страху и вдругъ, совсѣмъ вдругъ стало такъ ему хорошо: ручки и ножки вдругъ перестали болѣть и стало такъ тепло, такъ тепло, какъ на печкѣ; вотъ онъ весь вздрогнулъ: ахъ, да вѣдь онъ было заснулъ! Какъ хорошо тутъ заснуть. „Посижу здѣсь и пойду опять посмотрѣть на куколокъ“, подумалъ мальчикъ и усмѣхнулся, вспомнивъ про пихъ: „Совсѣмъ какъ живыя!..“ И вдругъ ему послышалось, что надъ нимъ запѣла его мама пѣсенку.—Мама, я сплю, ахъ, какъ тутъ спать хорошо!

— Пойдемъ ко мнѣ на елку, мальчикъ,—прошепталъ надъ нимъ вдругъ тихій голосъ.

Онъ подумалъ было, что это все его мама, но нѣтъ, не она; кто же это его позвалъ, онъ не видитъ, но кто-то нагнулся надъ нимъ и обнялъ его въ темнотѣ, а онъ протянулъ ему руку и... вдругъ,—о, какой свѣтъ! О, какая елка! Да и не елка это, онъ и не видалъ еще такихъ деревьевъ! Гдѣ это онъ теперь: все блеститъ, все сіяетъ и кругомъ все куколки,—но нѣтъ, это все мальчики и дѣвочки, только такіе свѣтлые, всѣ они кружатся около него, летаютъ, всѣ они цѣлуютъ его, берутъ его, несутъ съ собою, да и самъ онъ летитъ, и видитъ онъ: смотритъ его мама и смѣется на него радостно.

— Мама! Мама! Ахъ, какъ хорошо тутъ, мама! — кричитъ ей мальчикъ, и опять цѣлуется съ дѣтьми, и хочется ему разсказать имъ поскорѣе про тѣхъ куколокъ, за стекломъ. — Кто вы, мальчики? Кто вы, дѣвочки? — спрашиваетъ онъ, смѣясь и любя ихъ.

— Это „Христова елка," — отвѣчаютъ они ему. — У Христа всегда въ этотъ день елка для маленькихъ дѣточекъ, у которыхъ тамъ нѣтъ своей елки...

И узналъ онъ, что мальчики эти и дѣвочки всѣ были все такія же какъ онъ дѣти, и всѣ-то они теперь здѣсь, всѣ они теперь какъ ангелы, всѣ у Христа, и Онъ Самъ посреди ихъ, и простираетъ къ нимъ руки, и благословляетъ ихъ и ихъ грѣшныхъ матерей... А матери этихъ дѣтей всѣ стоятъ тутъ же, въ сторонкѣ, и плачутъ; каждая узнаетъ своего мальчика или дѣвочку, а они подлетаютъ къ нимъ, цѣлуютъ ихъ, утираютъ имъ слезы своими ручками и упрашиваютъ ихъ не плакать, потому что имъ здѣсь такъ хорошо...

А внизу, на утро, дворники нашли маленькій трупикъ забѣжавшаго и замерзшаго за дровами мальчика; розыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свидѣлись у Господа Бога въ небѣ.

Дѣлежъ.

Въ рабочій день, въ обѣденную пору,
На чердакѣ, высоко надъ землей,
Мы застаемъ супружескую ссору.
Лишь па зарѣ вернувшійся домой,
Проснулся мужъ — съ тяжелой головой
И поющимъ, какъ бы разбитымъ, тѣломъ.
Въ хмельномъ чаду — и голоденъ и золъ —
Вокругъ глядитъ онъ взглядомъ отупѣлымъ:
Очагъ потухъ, и пустъ убогій столъ;
Повсюду грязь; безъ ласки и вниманья,
Въ угрюмую печаль погружена,

Скользитъ какъ тѣнь увядшая жена...
Онъ удрученъ; онъ ищетъ оправданья.
— Ты только что явилась? гдѣ была?
Чуть отверпись—тебя ужъ нѣтъ и дома.
А мужъ одинъ... Все это намъ знакомо.
Ну, сказывай, съ кѣмъ утро провела?
— Съ ума сошелъ! Вотъ не было заботы!
Никакъ, меня онъ ревновать готовъ!
Смотри — у насъ ни хлѣба нѣтъ, ни дровъ:
Ты пьянствуешь всю ночь, а я работы,
Весь день снуя по городу, ищу...
— Я дѣлаю все то, что я хочу.
— Ну, хорошо! я стану дѣлать то же.
— Что̀ любо мнѣ—ужъ тѣмъ не поступлюсь.
— Тогда и я дружкомъ обзаведусь!
Я не шучу. Смотри за мной построже...
— Негодная!
И полился потокъ
Обидъ, угрозъ, проклятій, сожалѣній:
О, если бъ кто предвидѣть это могъ!
Былой любви — ни признака, ни тѣни;
Взамѣнъ ея—лишенья и разладъ,
А въ будущемъ—не жизнь—кромѣшный адъ!
И, споръ прервавъ, воскликнулъ мужъ:
— Довольно!
На каторгу никто насъ не обрекъ,
Къ чему жъ терзать другъ друга добровольно?
Я выбился изъ силъ! я изнемогъ!
— Ты изнемогъ? зачѣмъ же дѣло стало?
Разстанемся!
— Ну, этимъ ужъ давно
Грозимся мы, а толку что-то мало.
— А, если такъ—прекрасно! рѣшено!
Сегодня же... ни часа, ни мгновенья...
И, вся дрожа отъ гнѣвнаго смятенья,
— Ступай! ступай! закончила она:
Я какъ-нибудь одна прожить сумѣю;
Мнѣ черная работа не страшна—

И о тебѣ, хоть буду голодна,
Не вспомню я—не то что пожалѣю!
Вѣдь насъ двоихъ кормилъ не ты, а я...
Спѣши въ кабакъ! тамъ ждутъ тебя друзья
И женщины продажныя, быть можетъ...
Пей до ночи, проспись и снова пей,
Цока вино всего тебя не сгложетъ,
Но въ эту дверь стучаться ужъ не смѣй!
— Повремени! я не уйду такъ скоро:
Какъ нищаго, ни съ чѣмъ, средь бѣла дня—
На улицу не вышвырнешь меня!
Я не дуракъ, такъ лучше ужъ безъ спора
Намъ порѣшить. Вѣдь это все мое:
Давай дѣлить по совѣсти...
— Твое?!
Изъ-за чего я сна порой не знала,
Что по крохамъ сбирала я любя,
Надъ чѣмъ не разъ я слезы проливала—
Твое?! Гдѣ стыдъ, гдѣ совѣсть у тебя?
Э, Богъ съ тобой! Чужого мнѣ не надо:
Уходишь ты—и то ужъ мнѣ отрада...
Давай дѣлить!
И начался дѣлежъ.
Безъ устали, порывисто, сурово,
Чтобы успѣть покончить до огня,
Лишь изрѣдка роняя два-три слова.
Мужъ былъ жестокъ; мужъ былъ неумолимъ:
Исполненный безумнаго злорадства,
Въ пыли, въ поту, съ усердіемъ тупымъ,—
Сознательно творилъ онъ святотатство!
Въ той комнатѣ, гдѣ нѣкогда вдвоемъ
Живой любви зарю они встрѣчали
И гнали прочь сомнѣнья и печали,—
Царилъ теперь безжалостный разгромъ;
Тамъ слышалось отрывисто и рѣзко:
— Мое... твое...
— Вотъ скатерть... занавѣска...
— Стаканъ возьми, а чашку не отдамъ...

— Кровать моя...
— Простыни пополамъ...
— Подсвѣчники—тебѣ и мнѣ по штукѣ...
Такъ рушился былого счастья храмъ!
Такъ, все порвавъ, безъ слезъ, безъ тайной муки —
Жена и мужъ готовились къ разлукѣ!..
Пришелъ къ концу супружеской раздѣлъ.
Какъ бы застывъ въ нѣмомъ ожесточеньи,
Мужъ всѣ углы еще разъ оглядѣлъ—
И вдругъ въ шкапу, въ укромномъ углубленьи,
Чуть видимый завидѣлъ узелокъ...
— А это что? Какіе-то наряды
Припрятала?
Онъ развернулъ платокъ...
И—встрѣтились растерянные взгляды,
И дрогнули смущенныя сердца
Надъ платьицемъ ребенка-мертвеца!
Разсѣялось постыдное забвенье,
Въ душевный мракъ лучъ прошлого проникъ,—
И дѣвочки прелестное видѣнье
Въ ихъ намяти воскресло въ этотъ мигъ...
И мужъ сказалъ тревожно и поспѣшно...
— Ужъ этого я не отдамъ, конечно...
— Нѣтъ, ты отдашь! На что оно тебѣ?
Я берегла... Возьми все остальное...
О ангелъ мой! дитя мое родное!
Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ прибралъ ее къ себѣ,
Все мучусь я—и нѣтъ конца мученью...
Да что! теперь ужъ поздно горевать!..
И, смутному покорствуя влеченью,
Онъ уступилъ. Взволнованная мать,
Не отводя отчаяннаго взора
Отъ нѣжнаго, поблекшаго узора —
Счастливыхъ дней любимаго труда,—
Безцѣнные останки бережливо
Сложила вновь и шопотомъ
Промолвила:
— Теперь ужъ поздно!

— Да?
Ты думаешь?—Невнятный и покорный
Послышался вопросъ:—а ради той,
Что къ намъ пришла? Чей образъ дорогой
Смирилъ нашъ гнѣвъ, безбожный и позорный?
Я виноватъ... Я говорю: прости...
Ну, что жъ еще?.. я не могу уйти!
Онъ смолкъ и сѣлъ, закрывъ лицо руками,
Она къ нему тихонько подошла...
Окликнула... склонилась... обняла...
— Не уходи!
И залилась слезами.

В. Лихачевъ.

День Васи.

Пасмурный октябрьскій разсвѣтъ заглянулъ въ окно небольшой комнаты, гдѣ, кромѣ кроватки, въ которой спалъ шестилѣтній Вася, и пары дѣтскихъ стуликовъ и стола, не было никакой мебели. На одномъ изъ стуликовъ лежало въ порядкѣ сложенное платье Васи, спавшаго на боку, со скрещенными на груди худенькими руками.

Въ одной изъ дальнихъ комнатъ часы мелодично пробили восемь. По корридору раздавались тихіе шаги прислуги, иногда слышалось осторожное позвякиванье посуды, сдержанный шопотъ. Вася пошевелилъ во снѣ губами, перевернулся на другой бокъ, раскрылъ глаза и потянулся. Мутное, осеннее утро такъ печально смотрѣло въ квадратъ окна, кругомъ было такъ тихо и сонно, что Вася снова закрылъ глаза и, вздохнувъ, потянулъ бѣлое пикейное одѣяло до подбородка, такъ какъ въ комнатѣ было довольно свѣжо.

Но въ эту минуту за дверью послышались шаги, она пріоткрылась, и горничная Наташа вошла въ дѣтскую.

— Вася! Василій Петровичъ! — позвала Наташа, — вставать пора... восемь часовъ.

Вася снова потянулся, вздохнулъ и приподнялся на постели.

— А Саша и Леля встали?—спросилъ онъ, осматриваясь.

— Встали!—отвѣчала Наташа, придвигая къ кровати стулъ съ платьемъ,—извольте одѣваться!

— А вы изволили вычистить сапоги?—спросилъ Вася, хмуря брови.

— Изволила! Хи, хи! — усмѣхнулась Наташа, подавая Васѣ чулки, — что жъ, сами, что ли, будете одѣваться?

— Конечно, самъ!— серьезно отвѣчалъ Вася.

— Ну, такъ я уйду, а умываться кликните!

Ничего не отвѣчая, Вася натягивалъ чулокъ. Когда Наташа ушла, онъ медленно, съ серьезностью взрослаго человѣка, надѣлъ полусапожки, панталоны, самъ застегнулъ лифчикъ, при чемъ долго копался съ пуговицами, и, подойдя къ окну, съ задумчивымъ видомъ сталъ смотрѣть на мокрую отъ дождя крышу. Наташа вошла съ кувшиномъ воды.

— Пожалуйте умываться! — сказала она,—смотрите, какъ вы лифчикъ-то надѣли: навыворотъ.

Вася посмотрѣлъ на лифчикъ, нахмурился, засопѣлъ и принялся разстегивать пуговицы. Наташа хотѣла ему помочь, но онъ сердито оттолкнулъ ее.

Умывшись, Вася взялъ щетку и передъ зеркальцемъ пригладилъ коротко остриженные волосы. Въ зеркалѣ отразилось блѣдное, худенькое личико съ синими жилками на вискахъ и большими задумчивыми глазами.

— Ну, пойдемте! — сказала Наташа, обдернувъ на Васѣ курточку и беря его за руку.

Вася молча вырвалъ руку и медленно направился черезъ коррндоръ въ столовую.

Тамъ, за столомъ съ самоваромъ уже сидѣли: Саша—двѣнадцатилѣтній гимназистъ и Леля — десяти лѣтъ. Оба медленно пили чай, откусывая сухари. Вася вскарабкался на свой стулъ въ ожиданіи, когда Наташа нальетъ ему чай.

— Что же ты не поздоровался? — спросилъ Саша, — не знаешь развѣ?

Вася молчалъ и смотрѣлъ недоброжелательно на брата.

— Молчишь? Воды въ ротъ набралъ,—переспросилъ Саша.

— Онъ сегодня нѣмой!—отвѣчала Леля.

— Кто это нѣмой!—послышался голосъ вошедшей матери.

Это была женщина лѣтъ тридцати-пяти, высокая, стройная брюнетка съ классическими чертами спокойнаго, даже нѣсколько холоднаго лица. Она была въ очень изящномъ утреннемъ костюмѣ и внесла съ собою въ столовую запахъ духовъ и косметики. При входѣ матери, дѣти встали и начали подходить „къ ручкѣ“. Клеопатра Сергѣевна холодно цѣловала каждаго въ голову, въ то же время производя ревизію костюму.

— Саша, поправь кушакъ! Кто же изъ васъ нѣмой?

— Вася! Мы его спрашивали, а онъ не отвѣчаетъ!—сказала Леля.

— Когда спрашиваютъ, нужно отвѣчать! — сентенціозно замѣтила Клеопатра Сергѣевна.

— Онъ и не поздоровался! — пожаловался Саша.

— Ты опять начинаешь по-своему? Забылъ, чему я тебя учила?—строго обратилась мать къ Васѣ.

— Нѣтъ, не забылъ!—отвѣчалъ тотъ, смотря прямо на нее.

— Отчего же ты не поздоровался?

— Не хотѣлъ.

— Это что за отвѣтъ!—вспылила мать,—можешь ли ты не хотѣть?

Вася опустилъ глаза и надулся.

— Ты долженъ исполнять мои приказанія! Слышишь?

Слышу,—отвѣчалъ Вася.

Саша и Леля вышли въ переднюю. Оттуда доносилось стучаніе калошами и слышалось звяканье пряжекъ, изъ чего можно было заключить, что Саша надѣваетъ ранецъ. Затѣмъ раздался стукъ захлопнутой двери, и все стихло.

Клеопатра Сергѣевна наливала мужу чай въ стаканъ съ серебрянымъ подстаканникомъ. Вася сидѣлъ теперь на диванѣ, слѣдя за движеніями матери.

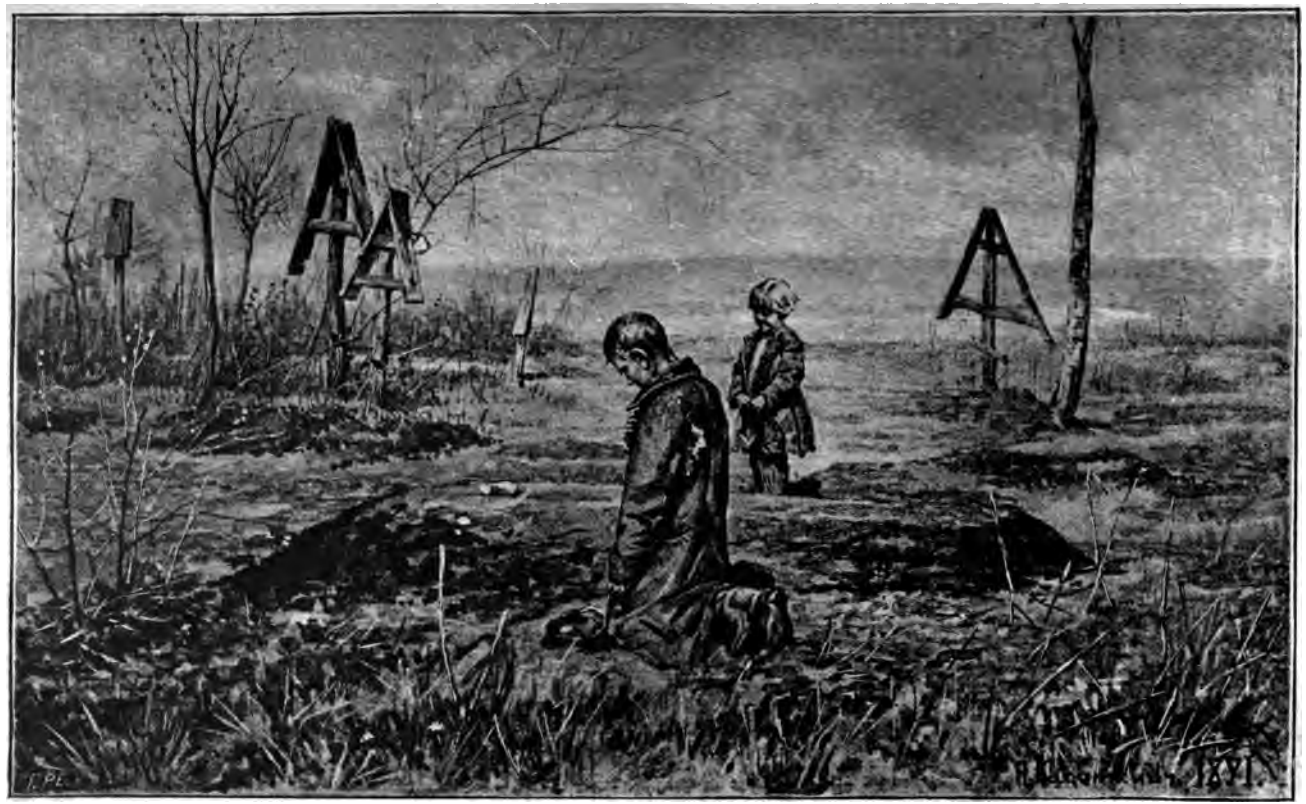
— Ты самъ одѣвался?—спрашивала она.

— Самъ.

— И мылся, и чистилъ зубы, все самъ?

— Да, самъ!

— Ну, смотри же, чтобы я не слышала на тебя жалобъ Наташи! Ты все, все долженъ дѣлать самъ!



«Осиротѣли». Съ картины Н. Касаткина.

Собственность Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Владимира Александровича.

Допущено цензурою. Москва, 4 іюля 1892 г.

Тип. И. Д. Сытина и К°

Послышалось громкое откашливаніе, и въ столовой появилась рослая фигура Петра Валерьяновича въ вицъ-мундирѣ. Лицо у него было свѣжее, красивое, съ выхоленными черными бакенбардами, эффектно оттѣнявшимися на отложномъ воротникѣ рубашки. Двѣ большія золотыя запонки сверкали изъ-подъ рукавовъ вицъ-мундира.

— Здравствуйте, папа!—сказалъ Вася.

— Здравствуй!—отвѣчалъ отецъ, такъ же какъ Клеопатра Сергѣевна, цѣлуя сына въ голову,—не слушаешь маму?

— Настойчивъ и грубъ! Два обычныхъ недостатка!—сказала Клеопатра Сергѣевна.

— Не хорошо!—(Отецъ погрозилъ пальцемъ).—Что это? никакъ дождь?

— Небольшой! Прошла головная боль?—спросила жена.

— Не совсѣмъ. На воздухѣ освѣжусь.

— Я думаю заказать твое любимое кушанье!

— Какое такое?

— Угадай!

— Не могу. У меня ихъ такъ много!

— Но ты все-таки предпочитаешь утку съ каштанами?

— Пожалуй!—улыбнулся Петръ Валерьяновичъ,—mercі!

— Я тоже люблю утку!—подалъ голосъ Вася.

— Тебя не спрашиваютъ! – строго оборвала мать,—и, вообще, когда разговариваютъ папа и мама, ты не долженъ вмѣшиваться!.. Запомни это!

— Хорошо!—пробормоталъ Вася.

Въ передней послышался звонокъ. Наташа пошла отворить.

— Газеты!—сказала она, подавая.

Петръ Валерьяновичъ взялъ газету и сталъ просматривать.

— Ба! знаешь кто умеръ?—сказалъ онъ.

Клеопатра Сергѣевна поморщилась и чуть-чуть повела плечомъ.

— Кто?—спросила она.—Знакомый?

— Афанасій Семеновичъ!

— Лужковъ! Неужели?

Петръ Валерьяновичъ отложилъ газету.

— Д-да!—задумчиво произнесъ онъ,—вѣдь какой былъ крѣпкій человѣкъ.

— Кутилъ, я слышала.

— Вообще велъ неправильную жизнь.

Петръ Валерьяновичъ посмотрѣлъ на свою выхоленную, полную, красивую руку и жестомъ какого-то самоудовлетворенія разгладилъ бакенбарды.

Затѣмъ онъ снова взялъ газету и началъ пробѣгать глазами по столбцамъ.

— Бряпцевъ получилъ новое назначеніе... Въ N—скую коммиссію.

— Неужели?—воскликнула жена.

— Въ гору идетъ человѣкъ.

— Мѣтитъ въ министры?

Петръ Валерьяновичъ презрительно скосилъ ротъ.

— Министръ... въ пространствѣ? — пробормоталъ онъ.

— Что значитъ: „министръ въ пространствѣ“? — спросилъ Вася.

— Зачѣмъ тебѣ знать?

— Потому что я хочу быть министромъ! — серьезно и твердо отвѣчалъ Вася.

Мать и отецъ сочувственно переглянулись.

— Для того, чтобы сдѣлаться министромъ, въ наставительномъ тонѣ начала Клеопатра Сергѣевна, — нужно много и долго учиться!.. А ты опять сопишь? Опять взялся за свои дурныя привычки?

Вася всталъ съ дивана и медленно поплелся въ гостиную. Тамъ онъ остановился передъ столомъ, долго смотрѣлъ на разложенные на немъ альбомы и кипсеки, потомъ отошелъ къ окну и началъ смотрѣть на крышу. Большой, сѣрый котъ, пробиравшійся по самому карнизу крыши, привлекъ и надолго занялъ вниманіе Васи. Котъ ступалъ осторожно, высоко поднимая то одну, то другую переднюю лапку и встряхивая ею. Наконецъ онъ скрылся за трубою.

— Basile!—послышался голосъ матери,—что ты смотришь? Что тамъ? Ничего? Пойдемъ заниматься.

Классная была большая свѣтлая комната со скамейками самаго новѣйшаго и поэтому самаго гигіеническаго устройства. Вася сѣлъ за столикъ и положилъ на него руки съ видомъ,

говорившимъ: „съ чего бы мы ни начали, мнѣ одинаково будетъ скучно!“

— Сперва чтеніе!—указала мать,—гдѣ твоя книжка?

— Здѣсь!—отвѣчалъ Вася, доставая изъ горки книгъ одну тоненькую и кладя ее передъ собою.

— Читай, да, пожалуйста, повнятнѣе! — Главное, не торопись и не сопи!—приказала мать.

Вася прочиталъ: „Сидитъ кошечка на окошечкѣ, пришелъ котъ, сталъ кошку спрашивать: о чемъ киска плачешь?“

— Довольно!—прервала Клеопатра Сергѣевна и, заглянувъ въ книгу, спросила:—гдѣ была кошка?

— На крышѣ!—отвѣчалъ Вася.

— Какъ ты внимателенъ! „На крышѣ!“ Ты что сейчасъ читалъ?

— Про кошечку... „Кошечка!“ — поправился Вася, заглянувъ въ книжку.

— Гдѣ же она была? Вѣдь ты читалъ, гдѣ была кошечка? Забылъ?

— Я не забылъ! Она была на окошечкѣ. Онѣ бываютъ тоже на крышѣ.

— Я спрашиваю не о томъ, гдѣ бываютъ кошки, а о томъ, гдѣ была та кошечка, про которую ты читалъ. О чемъ котъ спрашивалъ кошку?

— А развѣ кошки говорятъ?

Клеопатра Сергѣевна досадливо передернула плечами, затѣмъ смутилась, но тотчасъ же оправилась.

— По-моему, да, говорятъ.

— Я никогда не слышалъ!—усомнился Вася, глядя на мать.

— Ты слышалъ, но не понималъ. Кошки мурлычатъ,—это ихъ разговоры.

Вася отрицательно покачалъ головой.

— О чемъ же котъ спрашивалъ кошку?

— О чемъ она плакала?.. А развѣ кошки плачутъ?

— Плачутъ.

Но вдругъ раздумье взяло Клеопатру Сергѣевну. Ей показалось, что выборъ для чтенія не совсѣмъ удаченъ. Она перевернула страницу, пробѣжала статью „Ледоходъ“, на-

ткнулась на слова „кошель купи“ и, не понявъ его, стала читать слѣдующія статьи. Въ разсказѣ: „У плотины“ попалось слово „гать“, значеніе котораго Клеопатра Сергѣевна не понимала. Затѣмъ шелъ совсѣмъ нелѣпый разсказъ о какой-то фантастической моркови, которая „танцовала съ макомъ“, и Клеопатра Сергѣевна рѣшила, что книжка, рекомендованная ей Раисою Петровной, совсѣмъ никуда не годится. Кончивъ съ чтеніемъ, Клеопатра Сергѣевна заставила Васю писать по графической сѣткѣ сперва элементы буквъ, потомъ самыя буквы и, наконецъ, цѣлыя слова, вродѣ: „Маша, лиса, коза“ и пр. Урокъ письма продолжался полчаса. Вася усталъ, сдѣлался разсѣяннымъ. Чтобы „оживить“ ребенка, мать заставила его продѣлать комнатную гимнастику, заключавшуюся въ томъ, что Вася долженъ былъ пятьдесятъ разъ поднять и опустить руки, затѣмъ сдѣлать полтораста шаговъ по комнатѣ, потомъ двадцать разъ присѣсть и подняться, держа голову кверху, а руки въ бока.

Часы пробили два. Клеопатра Сергѣевна вспомнила, что ей нужно идти по дѣлу, и приказала Наташѣ подавать одѣваться. Предоставленный, наконецъ, самому себѣ, Вася тщательно сложилъ тетради и книги, отеръ перо, положилъ его на назначенное мѣсто и отправился въ гостиную, къ окну, въ чаяніи увидѣть кота на крышѣ и доподлинно узнать, умѣютъ ли коты говорить и плакать. Но кота не оказалось, и Вася сидѣлъ неподвижно на стулѣ, съ задумчивостью глядя на небольшой клочекъ молочно-сѣраго неба.

Уходя, Клеопатра Сергѣевна задала Васѣ „маленькую работу“, состоявшую въ томъ, что Вася долженъ былъ изъ кубиковъ сложить домъ, изъ квадратиковъ составить картину „Жатва“ и вышить иголкой на бумагѣ какой-то затѣйливый узоръ. Все это Вася исполнилъ скоро, а затѣмъ ему нечего было дѣлать. Онъ забрался въ гостиную, развернулъ альбомъ и медленно, вдумчиво началъ изучать бывшія тамъ карточки знакомыхъ. Все это были важнаго, внушительнаго вида персоны: дамы въ высокихъ прическахъ, съ кудерками на лбу, мужчины—во фракахъ и мундирахъ съ орденами.

Альбомъ скоро надоѣлъ Васѣ; онъ зыкрылъ его, зам-

кнулъ бронзовую застежку и снова подошелъ къ окну. И опять онъ увидѣлъ ту же стѣну съ темными квадратами оконъ, въ которыхъ не видно было живого лица, ту же крышу съ трубою, изъ которой чуть-чуть вился сизоватый дымокъ.

Вася прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потрогалъ точеные перехваты у портьеры и, вдругъ, повинуясь необъяснимому инстинкту дѣтской натуры, опустился на четвереньки и, въ такомъ видѣ, пробѣжалъ отъ двери къ окну.

— Мяу, мяу! — пропищалъ онъ и побѣжалъ обратно.

— Отлично! Вотъ такъ славно! — раздался голосъ Наташи, выглянувшей изъ-за портьеры,—такъ-то вы занимаетесь! Погодите, вотъ мамашѣ скажу!

Вася поднялся съ пола. Онъ былъ красенъ и смущенъ до слезъ. Сердито взглянулъ онъ на Наташу, оправилъ курточку и пошелъ въ классную.

— Славно, славно!—говорила Наташа, слѣдуя за нимъ,— словно собачка на четверенькахъ изволятъ прогуливаться! Ай да господскій ребенокъ!

Вася сидѣлъ въ уголку и беззвучно плакалъ.

Это былъ четвергъ — день, въ который, по обыкновенію, къ Полозовымъ собирались гости. Подъ предлогомъ того, что всю себя посвящаетъ воспитанію дѣтей, Клеопатра Сергѣевна не ходила въ гости и не устраивала бы журъ-фиксовъ дома у себя, если бы не необходимость поддерживать нужныя знакомства. Установлено было только правило, чтобы знакомые приходили пораньше и не засиживались дольше полуночи. Вася любилъ четвергъ. Ему нравилось сидѣть и слушать, о чемъ говорятъ большіе.

Къ восьми часамъ кое-кто уже началъ собираться. Первымъ пришелъ бывшій педагогъ, добродушнаго вида старичекъ, съ ласковыми глазами и сѣдыми бакенбардами, отпущенными по старой модѣ, въ видѣ котлетъ. Затѣмъ, съ женою, появился полковникъ, адъютантъ одного высокопоставленнаго лица, изящнаго обращенія, маленькій, юркій человѣкъ, съ преждевременной лысиной, тщательно зачесанной жидкими прядями волосъ. Онъ говорилъ немного въ носъ и слегка картавилъ. Жена его, молодая, очень тонная барыня, тоже слегка картавила и обращалась къ другимъ въ покровительственномъ

тонѣ. Потомъ явилась худощавая, экзальтированная барыня съ десятилѣтнимъ сыномъ Кокой, одѣтымъ въ бархатный пиджакъ и коротенькіе бархатные панталоны, позволявшіе видѣть худыя какъ спички ноги. Длинные и очевидно тщательно холеные волосы Коки локонами падали на бѣлоснѣжный воротничекъ а la Шекспиръ. Мальчикъ держалъ себя надменно, прищуривалъ глаза и говорилъ нараспѣвъ. Ни съ Сашей, ни съ Лелей онъ не разговаривалъ и держался больше около взрослыхъ.

Наташа подала чай. Общество перебрасывалось незначущими фразами, передавались слухи, сплетни, побранили погоду.

— Я не рѣшилась сегодня взять съ собою Васю! Ужасная погода! — воскликнула Клеопатра Сергѣевна.

— На воздухъ надо почаще, — замѣтилъ педагогъ, — онъ у васъ плохо растетъ!

— Мы гуляемъ, Провъ Сергѣевичъ; кромѣ того, онъ дѣлаетъ гимнастику!

— Кажется, это теперь въ модѣ? — сказалъ полковникъ.

— Я нахожу, что гимнастика очень полезная вещь! — замѣтила Раиса Петровна, мать Коки: — она формируетъ и, наконецъ...

— Гм! Можетъ быть, — отозвался Провъ Сергѣевичъ, недружелюбно покосившись на Раису Петровну.

— Вы, кажется, сомнѣваетесь? — подозрительнымъ тономъ спросила Клеопатра Сергѣевна.

— О, нѣтъ, нѣтъ! — словно оправдываясь, воскликнулъ Провъ Сергѣевичъ и отошелъ въ другой конецъ гостиной, гдѣ хозяинъ оживленно бесѣдовалъ съ двумя почтенными старцами, изъ которыхъ одинъ, длинный и тощій, былъ во фракѣ со звѣздой.

— Не думаю, князь, чтобы, Брянцевъ могъ оправдать надежды, — говорилъ Петръ Валерьяновичъ, обращаясь къ длинному старцу: — этотъ постъ требуетъ большого практическаго навыка!

— Какъ вамъ сказать? Будущее покажетъ! — отвѣчалъ князь, дипломатически закрывая глаза. — Я только что изъ засѣданія... Назначеніе Брянцева принято весьма сочувственно...

— Ну, конечно!—подхватилъ хозяинъ, — это такая свѣтлая голова!

Провъ Сергѣевичъ повернулся и отошелъ къ дамамъ.

— Вся пьеса, какъ вообще всѣ французскія пьесы, построена на адюльтерѣ, — картавилъ полковникъ,—съ перваго же акта мужъ застаетъ жену tête-a-tête съ викоптомъ. Слѣдуетъ, если можно выразиться, полюбовный раздѣлъ...

— Гитри, говорятъ, очень хорошъ!—перебила хозяйка.—Анна Гавриловна была—и въ восторгѣ...

— Безподобенъ!—подтвердилъ полковникъ,—второй актъ, въ спальнѣ жены... Эта сцена полна психологическихъ подробностей... Между прочимъ...

— Вася, покажи Кокѣ, что у тебя новаго за это время!—сказала Раиса Петровна.

Вася и Кока, внимательно слушавшіе разсказъ, взялись за руки и пошли въ классную, скудно освѣщенную висѣвшею посрединѣ лампой.

— Ну, покажите, что у васъ такое? — небрежнымъ тономъ вопросилъ Кока.

— Вотъ домино... Недавно купили!—показалъ Вася.

— Домино. А еще что?

— Шахматы. Только я еще не умѣю играть... А эта картина складывается... „Жатва“...

— „Жатва“? Ну, сложите!..

Вася началъ складывать, а Кока подошелъ къ двери.

Полковникъ довольно громко разсказывалъ содержаніе пьесы, не упуская пикантныхъ подробностей.

Кока слушалъ, затаивъ дыханіе; щеки его пылали, въ глазахъ было что-то нехорошее, нечистое ..

— Я сложилъ!—сказалъ Вася.

Но Кока не слышалъ. До такой степени онъ былъ увлеченъ пьесой, что не замѣтилъ даже, какъ изъ другой двери въ классную вошли Саша и Леля.

— Вы подслушиваете?—сказалъ Саша:—это нехорошо!

— А вамъ какое дѣло?—повернулся Кока. Онъ прищурилъ глаза и надменно приподнялъ подбородокъ.—Вы еще станете ябедничать? Ну, тогда и я разскажу про васъ.

— Что вы разскажете?

— Да ужь знаю что!

— То-то и есть, что нечего!

— А вотъ увидите!

Кока походилъ взадъ и впередъ по классной, презрительно поглядывая на всѣхъ, и ушелъ въ гостиную.

— Дрянной мальчишка!—проворчалъ ему вслѣдъ Саша,—дождется, что я его когда-нибудь вздую!

— Такъ важничаетъ, такъ важничаетъ, точно какой-нибудь графъ!—замѣтила Леля.

— Графъ!—фыркнулъ Саша,—просто сынъ какого-то архитектора!

— Архитекторы, Саша, мужики?—спросилъ Вася.

— Молчи, дуракъ! Не мѣшай заниматься!

Саша началъ раскидывать книги и тетради. Вася пошелъ въ гостиную, за нимъ Леля. Оба сѣли въ уголъ и начали слушать. Разговоръ шелъ о воспитаніи дѣтей. Объ чемъ бы ни говорили, въ концѣ-концовъ Клеопатра Сергѣевна все сводила на свою любимую тему. Она и Раиса Петровна волновались ужасно; даже жена полковника, у которой ребенокъ былъ всего пяти мѣсяцевъ, и та волновалась—заранѣе... Одинъ Провъ Сергѣевичъ держалъ себя спокойно и смотрѣлъ недовѣрчиво.

— Ахъ, кстати,—воскликнула хозяйка,—я нахожу, что книжка, которую вы мнѣ рекомендовали, неудобна. Есть вещи, которыхъ я даже не понимаю!

— Не знаю, не думаю! Я учила по ней Коку!—возразила Раиса Петровна.

— Развѣ Вася учится? — спросилъ Провъ Сергѣевичъ.

— Немножко. Все еще не знаю, какое для него руководство выбрать!—отвѣчала Клеопатра Сергѣевна.

— Помилуйте, какое руководство шестилѣтнему мальчику! Пусть играетъ, бѣгаетъ, воздухомъ дышетъ!

— Все играть надоѣстъ. Нужно же занять чѣмъ-нибудь его воображеніе. Ребенокъ задаетъ вопросы... хочетъ узнать...

— Что же, отвѣчайте на его вопросы... учите наглядно!.. Къ чему тутъ руководство?—возражалъ Провъ Сергѣевичъ, постепенно волнуясь и начиная какъ бы сердиться.—Захочетъ

мальчикъ читать, дайте ему книжку, такую, конечно, которая ему понятна и интересна. А къ чему, зачѣмъ эти руководства?

— Позвольте, я съ вами несогласна!—вспыхнула хозяйка,—ребенка нужно воспитывать, а не давать ему читать только то, что интересно. Въ этомъ отношеніи у меня система. Я хочу, чтобы онъ теперь же зналъ, къ чему долженъ быть приготовленъ, что изъ него должно выйти... Я вовсе не хочу развивать въ немъ ни фантазію, ни воображеніе, потому что не желаю сдѣлать изъ него ни художника, ни писателя, ни артиста. Теперь я постепенно пріучаю его къ порядку въ мелочахъ; привыкнувъ къ порядку, онъ внесетъ его въ свои учебныя занятія, а тамъ и въ самую жизнь. Мой девизъ: порядокъ, умѣренность и...

— Аккуратность!—подсказалъ Провъ Сергѣевичъ, чуть-чуть улыбнувшись угломъ рта,—все это, положимъ, прекрасно и достохвально-съ, но не рано ли для Васи, вотъ вопросъ!

— Ни чуть! — воскликнула Раиса Петровна,—я совершенно съ вами согласна!—кивнула она въ сторону хозяйки,—а съ вами нѣтъ! Вы придерживаетесь взглядовъ Руссо? (Провъ Сергѣевичъ пожалъ плечами.) Это устарѣло, отринуто всѣми! Дознано, что въ ребенкѣ рано складываются нравственныя понятія, и нужно, по возможности, шире развивать его нравственный кругозоръ. У дѣтей бываютъ дурныя наклонности, напримѣръ, красть, лгать. Ихъ необходимо искоренять въ зародышѣ. Напримѣръ, своему Кокѣ я постоянно внушала: не лги никогда, не лги, всегда говори правду. Потомъ я его заставляла читать книжки, въ которыхъ преслѣдуется ложь. И онъ не лжетъ, могу васъ завѣрить! Кока, поди сюда!

Кривляющейся походкой Кока подошелъ къ матери, онъ, какъ дрессированная собака, которая знаетъ, что отъ нея требуютъ, чтобы она встала на заднія лапки, нѣжно прильнулъ.

— Кока, скажи, что ты дѣлалъ въ классной?—цѣлуя его, спросила Раиса Петровна.

Кока придумывалъ что бы ему сказать, чтобы это не было ложью.

— Смотрѣлъ домино... потомъ картину „Жатва“,—отвѣчалъ онъ, глядя прямо въ глаза матери.

— Милый мой!

Раиса Петровна порывисто поцѣловала сына и, отведя его рукою отъ себя, торжествующе посмотрѣла на всѣхъ.

— Дай Богъ, чтобы изъ вашего сына не вышелъ... дурной человѣкъ! — сказалъ Провъ Сергѣевичъ, вставая и въ волненіи начиная ходить по комнатѣ.

— Позвольте! Какъ? Что это?

— Провъ Сергѣевичъ!—въ какомъ-то отчаяніи воскликнула хозяйка, но въ эту минуту Наташа изъ-за портьеры подала знакъ,—господа, прошу въ столовую! — закончила Клеопатра Сергѣевна, поднимаясь.

Дамы тоже встали и направились къ дверямъ. Провъ Сергѣевичъ сослался на нездоровье и на то, что онъ никогда не ужинаетъ, и началъ прощаться.

Подлѣ Васи очутился Кока.

— Вы ничего не говорите! Слышите? За это я вамъ принесу хорошенькія картинки! — шепталъ онъ, дергая того за рукавъ курточки,—и матери вашей не говорите! А то не принесу картинокъ. Слышите? Да, не скажете?

— Въ девять часовъ пришла Наташа и увела Васю въ дѣтскую. На столѣ горѣла свѣча. Вася самъ раздѣлся и легъ въ кроватку. Въ виду пріученія дѣтей „не бояться“ въ дѣтской приказано было не оставлять свѣта, почему, какъ только Вася легъ, Наташа унесла свѣчу и даже дверь притворила. Вася закрылъ глаза, стараясь заснуть, но сна не было. Изъ столовой до его слуха доносились рѣчи гостей, слышался стукъ ножей, звонъ посуды. Все тише и тише становились эти звуки, словно они куда-то удалялись; сладкая дрема овладѣла Васей. Вдругъ, совсѣмъ близко, онъ услышалъ громкій голосъ отца.

— Отчего ты мнѣ послѣ обѣда не далъ подписать дневника? Ты нарочно подалъ, когда я занятъ, когда у насъ гости? А, такъ и есть! Опять двойка изъ латинскаго?!

— Это изъ extemporalia!—отвѣчалъ плачущій голосъ Саши.

— Изъ чего бы ни было! Получаешь двойки и нускаешься еще на фокусы. Все равно, голубчикъ, завтра я съ тобой раздѣлаюсь!

— Папа... простите!—плакалъ Саша.

— Ты плачешь, потому что лѣнивый! Брось лѣниться, и не придется плакать!

— Мнѣ трудно!

— Такъ что же, ты идіотъ.

— Простите, папа, я буду учиться... Я не идіотъ.

— Ты долженъ учиться,—все громче и громче слышался голосъ отца, — если ты хочешь жить, какъ живешь теперь, ѣсть какъ слѣдуетъ, одѣваться прилично, то долженъ учиться. Большого отъ тебя не требуютъ! Если же ты не будешь учиться, я отдамъ тебя, сына статскаго совѣтника Полозова, въ какую-нибудь мастерскую, гдѣ ты будешь ходить босой, въ рваномъ халатишкѣ, ѣсть хлѣбъ съ лукомъ и спать на нарахъ. И я это сдѣлаю, запомни мои слова! Завтра мы еще поговоримъ!

Затѣмъ отецъ ушелъ, и Саша все всхлипывалъ до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, Вася не уснулъ и пересталъ слышать...

Вася вдругъ проснулся, какъ это часто съ нимъ случалось, среди ночи. Ему казалось, что его разбудили часы, которые медленно и гулко били двѣнадцать. Ни разговоровъ, ни звона посуды не было слышно. Во всей квартирѣ стояла тишина, но за стѣнкой, гдѣ была спальня матери, слышался рѣзкій взволнованный голосъ, въ которомъ Вася тотчасъ же узналъ голосъ отца.

— Брянцевъ, кажется, не на шутку намѣренъ играть роль!— говорилъ Петръ Валерьяновичъ.

— Ты думаешь?—зѣвая спрашивала Клеопатра Сергѣевна.

— Еще бы! Вѣдь онъ просто обворожилъ князя...

— Тебѣ-то онъ не опасенъ?

— Какъ знать! Удивительно везетъ тупицамъ! Князь, не желая того, раскрылъ мнѣ его игру...

Дальше Вася не слышалъ; онъ заснулъ съ самымъ твердымъ намѣреніемъ сдѣлаться министромъ, хотя бы въ пространствѣ, и отомстить Брянцеву за то, что тотъ такъ обво-

рожилъ длиннаго старика со звѣздою. Онъ уже началъ предпринимать для этого кое-что: составилъ изъ кубиковъ цѣлую Эйфелеву башню, научился играть въ шахматы и сдѣлалъ бы, можетъ быть, еще болѣе, если бы ему не помѣшалъ сѣрый котъ, который пришелъ съ крыши, мурлыкалъ и терся около него, (а потомъ вдругъ превратился въ Коку и началъ отнимать отъ него „Жатву“ и домино)..

К. Баранцевичъ.

Два мальчика.

На морѣ тихо, на солнышкѣ знойно,
Берегъ какъ будто бы дремлетъ спокойно;
Не шелохнутся на деревѣ вѣтки;
Лишь между камней, какъ малыя дѣтки,
Мелкія, рѣзвыя волны играютъ,
Словно другъ друга шутя догоняютъ.
Къ морю купаться бѣжитъ цыганенокъ—
Смуглый, красивый, здоровый ребенокъ;
Такъ и горятъ воровскія глазенки,
Смуглыя блещутъ на солнцѣ ручонки,—
Кинулся, поплылъ... Движенія смѣлы,
Точно изъ бронзы все отлито тѣло.
Славный мальчишка, хоть нищій, да вольный...
Съ берега смотритъ съ усмѣшкой довольной
Мать молодая въ лохмотьяхъ картинныхъ,
Глазомъ сверкая подъ массою длинныхъ,
Взбитыхъ волосъ, незнакомыхъ съ гребенкой...
Съ гордостью смотритъ она на ребенка,
Съ гордостью шепчетъ: „Хорошъ мой галченокъ,
Я родила тебя, мой цыганенокъ!..“

Въ мягкой колескѣ заморской работы
Возятъ вдоль берега жалкое что-то,
Блѣдное, вялое... Въ тонкихъ пеленкахъ,

Въ кружевѣ, въ лентахъ—подобье ребенка.
Личико блѣдное, все восковое,
Глазки усталые, тѣльце сквозное.
Видно, что смерть ужъ его приласкала,
Пѣсенку спѣла ему—закачала.
Онъ подъ вуалями спитъ, какъ въ туманѣ.
Рядомъ плыветъ въ нарчевомъ сарафанѣ
Мамка-красавица съ грудью продажной,
Бѣлой гусынею, плавно и важно.
Барыня знатная, мать молодая,
Ихъ провожаетъ, глубоко вздыхая;
Смотритъ въ колясочку взглядомъ печальнымъ,
Смотритъ на море... По волнамъ зеркальнымъ
Смѣлый мальчишка съ веселой улыбкой
Плаваетъ быстро, какъ рѣзвая рыбка.
Барыня знатная завистью тайной
Вся загорѣлась при встрѣчѣ случайной.
Думаетъ: „Боже мой, Боже Великій!
Вотъ вѣдь живетъ же звѣрекъ этотъ дикій...
Счастіе далъ ты цыганкѣ косматой—
Нищая, нищая! какъ ты богата“!

— Жаль мнѣ васъ, барыня:—знаю, вамъ больно,
Но, вѣдь у васъ утѣшеній довольно...
Все у васъ есть, все, что счастьемъ зовется,
Нищей цыганкѣ того не дается...
Даны зато ей здоровыя дѣти—
Изрѣдка... есть справедливость на свѣтѣ.

А. Барыкова.

Свиданіе Анны Карениной съ сыномъ.

(Изъ романа Л. Н. Толстого).

Одна изъ цѣлей поѣздки въ Россію для Анны было свиданіе съ сыномъ. Съ того дня, какъ она выѣхала изъ Италіи, мысль объ этомъ свиданіи не переставала волновать ее. И чѣмъ ближе она подъѣзжала къ Петербургу, тѣмъ радость и значительность этого свиданія представлялась ей больше и больше. Она и не задавала себѣ вопроса о томъ, какъ устроить это свиданіе. Ей казалось натурально и просто видѣть сына, когда она будетъ въ одномъ съ нимъ городѣ; но по пріѣздѣ въ Петербургъ, ей вдругъ представилось ясно ея теперешнее положеніе въ обществѣ, и она поняла, что устроить свиданіе было трудно.

Она ужъ два дня жила въ Петербургѣ. Мысль о сынѣ ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поѣхать прямо въ домъ, гдѣ можно было встрѣтиться съ Алексѣемъ Александровичемъ—она чувствовала, что не имѣла права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить въ сношенія съ мужемъ—ей было мучительно и подумать, она могла быть спокойна только, когда не думала о мужѣ. Увидать сына на гуляньѣ, узнавъ, куда и когда онъ выходитъ, ей было мало: она такъ готовилась къ этому свиданію, ей столько нужно было сказать ему, ей такъ хотѣлось обнимать, цѣловать его. Старая няня Сережи могла помочь ей, научить ее. Но няня уже не находилась въ домѣ Алексѣя Александровича. Въ этихъ колебаніяхъ и въ разыскиваніяхъ прошло два дня.

Узнавъ о близкихъ отношеніяхъ Алексѣя Александровича къ графинѣ Лидіи Ивановнѣ, Анна на третій день рѣшилась написать ей, стоившее ей большого труда, письмо, въ которомъ она умышленно говорила, что разрѣшеніе видѣть сына должно зависѣть отъ великодушія мужа. Она знала, что, если письмо покажутъ мужу, онъ, продолжая свою роль великодушія, не откажетъ ей.

Комиссіонеръ, носившій письмо, передалъ ей самый жестокій и неожиданный ею отвѣтъ, что отвѣта не будетъ. Она никогда не чувствовала себя столь униженною, какъ въ ту минуту, когда, призвавъ комиссіонера, услышала отъ него подробный разсказъ о томъ, какъ онъ дожидался и какъ потомъ ему сказали: „отвѣта никакого не будетъ“. Анна чувствовала себя униженною, оскорбленною, но она видѣла, что съ своей точки зрѣнія графиня Лидія Ивановна права. Горе ея было тѣмъ сильнѣе, что оно было одиноко. Она не могла и не хотѣла подѣлиться имъ съ Вронскимъ. Она знала, что для него, несмотря на то, что онъ былъ главною причиною ея несчастья, вопросъ о свиданіи ея съ сыномъ покажется самою неважною вещью. Она знала, что ни когда онъ не будетъ въ силахъ понять всей глубины ея страданья, она знала, что за его холодный тонъ, при упоминаніи объ этомъ, она возненавидитъ его. И она боялась этого больше всего на свѣтѣ и потому скрывала отъ него все, что касалось сына.

Просидѣвъ дома цѣлый день, она придумывала средства для свиданія съ сыномъ и остановилась на рѣшеніи написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидіи Ивановны. Молчаніе графини смирило и покорило ее, но письмо, все то, что она прочла между его строками, такъ раздражило ее, такъ ей возмутительна показалась эта злоба, въ сравненіи съ ея страстною законною нѣжностью къ сыну, что она возмутилась противъ другихъ и перестала обвинять себя.

„Эта холодность — притворство чувства!“ — говорила она себѣ. — „Имъ нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться имъ! Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу по крайней мѣрѣ!“

И тутъ же она рѣшила, что завтра же, въ самый день рожденья Сережи, она поѣдетъ прямо въ домъ мужа, подкупитъ людей, будетъ обманывать, но во что бы ни стало увидитъ сына и разрушитъ этотъ безобразный обманъ, которымъ они окружили несчастнаго ребенка.

Она поѣхала въ игрушечную лавку, накупила игрушекъ и обдумала планъ дѣйствій. Она пріѣдетъ рано утромъ, въ

восемь часовъ, когда Алексѣй Александровичъ еще вѣрно не вставалъ. Она будетъ имѣть въ рукахъ деньги, которыя дастъ швейцару и лакею съ тѣмъ, чтобъ они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажетъ, что она отъ крестнаго отца Сережи пріѣхала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати сына. Она не приготовила только тѣхъ словъ, которыя она скажетъ сыну. Сколько она ни думала объ этомъ, она ничего не могла придумать.

На другой день, въ восемь часовъ утра, Анна вышла одна изъ извозчичьей кареты и позвонила у большого подъѣзда своего бывшаго дома.

— Поди, посмотри, чего надо. Какая-то барыня,—сказалъ Капитонычъ, еще не одѣтый, въ пальто и калошахъ, выглянувъ въ окно на даму, покрытую вуалемъ, стоявшую у самой двери.

Помощникъ швейцара, незнакомый Аннѣ, молодой малый, только что отворилъ ей дверь, какъ она уже вошла въ нее и, вынувъ изъ муфты трехрублевую бумажку, поспѣшно сунула ему въ руку.

— Сережа... Сергѣй Алексѣевичъ, — проговорила она и пошла было впередъ.

Осмотрѣвъ бумажку, помощникъ швейцара остановилъ ее у другой стеклянной двери.

— Вамъ кого надо?—спросилъ онъ.

Она не слышала его словъ и ничего не отвѣчала.

Замѣтивъ замѣшательство неизвѣстной, самъ Капитонычъ вышелъ къ ней, пропустилъ въ двери и спросилъ, что ей угодно.

— Отъ князя Скородумова къ Сергѣю Алексѣевичу,—проговорила она.

— Они еще не встали,—внимательно приглядываясь, сказалъ швейцаръ.

Анна никакъ не ожидала, чтобы та, совершенно не измѣнившаяся, обстановка передней того дома, гдѣ она жила девять лѣтъ, такъ сильно подѣйствовала на нее. Одно за другимъ, воспоминанія, радостныя и мучительныя, поднялись въ ея душѣ, и она на мгновенье забыла, зачѣмъ она здѣсь.

— Подождать изволите?—сказалъ Капитонычъ, снимая съ нея шубку.

Снявъ шубку, Капитонычъ заглянулъ ей въ лицо, узналъ ее и молча низко поклонился ей.

— Пожалуйте, ваше превосходительство,—сказалъ онъ ей.

Она хотѣла что-то сказать, но голосъ отказался произнести какіе-нибудь звуки; съ виноватою мольбой взглянувъ на старика, она быстрыми, легкими шагами пошла на лѣстницу. Перегнувшись весь впередъ и цѣпляясь калошами о ступени, Капитонычъ бѣжалъ за ней, стараясь перегнать ее.

— Учитель тамъ, можетъ не одѣтъ. Я доложу.

Анна продолжала идти по знакомой лѣстницѣ, не понимая того, что говорилъ старикъ.

— Сюда, налѣво пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь въ прежней диванной,— отныхиваясь говорилъ швейцаръ. — Позвольте, повремените, ваше превосходительство, я загляну,—говорилъ онъ, и, обогнавъ ее, приотворилъ высокую дверь и скрылся за нею.

Анна остановилась, ожидая.

— Только проснулись,—сказалъ швейцаръ, опять выходя изъ двери.

И въ ту минуту, какъ швейцаръ говорилъ это, Анна услыхала звукъ дѣтскаго зѣванья. По одному голосу этого зѣванья, она узнала сына и какъ живого увидала его передъ собою.

— Пусти, пусти, поди!—заговорила она и пошла въ высокую дверь.

Направо отъ двери стояла кровать, и на кровати сидѣлъ, поднявшись, мальчикъ въ одной разстегнутой рубашечкѣ и, перегнувшись тѣльцемъ, потягиваясь доканчивалъ зѣвокъ. Въ ту минуту, какъ губы его сходились вмѣстѣ, они сложились въ блаженно-сонную улыбку, и съ этою улыбкой онъ опять медленно и сладко повалился назадъ.

— Сережа!—прошептала она, неслышно подходя къ нему.

Во время разлуки съ нимъ, и при томъ приливѣ любви, который она испытывала все это послѣднее время, она воображала его четырехлѣтнимъ мальчикомъ, какимъ она больше всего любила его. Теперь онъ былъ даже не такимъ, какъ

она оставила его, онъ еще дальше сталъ отъ четырехлѣтняго, еще выросъ и похудѣлъ. Что это, какъ худо его лицо, какъ коротки его волосы! Какъ длинны руки! Какъ измѣнился онъ съ тѣхъ поръ, какъ она оставила его! Но это былъ онъ, съ его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками.

— Сережа!—повторила она надъ самымъ ухомъ ребенка.

Онъ поднялся опять на локоть, поводилъ спутанною головой на обѣ стороны, какъ бы отыскивая что-то, и открылъ глаза. Тихо и вопросительно онъ поглядѣлъ нѣсколько секундъ на неподвижно-стоявшую передъ нимъ мать, потомъ вдругъ блаженно улыбнулся и, опять закрывъ слипающіеся глаза, повалился, но не назадъ, а къ ней, къ ея рукамъ.

— Сережа! мальчикъ мой милый!—проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тѣло.

— Мама!—проговорилъ онъ, двигаясь подъ ея руками, чтобы разными мѣстами тѣла касаться ея рукъ.

Сонно улыбаясь, все съ закрытыми глазами, онъ перехватился пухлыми ручонками отъ спинки кровати за ея плечи, привалился къ ней, обдавая ее тѣмъ милымъ соннымъ запахомъ и теплотой, которые бываютъ только у дѣтей, и сталъ тереться лицомъ объ ея шею и плечо.

— Я зналъ,—открывая глаза сказалъ онъ,—нынче мое рожденье. Я зналъ, что ты придешь, я встану сейчасъ.

И, говоря это, онъ засыпалъ.

Анна жадно оглядывала его; она видѣла, какъ онъ выросъ и перемѣнился въ ея отсутствіе. Она узнавала и не узнавала его голыя, такія большія теперь, ноги, выпроставшіяся изъ одѣяла, узнавала эти похудѣлыя щеки, эти обрѣзанные, короткіе завитки волосъ на затылкѣ, въ который она такъ часто цѣловала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить: слезы душили ее.

— О чемъ же ты плачешь, мама? —сказалъ онъ, совершенно проснувшись.—Мама, о чемъ ты плачешь?—прокричалъ онъ плаксивымъ голосомъ.

— Я не буду плакать... Я плачу отъ радости. Я такъ давно не видала тебя. Я не буду, не буду,—сказала она, глотая слезы и отворачиваясь.—Ну, тебѣ одѣваться теперь пора,—

оправившись прибавила она, помолчавъ, и, не выпуская его руки, сѣла у его кровати на стулъ, на которомъ было приготовлено платье.

— Какъ ты одѣваешься безъ меня? Какъ...—хотѣла она начать просто и весело, но не могла, и опять отвернулась.

— Я не моюсь холодной водой, папа не велѣлъ. А Василія Лукича ты не видала? Онъ придетъ. А ты сѣла на мое платье!

И Сережа расхохотался. Она посмотрѣла на него и улыбнулась.

— Мама, душечка, голубушка! —закричалъ онъ, бросаясь опять къ ней и обнимая ее. Какъ будто онъ теперь только, увидавъ ея улыбку, ясно понялъ, что случилось. — Это не надо,—говорилъ онъ, снимая съ нея шляпу. И, какъ будто вновь увидавъ ее безъ шляпы, онъ опять бросился цѣловать ее.

— Но что же ты думалъ обо мнѣ? Ты не думалъ, что я умерла?

— Никогда не вѣрилъ!

— Не вѣрилъ, другъ мой?

— Я зналъ, я зналъ! — повторялъ онъ свою любимую фразу и, схвативъ ея руку, которая ласкала его волосы, сталъ прижимать ее ладонью къ своему рту и цѣловать ее.

Василій Лукичъ между тѣмъ, не понимавшій сначала, кто была эта дама, и узнавъ отъ разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа, и которую онъ не зналъ, такъ какъ поступилъ въ домъ уже послѣ нея, былъ въ сомнѣніи, войти ли ему или нѣтъ, или сообщить Алексѣю Александровичу. Сообразивъ, наконецъ, то, что его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы поднимать Сережу въ опредѣленный часъ, и что поэтому ему нечего разбирать, кто тамъ сидитъ, мать или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, онъ одѣлся, подошелъ къ двери и отворилъ ее.

Но ласки матери и сына, звуки ихъ голосовъ, и то, что они говорили, все это заставило его измѣнить намѣреніе. Онъ покачалъ головой и, вздохнувъ, затворилъ дверь. „Подожду еще десять минутъ“, сказалъ онъ себѣ, откашливаясь и утирая слезы.

Между прислугой дома въ это же время происходило силь-

ное волненіе. Всѣ узнали, что пріѣхала барыня, и что Капитонычъ нустилъ ее, и что она теперь въ дѣтской, а между тѣмъ баринъ всегда въ девятомъ часу самъ заходитъ въ дѣтскую, и всѣ понимали, что встрѣча супруговъ невозможна, и что надо помѣшать ей. Корней, камердинеръ, сойдя въ швейцарскую, спрашивалъ, кто и какъ пропустилъ ее и, узнавъ, что Капитонычъ принялъ и проводилъ ее, выговаривалъ старику. Швейцаръ упорно молчалъ, но когда Корней сказалъ ему, что за это его согнать слѣдуетъ, Капитонычъ подскочилъ къ нему и, замахавъ руками предъ лицомъ Корнея, заговорилъ:

— Да, вотъ ты бы не впустилъ! Десять лѣтъ служилъ, да кромѣ милости ничего не видалъ, да ты бы пошелъ теперь, да и сказалъ: пожалуйте, молъ, вонъ! Ты политику-то тонко понимаешь! Такъ-то! Ты бы про себя помнилъ, какъ барина обирать да енотовыя шубы таскать!

— Солдатъ!—презрительно сказалъ Корней и повернулся ко входившей нянѣ.—Вотъ судите, Марья Ефимовна, впустилъ, никому не сказалъ, — обратился къ ней Корней. — Алексѣй Александровичъ сейчасъ выйдутъ, пойдутъ въ дѣтскую.

— Дѣла, дѣла!—говорила няня.—Вы бы, Корней Васильевичъ, какъ-нибудь задержали его, барина-то, а я побѣгу, какъ-нибудь ее уведу. Дѣла, дѣла!

Когда няня вошла въ дѣтскую, Сережа разсказывалъ матери о томъ, какъ они упали вмѣстѣ съ Наденькой, покатившись съ горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видѣла его лицо и игру выраженія, ощущала его руку, но не понимала того, что онъ говорилъ. Надо было уходить, надо было оставить его, — только одно это и думала и чувствовала она. Она слышала и шаги Василія Лукича, подходившаго къ двери и кашлявшаго, слышала и шаги подходившей няни, но сидѣла, какъ окаменѣлая, не въ силахъ ни начать говорить, ни встать.

— Барыня, голубушка!—заговорила няня, подходя къ Аннѣ и цѣлуя ея руки и плечи.—Вотъ Богъ привелъ радость нашему новорожденному. Ничего-то вы не перемѣнились.

— Ахъ, няня, милая, я не знала, что вы въ домѣ,—на минуту очнувшись, сказала Анна.

— Я не живу, я съ дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!

Няня вдругъ заплакала и опять стала цѣловать ея руку.

Сережа, сіяя глазами и улыбкой и держась одною рукою за мать, другою за няню, топталъ по ковру жирными голыми ножками. Нѣжность любимой няни къ матери приводила его въ восхищенье.

— Мама! Она часто ходитъ ко мнѣ, и когда придетъ...— началъ было онъ, но остановился, замѣтивъ, что няня шопотомъ что-то сказала матери, и что на лицѣ матери выразились испугъ и что-то похожее на стыдъ, что такъ не шло къ матери.

Она подошла къ нему.

- Милый мой!—сказала она.

Она не могла сказать прощай, но выраженіе ея лица сказало это, и онъ понялъ.

— Милый, милый Кутикъ! —проговорила она имя, которымъ звала его маленькимъ,—ты не забудешь меня? Ты...— но больше она не могла говорить.

Сколько потомъ она придумывала словъ, которыя она могла сказать ему. А теперь она ничего не умѣла и не могла сказать. Но Сережа понялъ все, что она хотѣла сказать ему. Онъ понялъ, что она была несчастлива и любила его. Онъ понялъ даже то, что шопотомъ говорила няня. Онъ слышалъ слова:—„всегда въ девятомъ часу“, и онъ понялъ, что это говорилось про отца, что матери съ отцомъ нельзя встрѣчаться. Это онъ понималъ, но одного онъ не могъ понять: почему на ея лицѣ показались испугъ и стыдъ... Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Онъ хотѣлъ сдѣлать вопросъ, который разъяснилъ бы ему это сомнѣніе, но не смѣлъ этого сдѣлать: онъ видѣлъ, что она страдаетъ, и ему было жаль ея. Онъ молча прижался къ ней и шопотомъ сказалъ:

— Еще не уходи. Онъ не скоро придетъ.

Мать отстранила его отъ себя, чтобы понять, то ли онъ думаетъ, что говоритъ, и въ испуганномъ выраженіи его лица она прочла, что онъ не только говорилъ объ отцѣ, но какъ бы спрашивалъ ее, какъ ему надо объ отцѣ думать.

— Сережа, другъ мой,—сказала она, — люби его: онъ лучше и добрѣе меня, и я предъ нимъ виновата. Когда ты выростешь, ты разсудишь.

— Лучше тебя нѣтъ!..—съ отчаяніемъ закричалъ онъ сквозь слезы и, схвативъ ее за плечи, изо всѣхъ силъ сталъ прижимать ее къ себѣ дрожащими отъ напряженія руками.

— Душечка, маленькій мой! — проговорила Анна, и заплакала такъ же слабо, по-дѣтски, какъ плакалъ онъ.

Въ это время дверь отворилась, вошелъ Василій Лукичъ. У другой двери послышались шаги, и няня испуганнымъ шопотомъ сказала: „идетъ“, и подала шляпу Аннѣ.

Сережа опустился на постель и зарыдалъ, закрывъ лицо руками. Анна отняла эти руки, еще разъ поцѣловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла въ дверь. Алексѣй Александровичъ шелъ ей навстрѣчу. Увидавъ ее, онъ остановился и наклонилъ голову.

Несмотря на то, что она только-что говорила, что онъ лучше и добрѣе ея, при быстромъ взглядѣ, который она бросила на него, схвативъ всю его фигуру со всѣми подробностями, чувство отвращенія и злобы къ нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрымъ движеніемъ опустила вуаль и, прибавивъ шагу, почти выбѣжала изъ комнаты.

Она не успѣла и вынуть, и такъ и привезла домой, тѣ игрушки, которыя она съ такою любовью и грустью выбирала вчера въ лавкѣ.

Маты.

(Посвята А. А. Р.)

Сіется дощыкъ невлынный, осинній
Витеръ рыдае въ гилли,
Сумно на неби, повытому въ хмары,
Сумно на мокрій та голій земли.
Вечиръ вкрывае слобидку убогу,

Въ темряви никне рика,
Чуть лышъ, якъ плеще, якъ стогне надъ нею
Очеретына суха та гнучка.
Тыша, безлюддя.... А шожъ то блукае
Мижъ верболозивъ старыхъ?
Що загубыло? Кого выклыкае
Зъ темнойи плавни, та хвыль говиркихъ?
То—безталанна, що долю згубыла...

Свидкомъ ця сама рика.
Якъ тутъ весною уперше зустрила
Бравого хлопця дивчина струнька;
Свидкамы вербы—свашкы шепотлыви,
Якъ йихъ кохання росло,
Свидкомъ и витеръ—дружко жартовлывый,
Якъ йихъ весилля оттутъ одійшло:
Йимъ не спивалы дружкы зъ свитылкамы,
Рукы йимъ нипъ не вьязавъ.
Благословляло йихъ небо зиркамы,
Та соловейко въ гилли щебетавъ;
Ничь, окропывшы росою, покрыла
Любыхъ свойихъ молодыхъ,
Кылымъ шовковый трава простелыла,
Мисяць, мылуючись, сонъ йихъ стеригъ...

Мылый израдывъ, покынувъ кохану,—
Сохне и вьяне вона....
Лито мынуло, и въ осинь погану
Перевернулась весела весна.
Вербы обсыпалысь, зляканный мисяць
Выдъ свій за хмару сховавъ,
Згасли зиркы, зъ сорома́ соловейко
Десь на чужыни безъ висты пропавъ...
Люды недобри... не въ йихъ сыротыни
Рады въ нещасти прохать:
Ще насміються! - И лыне дивчина.
Въ плавню до рички: порады пытать.
Ричка порадныця хвылею грае,

Слухайе дивка йи
Влеслыви речи—и отъ зрозумила—
И простягла йій обіймы свойи:
„Ричко сестрице, прыймы мое горе,
„Бо не пидъ сылу тяжке!..
„На мое тило, несы його въ море,
„Душу жъ... О, Господи, що жъ це таке?!
Темную хмару порвавъ буйный витеръ,
Мисяць ясный заблыщавъ,
Въ темному серденьку тежъ якыйсь промінь
Зразу спалахнувъ, засявъ;
Витеръ затыхъ, тильки зъ лепетомъ въ ричци
Хвыля за хвылею йде,—
Горе затыхло и въ змученнимъ сердци
Щось незвычайне проснулось... росте...
Шырше..: яснише... всю душу сповняе...
„Де я? Що хочу робыть?
„Боже жъ мій, Боже! не бачывшу свиту
„Душу невынну я хочу згубыть:
„Батькивській грихъ, я, грихнійшая маты,
„Хочу въ дытыни скарать!
„Геть же одъ ричкы! Для тебе, дытынко,
„Жыты повынна я, жыть, не вмирать!
„Хай же знущаються люде лукави,
„Хай я и мукъ натерплюсь:
„Передъ тобою, дытыно, я права
„И передъ Богомъ гриха не боюсь!“

Пиздно одъ ричкы—не дивчина хибка,
Твердая маты ишла,
Въ серци горячимъ велыкую сылу
Мыру назустричъ, якъ прапоръ, несла.
Йшла вона—мисяць облывъ йи свитомъ,
Витеръ пошгыво затыхъ,
Мовъ засоромлена, тыхо плескала
Хыжа рика въ верболозахъ нимыхъ.

Днипрова Чайка.

Христіанка.

(Быль).

I.

По Николаевской желѣзной дорогѣ, верстахъ въ восьмидесяти отъ Петербурга, есть станція Любань. Около станціи виднѣются дома желѣзнодорожныхъ служащихъ, а поодаль раскинулась деревня, которая мало кормится отъ земли, а живетъ больше заработками отъ станціи. За деревнею, среди полей и рощъ, краснѣютъ и зеленѣютъ крыши дачъ и усадьбъ. Вокругъ станціи хорошія мѣста: есть рѣка, тѣнистые лѣса и перелѣски, и потому въ Любань каждое лѣто съѣзжается много народа изъ Петербурга на дачу — подышать деревенскимъ воздухомъ. Нѣкоторые совсѣмъ поселились въ Любани, завели тамъ себѣ усадьбы и живутъ круглый годъ.

Въ этомъ-то мѣстѣ лѣтомъ 1890 года случилось трогательное событіе.

Девятнадцатаго іюня, около двухъ часовъ дня, во дворъ одной изъ дачъ, стоявшихъ близко къ рѣчному берегу, вбѣжали двѣ дѣвочки, дрожавшія всѣмъ тѣломъ; съ распущенныхъ и спутавшихся волосъ ихъ текла вода. Когда къ неизвѣстнымъ дѣвочкамъ со всѣхъ угловъ дачи сбѣжались люди, испуганные ихъ видомъ и мертвенной блѣдностью ихъ лицъ, то дѣвочки, трясясь и стуча зубами, едва смогли пролепетать, что онѣ купались на рѣкѣ, что ихъ сестра и горничная потонули и что онѣ прибѣжали сюда, чтобъ скорѣе просить всѣхъ спасать утонувшихъ, потому что до ихъ дачи еще далеко.

Услыхавъ это, всѣ люди съ этой дачи бросились къ рѣкѣ, взявъ съ собою одну изъ дѣвочекъ, чтобы она показала имъ мѣсто, гдѣ затонула ея сестра; а другая дѣвочка побѣжала безъ памяти дальше, къ своей дачѣ, чтобы позвать родителей.

Къ людямъ, бѣжавшимъ къ рѣкѣ, присоединился по пути еще народъ, и у рѣки собралась цѣлая толпа. Сейчасъ же

нашлись хорошіе пловцы, которые ныряли въ омутъ и вытащили оттуда затонувшую дѣвочку. Она уже не дышала.

Когда дѣвочку вынесли изъ воды, то нѣсколько человѣкъ схватили ее и начали немедленно качать, но другіе, болѣе благоразумные люди, остановили это, потому что такимъ качаньемъ не вызовешь жизни. Положивъ утопленницу на землю, они послали въ деревню за фельдшеромъ. Прибѣжавшій фельдшеръ сталъ растирать похолодѣвшее дѣвочкино тѣло, стараясь произвести искусственное дыханіе, но жизнь не возвращалась въ окоченѣвшее тѣло.

Въ это время пришла мать дѣвочекъ, не помня себя отъ ужаса и горя. Узнавъ, что ничто не помогаетъ, она все жъ таки просила сдѣлать еще что-нибудь для оживленія дочери. Ей отвѣчали, что ничего больше нельзя сдѣлать; тогда она припала къ навсегда замершему тѣлу и горячими слезами обливала посинѣвшее личико.

Потомъ мертвую дѣвочку положили на телѣгу, и мать повезла ее домой.

Горничную же все не могли сыскать. Она нашлась только долго спустя, когда на рѣку выѣхали въ лодкѣ и стали баграми нащупывать дно въ разныхъ мѣстахъ омута. Вытащивъ давно уже безжизненную дѣвушку изъ воды, ее положили также на телѣгу, прикрыли рогожей и увезли домой.

II.

Когда сестры потонувшей пришли въ себя и немного успокоились, онѣ разсказали, какъ случилось это несчастіе.

День этотъ былъ особенно знойный и душный. Идя къ рѣкѣ, всѣ онѣ истомились отъ жары, и когда пришли на берегъ, то горничная въ одно мгновеніе раздѣлась и, не дожидаясь, пока раздѣнутся дѣти, бросилась, не разбирая, въ самый омутъ.

Случились ли тутъ съ горничной судороги или другое что, только она стала тонуть. Увидѣвъ это, старшая сестра Вѣра, не раздумывая ни минуты, бросилась, какъ была, не скинувъ даже платья, въ рѣку къ утопающей. Но Вѣра почти не

умѣла плавать, не осилила стремительности омута и сама начала тонуть.

Тогда вторая сестра пошла также въ воду, дошла до обрыва и подала руку сестрѣ, боровшейся въ омутѣ. Утопающая схватила сестру за руку, но тотчасъ же отбросила ея руку отъ себя.

Въ это время вода дошла второй сестрѣ до рта: ей сдѣлалось страшно, и она выбѣжала изъ воды.

Пока вторая сестра была въ водѣ, даже младшенькая девятилѣтняя дѣвочка пошла въ воду за нею, но, видя что сестра возвращается, вернулась и сама на берегъ. И тогда-то обѣ сестры бросились бѣжать къ жилью и звать на помощь.

Изъ разсказа обѣихъ дѣвочекъ видно было, что сестра ихъ утонула, спасая погибавшаго человѣка, и что она ни минуты не раздумывала, а прямо кинулась въ воду, такъ что видимо она ничего не думала о своей жизни, а вся была въ это мгновеніе проникнута одною только жалостью къ чужому несчастію.

Объ этомъ происшествіи долго въ Любани всѣ только и говорили. Кто-то даже написалъ и напечаталъ въ газетахъ про отважную дѣвочку, бросившуюся, не задумываясь, на спасеніе погибающей горничной и затонувшей вмѣстѣ съ нею. Такъ что многіе въ разныхъ концахъ Россіи узнали объ этомъ случаѣ. И почти всѣ, кто прочелъ объ этомъ, были тронуты до глубины души этимъ поступкомъ.

Но, какъ всегда это бываетъ, нашлись и такіе люди, которые говорили, что дѣвочка бросилась просто случайно, по неосторожности и даже безразсудству, и что сдѣлала она такъ именно потому, что ничего не подумала, а что если бы она остановилась и хорошенько разсчитала, то она, навѣрно, не бросилась бы, не умѣя толкомъ плавать, въ рѣку, а сдѣлала бы что-нибудь совсѣмъ другое, — напримѣръ, стала бы кричать о помощи или побѣжала бы въ ближайшую усадьбу, какъ это сдѣлали потомъ ея сестры.

И вотъ, какъ будто въ отвѣтъ на такія слова холодныхъ разсудителей, которые стараются всегда увѣрить всѣхъ, что они-то самые разумные люди, какъ будто въ отвѣтъ на ихъ сухія разсужденія, одинъ человѣкъ, долго и близко знавшій

семью покойной дѣвочки, напечаталъ въ одной газетѣ свое письмо, въ которомъ онъ разсказывалъ о томъ, какова была покойница душою, и о томъ, какъ она прожила свою маленькую жизнь.

Изъ разсказа этого человѣка стало ясно, что великодушный поступокъ дѣвочки не былъ какой-то неосторожностью или безразсудствомъ, а что поступокъ этотъ былъ подвигомъ самаго полнаго и сознательнаго самопожертвованія.

Изъ разсказа этого стало также ясно, какъ могло явиться такое сознательное самопожертвованіе у четырнадцатилѣтней дѣвочки.

III.

Вотъ что можно было узнать изъ разсказа человѣка, видѣвшаго всю жизнь этой дѣвочки отъ колыбели до послѣдняго ея дня.

Дѣвочка эта была очень вѣрующая и очень любящая. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ она жадно тянулась ко всему хорошему и свѣтлому, какъ молодая травка изо всѣхъ силъ тянется къ солнечному свѣту, вбираетъ его въ себя и отъ этого становится все зеленѣе и выше. Это былъ всегда ласковый и радостный ребенокъ, и каждому бывало съ нимъ весело и хорошо, — столько искренней любви свѣтилось изъ большихъ синихъ глазъ дѣвочки, столько любви было въ ея обращеніи со всѣми!

Такой она и росла. Годы шли. Многіе люди бываютъ маленькими дѣтьми добрыми и кроткими, но, подрастая, начинаютъ черствѣть и грубѣть,—въ Вѣрѣ же любовь дѣлалась съ годами только глубже и сильнѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ она становилась очень умна: она много читала и передумывала.

Она слышала, какъ при ней читали иногда что-нибудь изъ Евангелія, и ей казалось тогда, точно изъ этой книги говоритъ съ ней кто-то такой самый родной, дружный съ нею, и говоритъ все такое прекрасное, отчего у нея слезы навертывались на глаза, и маленькое сердце согрѣвалось невыразимымъ тепломъ.

И Вѣрѣ казалось, что это самая нужная для нея книга,

что она должна читать ее сама и перечитывать, и она просила мать, чтобы та подарила ей Евангеліе. Вѣрѣ было тогда только одиннадцать лѣтъ, и мать долго не соглашалась исполнить ея просьбу, говоря, что ей рано еще читать такую книгу, что она не поймет ее своимъ ребяческимъ умомъ. Но дѣвочка просила неотступно, и мать, наконецъ, подарила ей Евангеліе. Жадно, съ блаженной радостью прочитавъ и перечитывая Евангеліе, дѣвочка не разставалась съ этой книгой. Она знала всѣ четыре Евангелія наизусть, но не это было удивительно: наизусть выучить Евангеліе можетъ всякій; удивительно было то, какъ хорошо она понимала то, чему учило Евангеліе.

Прежде всего она поняла изъ Евангелія, что нельзя жить для себя только, а надо жить для всѣхъ, всѣхъ надо любить, со всѣми всегда надо быть кроткой и ласковой, всѣмъ быть слугою; а больше всего надобно жалѣть и помогать тѣмъ, кого некому пожалѣть—всѣмъ людямъ нуждающимся, голоднымъ и холоднымъ.

Также рано поняла она, что надобно всегда быть правдивой, что надобно всегда вездѣ искать одну только правду и говорить всегда правду и не бояться ничего, если тебя обидятъ, заругаютъ или чѣмъ-нибудь накажутъ за эту правду. И что всегда-всегда надо быть чистой сердцемъ, какъ дѣточки маленькія, въ которыхъ ни крошки нѣтъ ничего злого; и какъ отъ дѣточекъ всѣмъ вокругъ веселѣе становится, такъ и самой надо стараться быть такой, чтобы всѣхъ вокругъ себя радовать и утѣшать: какъ солнце въ небѣ всѣхъ радуетъ, и добрыхъ и злыхъ, никого не разбираетъ, всѣмъ свѣтитъ и грѣетъ.

Все это она поняла изъ Евангелія прежде всего, а потомъ съ годами открылось ей еще многое другое. И этотъ ребенокъ хорошо понялъ, для чего нужно жить, во что надо вѣрить и что надо любить всею душою: жить нужно для правды; вѣрить нужно въ Бога, а Богъ есть любовь, какъ говорится въ Евангеліи,—любить же всею душою надо всѣхъ людей, какъ милыхъ и дорогихъ братьевъ.

И вся душа Вѣры довѣрчиво протянулась навстрѣчу этому ученью любви, этой правдѣ Христовой! Она твердо вѣрила,

что всѣмъ надо и всѣмъ можно жить такъ, какъ училъ людей жить Іисусъ Христосъ; и когда ей случалось говорить это взрослымъ, и нѣкоторые говорили ей со снисходительной улыбкой, что жить такъ почти невозможно, то она всегда отвѣчала на это: „Значитъ, вы не вѣрите въ то, чему училъ Христосъ. Нѣтъ, если вѣрить, такъ ужъ вѣрить!“

И говорила она это съ такимъ горячимъ убѣжденіемъ, что взрослые люди невольно замолкали, а она всегда какъ-то особенно выразительно повторяла еще: „Вѣрить, такъ вѣрить“.

Она много читала въ свободное время. Больше всего она любила читать о жизни и ученіи Христа; послѣдней книгой, которую она читала за минуту передъ тѣмъ, какъ идти купаться, была жизнь Іисуса Христа, написанная однимъ англійскимъ писателемъ. Кромѣ того, она особенно любила читать исторію и путешествія.

И все, что она читала о жизни людей, она оцѣнивала по-своему: тамъ, гдѣ народы жили въ согласіи между собою, тамъ, гдѣ они вели жизнь мирную, тихую и дружескую, тамъ,—говорила она,—люди жили такъ, какъ должны всегда жить они. Когда же она читала о войнахъ, кровопролитіяхъ, насиліяхъ одного народа надъ другимъ и вообще о какихъ бы то ни было жестокостяхъ и притѣсненіяхъ однихъ людей другими,—она всегда съ горячимъ негодованіемъ порицала такіе поступки людей.

Она горячо порицала всегда, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняясь, всякую несправедливость, которую видѣла или о которой ей приходилось прочесть или услыхать. Лицо ея всегда все разгоралось въ такія минуты, точно отъ какого-то глубокаго стыда за людей, и въ дрожавшемъ голосѣ звенѣли слезы.

Насколько она любила всѣхъ, настолько же она ненавидѣла всѣмъ сердцемъ злобу и ложь, у кого бы ее ни встрѣчала. Она прощала все это людямъ, но считала, что большой грѣхъ скрывать отъ людей правду, когда они дѣлаютъ злое.

Она никогда не лгала. Какъ она вѣрила и говорила, такъ она и жила, стараясь дѣлать все то доброе, что могла и умѣла.

Средства ея родителей были очень скромныя. Дарили они иногда дочерямъ 20-15 копеекъ на гостинцы, и у Вѣры иногда собирался изъ этого какой-нибудь рубль, но никогда она ни разу не купила для себя ничего. Что же она дѣлала со своими маленькими деньгами? Семейство ея посѣщали иногда знакомые, бѣдные и крайне нуждавшіеся люди, и дѣвочка клала потихоньку деньги въ карманъ ихъ платья, висѣвшаго въ прихожей, а когда случалось ей бывать у этихъ людей, то она клала деньги тихонько имъ подъ подушку. Когда же это обнаруживалось и ее спрашивали—не она ли это сдѣлала, то она, вспыхнувъ какъ огонь, уходила, ничего не отвѣтивъ. Родные, видя, что для нея такъ тяжело, когда раскрываютъ тайны ея души, перестали задавать подобные вопросы, дѣлая видъ, что не замѣчаютъ того, что она дѣлаетъ.

Жертвуя тѣмъ малымъ, какое имѣла, Вѣра пожертвовала и всею жизнью, когда это понадобилось.

И въ самыя предсмертныя свои минуты она сдѣлала то, что можетъ сдѣлать только тотъ человѣкъ, въ которомъ ничего кромѣ любви не осталось. Вспомните, что когда вторая изъ сестеръ дошла въ водѣ до омута и подала руку сестрѣ, боровшейся съ силою воды, то утопающая схватила эту руку и затѣмъ сію же секунду бросила.

Это она сдѣлала сознательно, потому что покойная дѣвочка много разъ говаривала, что когда человѣкъ тонетъ, то надо схватить утопающаго, не допуская, чтобы утопающій схватилъ спасающаго, иначе спасающій можетъ погибнуть. Она вычитала это въ какой-то книгѣ. Поэтому надо думать, что она вспомнила эти свои слова въ ту минуту, когда схватила руку сестры, и она бросила тогда эту руку, чтобы какъ-нибудь не погубить сестры, а сама затѣмъ навсегда погрузилась въ рѣчную глубь.

Вотъ почему, когда вечеромъ того дня, въ который случилось это несчастіе на рѣкѣ, въ одной изъ комнатъ дачи, гдѣ жила семья покойной дѣвочки, раздались унылые напѣвы панихиды,—что-то особенное, глубоко-трогательное было на сердцѣ у всей собравшейся кучки родныхъ и знакомыхъ. И застланные слезами глаза жарко молившейся матери и се-

стеръ съ безконечной любовью и скорбью глядѣли туда, гдѣ въ тускло мерцавшемъ глазетовомъ гробу лежало чистое, невинное тѣло четырнадцатилѣтней дѣвочки, почти ребенка, безъ колебанія отдавшаго свою жизнь въ жертву святой жалости.

И на бѣлѣвшемъ сквозь туманъ кадильнаго дыма спокойномъ, прекрасномъ лицѣ дѣвочки лежала застывшая, кроткая и привѣтливая улыбка, точно она говорила всѣмъ собравшимся: „Я сдѣлала свое дѣло, дѣлайте же и вы свое“.

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Сынъ гаера.

При звукахъ литавръ, барабановъ и струнъ,
Толпу потѣшая, канатный плясунъ
Усердно кривляется—мальчика сына
Сгибаетъ въ дугу, ставитъ внизъ головой,
Бросаетъ и ловитъ могучей рукой,—
А тотъ на плечахъ у отца исполина,
Свершивъ черезъ сцену опасный полетъ,
Ручонки поднявъ, какъ живое распятье,
Является вдругъ надъ толпою, и вотъ
Толпа рукоплещетъ, шумитъ и реветъ!
Ей тайно въ отвѣтъ посылая проклятья,
Ребенокъ измученный прыгаетъ внизъ.
Но слышится грозное, жадное bis!
Плясунъ улыбается, сыну киваетъ
И страшную вновь съ нимъ игру затѣваетъ—
Его опьянили успѣхъ тотъ и крикъ.
Въ груди его радость и взоръ его дикъ;
Онъ мышцы напрягъ съ небывалою силой:
„Ты птицею взвейся, красавецъ мой милый!
Не бойся—отецъ твой тебя сохранитъ,—
Какъ ястребъ, полетъ твой онъ зорко слѣдитъ“.

Во взорѣ его и любовь и отвага.
Правѣе... лѣвѣе.. впередъ на полшага!
Рука протянулась—тверда и сильна,
Безцѣнное бремя удержитъ она!
Но что жъ вдругъ случилось? Промчалось мгновенье...
Должно быть, плясунъ, не разсчелъ ты движенье,
Рука твоя въ воздухѣ праздно дрожитъ,
А мальчикъ у ногъ раздробленный лежитъ...
И поднялъ отецъ бездыханное тѣло,
Взглянулъ... увидалъ и поникъ головой...
Толпа жъ разглядѣть и понять не успѣла,
И шумное браво, какъ громъ, прогудѣло,
Привѣтствуя смерти красу и покой.

Графъ А. Голенищевъ-Кутузовъ.

На перепутьи.

(Изъ старой тетради).

Снова мы вмѣстѣ, родная моя...
Завтра, чуть свѣтъ, передъ новой разлукою
Снова заплачетъ съ глубокою мукою
Бѣдная мама, голубка моя.

Крѣпко меня ты прижала къ груди,
Смотришь очами, любовью горящими,
Въ душу мою и устами дрожащими
Шепчешь: „Останься со мной, не уйди!..“

Сынъ твой усталъ одиноко страдать...
Тяжесть веригъ этой жизни мучительной
Ты облегчишь мнѣ любовью цѣлительной,
Ты,-только ты, моя кроткая мать!

Душныя тучи висятъ надо мной...
Дай мнѣ, родная, слова утѣшенія;

Дай разогнать мнѣ туманы сомнѣнія,
Злобы холодной и скорби больной.

Ты успокой меня лаской своей,
Ты обогрѣй меня взоромъ участія;
Свѣтлую струйку минутнаго счастія
Въ сердце, въ тревожное сердце пролей.

Полный любви, полный радостныхъ слезъ,
Тихо приникъ я на грудь исхудалую,
Тихо цѣлую щеку твою впалую,
Глажу волну серебристыхъ волосъ.

Въ эти мгновенія въ душу одну
Наши печальныя души сливаются,
Раны одна за другой закрываются,
Умъ отдается желанному сну.

Сумрачный вечеръ давно ужъ погасъ,—
Ночь разсыпаетъ вокругъ сновидѣнія...
Добрая няня—блаженство забвенія
Въ нѣжныхъ объятьяхъ баюкаетъ насъ...

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Казачка провожаетъ сыновей въ Сѣчь Запорожскую.

(Изъ «Тараса Бульбы» Н. Гоголя.)

— Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель, намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворѣ,—говорилъ Тарасъ Бульба женѣ, наканунѣ отъѣзда съ сыновьями, Остапомъ и Андреемъ, въ Запорожскую Сѣчь.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ

тулупомъ, потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, а за нимъ послѣдовалъ весь дворъ, все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклокоченныя кудри и смачивала ихъ слезами; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью, она возростила, взлелѣяла ихъ—и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою!

— Сыны мои, сыны мои милые! Что будетъ съ вами? Что ждетъ васъ?—говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея.

Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалаго вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два-три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не было слуху. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда она жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости, она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея; берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ быть, при первой битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, ко-

торыя расклюетъ хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ, и думала: „Авось-либо Бѹльба, проснувшись, отсрочитъ денька на два отъѣздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ“.

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать и, мало по малу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до самаго свѣта, вовсе не утомилась и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бѹльба вдругъ проснулся и вскочилъ: онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ старà?—(такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою).— Живѣе, старà, готовь намъ ѣсть, потому что путь великій лежитъ.

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату.

Между тѣмъ какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бѹльба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные съ серебряными нодковами; шаровары шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихъ

лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками съ золотымъ верхомъ.

Бѣдная мать! какъ увидѣла ихъ, и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

— Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!—произнесъ наконецъ Бульба:—теперь, по обычаю христіанскому, нужно, передъ дорогою, всѣмъ присѣсть.

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!—сказалъ Бульба.—Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то—пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ и на землѣ спасаетъ.

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею.—„Пусть хранитъ васъ.. Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...“ далѣе она не могла говорить.

— Ну, пойдемъ, дѣти!—сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцатипудовое бремя, потому что Бульба былъ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипла къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ во всѣхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ казака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостію дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, она выбѣжала за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностію. Ее опять увели.

Молодые казаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однакоже, съ своей стороны, тоже былъ нѣсколько смущенъ, хотя старался этого не показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю; только видны были надъ землей двѣ трубы ихъ скромнаго домика да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; еще стлался предъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали на немъ чернобровую казачку, боязливо перелетавшую черезъ него, съ помощію своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла... Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!..

---

* * *

Внимая ужасамъ войны,
При каждой новой жертвѣ боя,
Мнѣ жаль не друга, не жены,
Мнѣ жаль не самого героя...
Увы! утѣшится жена,
И друга лучшій другъ забудетъ;
Но гдѣ-то есть душа одна—
Она до гроба помнить будетъ!
Средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ
И всякой пошлости и прозы
Однѣ я въ мірѣ подсмотрѣлъ
Святыя искреннія слезы—
То слезы бѣдныхъ матерей!
Имъ не забыть своихъ дѣтей,
Погибшихъ на кровавой нивѣ,
Какъ не поднять плакучей ивѣ
Своихъ поникнувшихъ вѣтвей...

Н. Некрасовъ.

Питомка.

I.

По крутому краю большого глинистаго оврага пролегала полевая дорога, съ сухими, жесткими колеями, то спускаясь въ оврагъ, то цѣпляясь по самому гребню косогора. Въ оврагѣ кое-гдѣ росъ кустарникъ, кое-гдѣ стояли желтыя лужицы, надъ которыми роились столбы мелкихъ мошекъ. Солнце садилось; въ побурѣвшей ржи свистѣли перепела.

Шла проселкомъ молодая баба съ котомкою за спиной. На бабѣ было старое ситцевое платье, мужскіе опорки на босу ногу и бѣлый платокъ на головѣ. Шла она скоро, помахивая палочкой; иногда останавливалась, поправляла котомку, огладывалась кругомъ и опять шла, мѣрно покачиваясь изъ стороны въ сторону, уставивъ глаза куда-то вдаль. А вдали виденъ былъ все тотъ же оврагъ съ порыжѣвшимъ бурьяномъ да пестрыя полосы спѣющихъ хлѣбовъ.

Вдругъ позади загремѣла телѣга. Въ телѣгѣ сидѣлъ мужикъ. Баба свернула съ дороги въ сторону и, не оглядываясь, пошла поскорѣй. Мужикъ, поровнявшись съ бабою, пріостановилъ лошадъ и сказалъ:

— Путь-дорога! Куда Богъ несетъ?

Баба поклонилась и, не глядя на мужика, молча шла стороной. Мужикъ посмотрѣлъ на нее, встряхнулъ шапкой и сказалъ:

— Эй, ты, тетка! Слышь, что ль?

Баба все шла и молчала.

Мужикъ посмотрѣлъ, посмотрѣлъ, покачалъ головой, сказалъ про себя: „глухая“, и вдругъ замахалъ руками, крича бабѣ:

— Ай ты глухая!

Баба остановилась и сказала:

— Чего тебѣ?

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Что жъ ты не откликаешься? Видишь,—человѣкъ.

Баба недовѣрчиво глядѣла то на мужика, то на его лошадь.

— Садись, подвезу,—сказалъ мужикъ.

Баба не рѣшалась.

— Садись, говорятъ. Дура!

Баба подумала, подумала и сѣла.

— Ну, вотъ,—сказалъ мужикъ,—сиди! Соль тутъ у меня въ мѣшкѣ.

Баба подобрала подолъ и положила руку на мѣшокъ.

Поѣхали.

Немного помолчавъ, мужикъ спросилъ:

— Ладно, что ли?

— Ладно,—потихоньку отвѣчала баба.

— То-то. А не хотѣла. Богу молиться ходила?—опять спросилъ онъ ее.

— Нѣтъ. Я вотъ... деревня такая есть... У меня прописана...—и баба полѣзла было къ себѣ за пазуху; однако ничего оттуда не достала, а только почесала подъ мышкой и прибавила:

— Бердяева деревня...

— Какое Бердяево!

— Бердяева... аль Гордѣева. Да, Гордѣева.

— Гдѣ жъ это такое? Не слыхать что-то по здѣшней сторонѣ такой деревни. Кое же это мѣсто?

— А я не знаю.

Мужикъ обернулся къ бабѣ лицомъ и въ недоумѣніи спросилъ:

— Ты сама-то чья?

— Я дальная.

— Дальная! Зачѣмъ же ты идешь?

— А вотъ... дѣвочка у меня тутъ отдана... въ шпитонкахъ. Повидать дѣвочку-то бы мнѣ.

— А-а! Да, да. Такъ ты деревню-то и не знаешь?

— То-то не знаю. И спросить-то какъ, тоже не знаю.

— Ну такъ. Сама-то изъ Серпухова будешь?

— Изъ Москвы.

— Московская. Да. Тоже не ближній свѣтъ. Да, да,—въ раздумьи говорилъ мужикъ и, еще немного погодя, спросилъ:

—велика дѣвочка-то?

— Нѣтъ, махонькая.

— Ну, ничего,—сказалъ мужикъ: —дастъ Богъ, найдешь. Сиди! Ишь, ноги-то у тѣ!

Баба посмотрѣла на свои тощія, загорѣлыя ноги, неподвижно вытянутыя впередъ, и прикрыла ихъ платьемъ. Мужикъ задергалъ возжами и замахалъ хворостиной. Лошадь побѣжала шибче, звонко стуча своими некованными копытами по сухой дорогѣ. Баба затряслась на мѣшкѣ и молча посматривала по сторонамъ. Солнце, между тѣмъ, уже сѣло, и въ полѣ поднялся вѣтерокъ. Впереди показались избы; дорога завернула куда-то въ сторону, пошла межами и совсѣмъ затерялась во ржи. Мужикъ, прислонившись къ передку и свѣсивъ руку, задумчиво постегивалъ хворостиной придорожныя травки и затянулъ было пѣсню. Проѣхали такъ еще съ версту.

— Какъ деревню-то сказывали тебѣ? — спросилъ онъ у бабы.

— Мм... Мокѣй... Мокѣева...

— Ну, вотъ, мы здѣсь спросимъ. Тутъ у меня пріятель есть такой... а! Настоящій купецъ. Ну, только и ерникъ же!

Стали подъѣзжать къ деревнѣ. Дорога легла позади дворовъ, мимо гуменъ, потомъ пошла коноплянниками и вывела въ переулокъ, къ кабаку. Деревня была плохонькая, домовъ двадцать. Нѣкоторые только еще строились послѣ пожара и стояли безъ крышъ. Отъ новыхъ срубовъ пахло смолой и дымомъ. На улицѣ народу совсѣмъ не было; только на краю деревни три дѣвчонки сидѣли на завалинкѣ и, поджавъ подъ себя ноги, визжали во всю мочь:

„Шелъ изъ Питера штафетъ,
Присылалъ милой газетъ.
Я газетикъ полуцяла,
Съ издавольствіемъ цитала...“

Мужикъ остановилъ лошадь у кабака и спросилъ:

— Ты станешь, что ли?

Баба замотала головой и отвѣтила:

— Нѣтъ, я не стану. Я посижу.

— О? А то пойдемъ! Что жъ? ничего. Вѣдь озябнешь. Еще пять верстъ до ночлега.

— Нѣтъ, я не озябну.

— О? Ну такъ сиди же, смотри. Я сейчасъ!

Мужикъ вошелъ въ кабакъ и, высунувшись изъ окна, крикнулъ бабѣ:

— А то огурчика? Вынести, что ль?

— Не стану.

— Солененькаго? а? Ты гляди, какіе огурцы-то. Ну, не надо. Сиди, сиди!

Къ телѣгѣ подошла собака, понюхала у лошади хвостъ и ушла опять на завалинку.

Въ кабакѣ засвѣтился огонь и видно было, какъ мужикъ вылилъ шкаликъ въ стаканъ, выпилъ, утерся полою и, заговоривъ съ цѣловальникомъ, сталъ раздирать пальцами кусокъ вяленой рыбы. Видно было какъ цѣловальникъ безымяннымъ пальцемъ скостилъ что-то на счетахъ, поглядѣлъ сонными глазами на свѣчку, почесался и вылѣзъ изъ-за стойки. Наконецъ, оба они вышли на крыльцо, и мужикъ сказалъ цѣловальнику:

— Глякась, какую я себѣ бабу везу.

— Да, баба ничего,—зѣвая отвѣтилъ цѣловальникъ.

— Гм!..—сдѣлалъ мужикъ, залѣзая въ телѣгу.—А ты какъ объ насъ полагаешь? Ну, да ладно же. Прощай. Матри, коли што, такъ ты и тово, алибо што. Съ нашими тогда наказать можно. Гляди, не прозѣвай.

— На что зѣвать,—сказалъ цѣловальникъ,—съ Богомъ!

Лошадь тронулась.

— Ахъ, постой, братъ, постой! Какая тутъ такая вотчина есть Свербѣева господина? Не слыхать? Ай Гордѣева?

— Гордѣева,—подтвердила баба.

Цѣловальникъ задумался.

— Не слыхалъ что-то. А тебѣ на что?

— Да вотъ молодкѣ-то моей туда было нужно, безпремѣнно нужно побывать. Дѣвочка у насъ съ ней тамъ есть. А то вотъ что. Ну-кось, какъ тебя звать-то?

— Анисьей.

— Ну-кось, Анисья, покажи-кось ему, гдѣ у тѣ тамъ прописано. Онъ эти всѣ дѣла разберетъ.

Баба полѣзла было за пазуху и задумалась.

— Что жъ ты?—сказалъ ей мужикъ.—Да ты не бойсь, дура, онъ не отыметъ. О, глупая! Онъ только глянетъ однимъ глазкомъ и все узнаетъ. На что ему твоя записка?

Баба послушалась, развернула тряпочку, достала оттуда лоскутокъ бумаги и отдала его цѣловальнику. Цѣловальникъ вошелъ въ избу, а мужикъ сталъ копаться въ какомъ-то лукошкѣ, приговаривая:

— Онъ разберетъ. Ишь, завязалъ, теперь ни въ свѣтѣ не развяжешь. Разберетъ. Какъ не разобрать. Мужикъ острый. Не развяжешь. А, мухи те ѣшь! Развязалъ. Эй! какъ тебя, Анисья! На-ка, закуси! Неравно поѣсть захочешь,—сказалъ онъ, сунувъ бабѣ два кренделя. — Ребятенкамъ везу. Они у меня охотники смертные. Что жъ ты?

— Я не хочу, — отозвалась баба.

— Ѣшь, дура, ничего.

— Я не хочу.

— Говорятъ, ѣшь, чортъ!

Баба взяла крендели, но не рѣшилась ѣсть.

Цѣловальникъ вышелъ на крыльцо.

— Ну, какъ дѣла?—спросилъ его мужикъ.

— Тутъ написано—Цѣлибѣево. Это Борки, должно быть.

— Борки. Это за Шелепихой? Знаю. Ну, теперь найдемъ. Будь спокойна!—увѣрилъ онъ бабу.

Она завернула опять бумажку въ тряпицу.

Въ полѣ совсѣмъ почти смерклось. Проѣхавъ деревню, мужикъ вытащилъ изъ-подъ себя зипунъ и отдалъ бабѣ, говоря:

— Возьми, укройся зипунишкомъ-то, все теплѣ.

Баба сказала: на что! однако одѣлась.

Немного погодя мужикъ обернулся къ ней, посмотрѣлъ ей въ лицо и спросилъ:

— И чего жъ ты давеча, глупая, испужалась?

— Когда?

— Когда! А какъ встрѣлся-то я тебѣ?

Баба ничего не отвѣчала.

— И есть ты баба, — заключилъ мужикъ. — Глупый твой разумъ. Нешто мужикъ можетъ обидѣть? Эхъ, ты!— И еще немного погодя прибавилъ: — Вотъ дѣвочку твою найдемъ.

— Дай-то, Господи,—шопотомъ сказала баба.

— Гдѣ жъ у тѣ хозяинъ?

— Померъ хозяинъ у меня, вотъ другой годъ пошелъ.

— Одна живешь?

— Одна. У купца въ стряпухахъ живу.

— Кто жъ тебѣ записку далъ?

— Этотъ, писарь далъ.

— Какой писарь?

— А въ шпитательномъ. Я тамъ номерокъ выправляла.

— Ну?

— Ну, и сказалъ мнѣ этотъ писарь, что, слышь, въ деревню дѣвочка отдана въ шпитонки.

— А много ли онъ съ тебя взялъ?

— Сперва-то было пять цѣлковыхъ просилъ. Я ходила, ходила, три раза ходила. Первый-то разъ сказали, за шестьдесятъ верстъ въ деревню отдана, я и пошла.

— Ну, что же? Не нашла?

— Нѣтъ, нашла, да чужую, не свою. Моей-то четвертый годочекъ пойдетъ, а этой ужъ восемь лѣтъ.

— Значитъ, зря проходила?

— Зря.

— А въ другой?

— А въ другой опять записку дали, по Можайкѣ, за Можаемъ за городомъ еще за сто верстъ. Ну, тамъ сказали, померла, слышь, дѣвочка-то. И звать совсѣмъ не такъ. Моято Прасковья, а эта Анѳиса Егорова.

— Ну, писарь-то что жъ говоритъ?

— Говоритъ, ошибка, говоритъ, вышла. Номера перепутали. Теперь, говоритъ, безпремѣнно найдешь.

— Пустое дѣло,—замѣтилъ мужикъ. —А деньги все-таки взялъ?

— Денегъ я ему два цѣлковыхъ еще въ тотъ разъ дала

да полштофъ водки. Ну, на чаю тоже пропоила съ цѣлковой да вотъ теперь пошла, цѣлковый рубь дала.

— Гм! да. Эти писаря тоже ловко вашу сестру обчищаютъ. Эхъ, сирота ты, сирота, погляжу я на тебя. Сиротское самое твое счастіе,—заключилъ мужикъ и задумался.

Баба тоже задумалась.

Спустя много времени, мужикъ тронулъ бабу пальцемъ и заговорилъ:

— Я тебѣ про себя разскажу, какъ меня эти писаря подвели. Н-ну! Надоумилъ меня тоже эдакій добрый человѣкъ вольную выправлять. А ты садись плотнѣй. Вотъ. Что жъ ты крендели-то не ѣшь? Ну и надоумъ онъ меня, человѣкъ-то этотъ. Вольный, говоритъ, будешь: въ купцы выписаться можно. — Вре?— Да пра, говоритъ. Ну, хорошо. Писарекъ тутъ одинъ мнѣ и подвернись. —Я, говоритъ, берусь. Пятнадцать цѣлковыхъ денегъ. Думалъ, думалъ, эхъ, въ ротъ молъ тѣ,—пиши! Написалъ. И то онъ мнѣ, я тебѣ скажу, написалъ, что меня за это за его письмо драли, драли... Можетъ цѣлковыхъ на три объ меня хворосту одного обломали; да годъ въ острогѣ высидѣлъ. Такъ вотъ они писаря-то. И гляди на нихъ.

Пріѣхали въ какую-то деревню ночевать. Остановились у одной избы. Мужикъ постучалъ въ окно. Впустили. Хозяева только было сбирались ложиться. Баба вошла въ избу, а мужикъ пошелъ отпрягать лошадь. Самъ хозяинъ еще не ворочался съ поля.

Въ избѣ было душно, мухи жужжали и лѣзли въ лицо. На печи охала старуха; а вся семья была въ клѣти. Хозяйка вошла въ избу и спросила:

— Огурцы хлебать станете, что ли?

— Я не стану,—отвѣчала баба.

— Ну, а коли ложиться, ложитесь. Ты, небось, молодка, съ хозяиномъ съ своимъ?

Въ это время вошелъ мужикъ съ мѣшкомъ и съ лукошкомъ.

— Ну, вотъ, лошадкѣ кормецу засыпалъ, незомъ пожуетъ,—говорилъ онъ про себя.

— Что у васъ, хозяйка, въ печи-то припасено что, ай нѣтъ?

— Мы нонѣ не топили,—отвѣчала хозяйка.

— Ну, ничего. Мнѣ только бы кваску испить. Господи благослови!—говорилъ онъ, зачерпнувъ ковшикъ.—Радъ, до квасу-то я дорвался. Рыба эта, неладно ей будь, рыба-то ужъ очень въ кабакѣ... ржавая. Обопьешься. Квасъ должно молодой?

— Молодой, не устоялся.

— То-то, не киселъ. Ну-кось, еще ковшичекъ зачерпнуть. Не киселъ. О, Мать, Пресвятая Богородица! Съ соленаго-то пьется.

Ночью звѣзды свѣтили на дворѣ. Въ клѣти слышно было торопливое дѣтское дыханіе, и старуха въ избѣ возилась и охала вплоть до самаго утра.

Баба вскочила ни свѣтъ, ни заря, и собралась было уходить. Мужикъ проснулся, глядитъ, баба отворяетъ калитку.

— Куда ты?

— Да нѣтъ, ужъ я пойду.

— Ахъ ты, оглашенная! Что мнѣ съ тобой дѣлать? Куда тебя несетъ этакую рань?

— Да по холодку-то лучше.

— Не ходи, говорятъ. Вмѣстѣ поѣдемъ.

Баба осталась.

Солнышко взошло—поѣхали дальше.

Около полудня увидали большое село на пригоркѣ, съ деревянной церковью и съ садами, спускавшимися къ рѣчкѣ.

— Вотъ они, Борки!—сказалъ мужикъ, указывая хворостиной на село.

Баба молча, пристально глядѣла впередъ.

— Народъ тоже со всячинкой, — продолжалъ мужикъ, какъ будто разсматривая что-то впереди. — Хвалить нельзя. Первые кулаки въ свѣтѣ. Всю поселенную изойдешь, такихъ еще не найти. Тоже торговлю у себя имѣютъ, а хлѣба нѣтъ.

Больше насчетъ лошадей стараются. Нонѣ гуляютъ,—праздникъ. Что жъ имъ? Дѣло ихъ базарное. Кабакъ-отъ вотъ онъ!

Немного не доѣзжая до села, мужикъ остановилъ лошадь; баба слѣзла.

— Ну, теперь съ Богомъ,—сказалъ мужикъ.—Дай Богъ!

Баба подвязала котомку и собралась было идти. Мужикъ сталъ что-то поправлять колесо и, заглядывая подъ телѣгу, сказалъ:

— А косушечку съ тебя бы нужно за провозъ, для праздника.

Баба вернулась.

— Садися, я тебя до кабака довезу, такъ и быть. Что съ тобой дѣлать? Но!—закричалъ онъ на свою лошадь. —Эхъ, молодость! Гляди, какъ запалимъ.

Телѣга живо подлетѣла къ кабаку и остановилась у крыльца. Тутъ уже народу толпилось довольно. Одни сидѣли на завалинкѣ, другіе стояли, запустивъ руки въ карманы и смотрѣли на улицу.

Отставной солдатъ въ ситцевомъ нагрудникѣ погромыхивалъ на гармоніи.

— Эка, братцы мои, житье-то у васъ!—говорилъ мужикъ, слѣзая съ телѣги.

— У насъ, братъ, житье,—отвѣчали мужики, куря трубки.

II.

Послѣ обѣда народъ гулялъ на селѣ; въ разныхъ мѣстахъ собирались кучки; въ проулкахъ между дворовъ бабы пѣсни играли. Мужики все больше жались къ кабаку. Тутъ на площадкѣ орлянка шла отчаянная.

Пріѣзжая баба, Анисья, ходила по дворамъ и все спрашивала:

— Нѣтъ ли тутъ дѣвочки такой, Прасковьей звать?

— Какой дѣвочки?—спрашивали ее бабы.

— Такъ, вутэдакинькая; четвертый годочекъ. Въ шпитонки взята.

— Нѣтъ, что-то нѣтъ такой,—отвѣчали бабы.

— Тебѣ шпитонку, что ли?

— Да.

— А вотъ у Семушкиныхъ взята дѣвочка.

— Что ты зря-то болтаешь? У Семушкиныхъ. Тоё замужъ скоро отдавать.

— Ну, кчтожъ? Не вѣкъ же ей въ дѣвкахъ сидѣть!

— Да ты слышишь, махонькую нужно.

— Мало бъ ты что захотѣла. Гдѣ жъ ее взять, коли нѣтъ? Ты бы родила да и дала ей, коли ужъ ты добра очень.

— Что ты меня-то родить посылаешь? Впередъ на свой хвостъ оглянись.

— Мнѣ глядѣть нечего. Узоры не велики.

— Вотъ то-то и есть.

— Ты, милая, ворожишь, что ли?

— Нѣтъ, я не ворожу. Мнѣ было вотъ дѣвочку.

— О! А мы думали, ты ворожишь. На что жъ тебѣ дѣвочку?

— Дочка она мнѣ.

— Дочка?

— Да, бѣленькая такая. Паранюшка.

— Нѣтъ, не знаю. Вонъ дѣвочка шпитонка бѣгаетъ, кургузая-то, вонъ! Подолъ на голову задрала. Ахъ, ты подлая! Акуль! Акулька-а!

— Народятъ робятищевъ да и раскидаютъ по чужимъ дворамъ,—ворчала старуха, сидя у воротъ.

— Ходютъ! шленды московскія; право. Взяла бы васъ изъ поганаго ружья застрѣлила.

На лужайкѣ, противъ церкви, сидѣли бабы, въ красныхъ рубашкахъ. Одна говорила:

— Лежу я, дѣвка, такъ-то и думаю: какъ бы мнѣ не проспать! А сонъ это меня схватитъ, схватитъ да какъ ударитъ, я и вскочу. А ночь темная, растемная. Забылась я чуточку и вижу, быдто я хлѣбы въ печку сажаю. Хлѣбы такіе бѣлые. Матушка быдто стоитъ эдакъ, подпершись. Какіе, говоритъ, у насъ хлѣбы-то удались, ровно какъ пшеничные. А я тороплюсь, сажаю. Какъ бы духъ-отъ изъ печки не вышелъ, боюсь до смерти. Вдругъ, откуда ни возьмись,—свинья, пе-

страя да большущая, схватила одинъ хлѣбъ и убѣгла. Я за ней: ахъ-ахъ-ахъ, ахъ-ахъ-ахъ, все бѣгу, все бѣгу, никакъ не догоню. И ужъ сама себя не помню, полемъ все какимъ-то бѣгу, да все спотыкаюсь; кочки тутъ, какія-то ямы нарыты. А свинья эта обернулась ко мнѣ и говоритъ:—нѣтъ тебѣ ничего! Посмотрѣла я на нее, а она страшная, разстрашная; зубы у ней вотъ эдакіе... Я такъ вся и затряслась... Батюшки мои! да какъ закричу—и проснулась. А хозяинъ меня въ бокъ толкаетъ. Что ты, дура, орешь? Я бабкѣ сказываю, она говоритъ: это кто-нибудь изъ родни помретъ.

— А я, вотъ, все свекра-покойника свово вижу.

— Да чтой-то, бабы, никакъ эта пріѣзжая-то сюда идетъ?

— И то, никакъ сюда.

— Ну, что, голубка, не нашла дѣвочку-ту?

— Нѣтъ, все не найду.

— А ты бы къ ворожеѣ сходила. У насъ тутъ не далеко старушка живетъ. Она бы тебѣ погадала.

— Да ужъ ходила я къ нимъ: обѣщали вѣрно, а все нѣтъ. И у Сергія-то чудотворца два раза была.

— Ты бы въ правленіе еще сходила, что писарь скажетъ. Пойдемъ, я тебя сведу,—вызвалась одна баба.

Пошли.

У насъ тоже, я тебѣ скажу,—говорила провожатая,—сладость-то не Богъ знать какая. Девять душъ! Шутка? Однихъ рубахъ не напасесси. Посто-кась: мы у мужиковъ спросимъ.

Мужики стояли кучей между кабакомъ и волостнымъ правленіемъ. Разговоръ у нихъ былъ слѣдующій:

— Что жъ, извѣстно, наше дѣло такое.

— Что и говорить.

— Нѣтъ, вы, братцы, солдата спросите; онъ-то что тутъ?

— Я, что?—спрашивалъ солдатъ.

— Да, ты-то что?

Солдатъ подбоченился, наморщилъ брови и спросилъ:

— За Дунаемъ былъ?

— Нѣтъ, не былъ.

— Ну, стало быть, нечего мнѣ съ тобой и толковать.

Одинъ пьяный мужикъ стоялъ среди улицы и, кланяясь другому, говорилъ:

— Вы наши отцы, а мы ваши дѣти. Отецъ милосердай!

А другой посмотрѣлъ на бабъ и сказалъ:

— Эти что, поганки-то, ходютъ здѣсь?

— Я милосердъ!—закричалъ пьяный мужикъ.

— Брысь вы, шилохвостыя!

На крыльцѣ волостного правленія тоже сидѣли мужики. Бабы подошли къ нимъ.

— Степанъ Егорычъ гдѣ?—спросила провожатая.

— А тебѣ на что?

— Да вотъ этой молодкѣ нужно насчетъ дѣвочки.

— Небось, пьяный лежитъ Степанъ Егорычъ-то вашъ, а то у старшинѣ.

— Тебѣ, тетка, дѣвочку?—спросилъ кузнецъ.

— Да дочку-было.

— Скоро нужно?

Баба обрадовалась.

— Да поскорѣй-то бы лучше. Очень ужъ я...

— Ишь ты, какая проворная!

Мужики захохотали.

Пріѣзжая баба отправилась къ старшинѣ. Писарь въ это время сидѣлъ за столомъ и говорилъ:

— Они безъ меня шагу ступить не могутъ. Такъ ли я говорю?

— Это вѣрно,—отвѣчалъ старшина, разбивая на лавкѣ камнемъ орѣхъ.

— Я говорю,—продолжалъ писарь:—васкбродіе, позвольте мнѣ въ отпускъ! А онъ: я говоритъ, тебѣ, собачій ты сынъ, такой отпускъ задамъ, ты у меня своихъ не узнаешь.

— Тамъ васъ, Степанъ Егоровичъ, баба спрашиваетъ,—сказала жена старшины.

— Какая баба?

— А я не знаю.

— Посылай ее сюда.

Вошла пріѣзжая баба.

Старшина положилъ камень на окно и спросилъ:

— Что ты?

Баба поклонилась.

— Здравствуйте!

— Ну, здравствуй! Чего же тебѣ нужно?

— Къ вашей милости.

— Не слѣпые, видимъ, что къ нашей милости. Какое такое твое дѣло?—спросилъ писарь.

Баба подперлась рукой на щеку, посмотрѣла на старшину, потомъ на писаря, заморгала, заморгала глазами и повалилась въ ноги.

— Говори толкомъ! Что валяться-то?—сказалъ писарь.

Баба поднялась и, стоя на колѣняхъ, сказала:

— Дѣтище моя отдана въ чужіе люди. Не найду.

— Ну такъ что жъ?

— Нельзя ли въ книжкѣ посмотрѣть? Шпитоночка она.

— То-то вотъ,—сказалъ писарь:—дуры вы. Ходите безо время. Нешто не знаешь, грѣхъ въ праздникъ ходить.

Баба молча поклонилась.

— Это не дѣло,—замѣтилъ старшина.—Надо время знать.

— Отцы вы наши сиротскіе!—шопотомъ сказала баба.

— Нечево отцы. Отцы, да не ваши,—отвѣчалъ писарь.

Старшина подошелъ къ бабѣ и, покачиваясь надъ ней, сказалъ:

— Вотъ вы грѣшите, а начальство за васъ отвѣчай.

Баба, стоя на колѣнахъ, посмотрѣла на него.

— Вотъ что,—прибавилъ старшина и опять сѣлъ.

Баба встала и собралась было уходить.

— Ну, да ладно, приходи ужо ко мнѣ въ правленіе,—сказалъ ей писарь.—Бѣда мнѣ съ вами!

— Что станешь дѣлать,—заключилъ старшина:—по глупости прощается.

Баба ушла.

На краю села стояла старая избенка, безъ крыши, съ однимъ окномъ. У воротъ торчала опрокинутая соха. Въ сумерки пріѣзжая баба подошла къ этой избѣ и постучала въ окошко. Тамъ кто-то закашлялъ и спросилъ:

— Кто тамъ? Иди на дворъ!

Баба отворила калитку и вошла. По двору ходила овца. Въ сѣняхъ крыши тоже не было. Наверху, въ слегахъ, копошились воробьи. Изъ избы послышался голосъ:

— Отыми, дверь-то отыми!

Баба попробовала было отпереть, но дверь была безъ петель и повалилась въ сѣни.

Въ избѣ, на лавкѣ, у самаго входа, на зипунѣ, лежала больная женщина.

— Что ты?—спросила она.

Пріѣзжая баба посмотрѣла вокругъ и сказала:

— Писарь говорилъ, дѣвочка у васъ тутъ есть...

— Есть, есть дѣвочка, хвораетъ, какъ я же. Замучила лихоманка. Ты мать, что ли, ей? Казенная она у насъ. Коли мать, возьми! Самимъ ѣсть нечего.

Больная встала съ лавки, охая натянула зипунъ и вышла въ сѣни, говоря:

— До новаго хлѣба далеко, а старый еще къ Святой пріѣли. Все кое-какъ, по чужимъ людямъ, да хворь-то пуще всего... О-охъ! Вонъ она лежитъ. Парань! а, Параня! Мать пришла, гляди-ка сюда!

Въ сѣняхъ, на доскѣ, лежала въ жару трехлѣтняя дѣвочка, обернутая въ тряпье. Больная женщина подняла мѣшокъ, которымъ была накрыта дѣвочка и показала ее пріѣзжей.

— На, вотъ, смотри! Она, что ли?

Дѣвочка открыла глаза, съ испугомъ взглянула на бабу и застонала.

— Не видать мнѣ тутъ,—говорила пріѣзжая.—Темно.

— Постой, я къ свѣту вынесу. Паранюшка! встань, ягодка ты моя! Головка болитъ,—говорила больная, подымая дѣвочку и вынося ее на дворъ.

Больная сѣла на порогъ, а пріѣзжая припала къ ребенку и торопливо стала его разглядывать. Дѣвочка лежала на колѣнахъ, закинувъ назадъ горячую голову, съ закатившимися глазами и раскрытымъ ртомъ.

— Охъ, не узнаю, я какъ-то,—говорила баба.—Поверни-ка ты ее вотъ этакъ на бочокъ. На правомъ боку родинка тутъ у ней.

— Постой, постой,—говорила больная.—Повернись чуточку! Вотъ такъ! Не бось! Мать тебѣ пирожка принесла. Не бось, милая! Что, есть, что ли?

— Нѣту.

— Ну, дѣлать нечего. Видно не она,—сказала больная и понесла дѣвочку въ сѣни.

Пріѣзжая баба постояла на одномъ мѣстѣ, поводила глазами по двору, потомъ подошла къ двери и сказала: ну, прощай! и вдругъ ударилась объ землю и зарыдала.

— Дочка ты моя милая! Дѣтища ты моя ненаглядная!— причитала она, лежа на порогѣ и ухвативъ обѣими руками свою дорожную палочку. Котомка на ней тряслась, платокъ съѣхалъ съ головы.

Больная женщина подошла къ двери, посмотрѣла на пріѣзжую, сама припала къ ней и стала уговаривать:

— Ну, что ты? Ну что? дура! дура! не плачь!

— Охъ, очень ужъ у меня накипѣло, на сердцѣ-то накипѣло... Со вчерашняго утра вотъ этакой крошечки во рту не было...

— Постой, я тебѣ хошь водицы принесу,—сказала больная и пошла за водой.

Баба, между тѣмъ, встала, оправилась и повязала платокъ.

— Ну, я пойду,—сказала она, хлебнувъ изъ ковшика воды.

— Куда жъ ты?

— Нѣтъ, пойду. Не могу я здѣсь.

И пошла опять, вдоль села, той же дорогой, какой пріѣхала.

В. Слѣпцовъ.

Шматокъ хлиба.

И холодъ, и мря́ка на дво́ри панують,
А витеръ осинній реве и лютуе.
Зигнувшися вдвое у драній свыты́ни
Идѐ по-пидъ тыномъ сердешна дытына,

Хлопьятко маленьке пидходыть до хаты,
Недавнiи слезы на лы́ченьку знаты.
Прыйшло пидъ виконце хлопьятко, голоситъ:
„Дай хлибця хочъ трохи!“ и плаче, и просить:
„Дай хлибця хочъ трохи для Бога святого,—
Не ивъ я сёгодни ще зъ ранку ничо́го“.
Далы у виконце хлопьяти для Бога
Шматокъ того хлиба; сердешне, убоге
Взяло той шматочокъ, пишло по дорози...
Дмухну́въ знову ви́теръ и здувъ ёго слёзы.

В. Чайченко.

Голосъ совѣсти.

I.

— Твердо рѣшила и не измѣню своему рѣшенію! — сказала Анна Аркадьевна.

Петръ Петровичъ Разсадинъ сорвался съ кресла и быстро зашагалъ по комнатѣ, сердито хмуря брови.

— Ну, ты, Аня, положительно невмѣняема! — крикнулъ онъ злымъ голосомъ, остановился передъ женой и съ минуту придумывалъ, что̀ бы сказать еще болѣе оскорбительное этой фантазеркѣ, которая вѣчно мучитъ его своими причудами.

— Психопатка!—наконецъ произнесъ онъ и снова заметался по комнатѣ.

— Да, это по меньшей мѣрѣ странно,—сухо замѣтила Марья Карповна, мать Петра Петровича, рыхлая дама въ фаншонѣ изъ лиловыхъ лентъ.

Она тоже злилась, о чемъ свидѣтельствовали ленты, которыя сильно трепетали на ея головѣ.

И Петръ Петровичъ, и Марья Карповна съ нетерпѣніемъ ждали, что̀ скажетъ въ свое оправданіе Аня, и метали въ ея сторону негодующіе взоры.

Но Аня молчала.

Блѣдное личико, задумчивое, тоскливое выраженіе большихъ сѣрыхъ глазъ и глубокая складка между бровями ясно говорили, что душа ея переживаетъ великое горе.

Петръ Петровичъ продолжалъ сердито хмуриться, лиловыя ленты усиленно трепетать, а Аня все молчала...

Наконецъ, она поднялась, глубоко вздохнула и вышла изъ комнаты.

— Скажите, пожалуйста, какая героиня! — кинулъ ей вслѣдъ мужъ, но въ ту же минуту раскаялся.—Нѣтъ, такъ не слѣдуетъ... Ее надо разубѣдить, надо доказать...

— Пустяки!—презрительно воскликнула Марья Карповна. —Просто, потребуй у нея эти десять тысячъ, и конецъ! Никуда она безъ денегъ не поѣдетъ.

— Ахъ, мамаша!.. Ничего вы не понимаете!.. Имѣю ли я право требовать? Вѣдь деньги ея... ея приданое.

— Ну, и что жѣ? Ты—мужъ!

— Вы несносны, мамаша!..

Петръ Петровичъ сердито рванулъ дверь и вышелъ изъ комнаты.

Марья Карповна совсѣмъ разстроилась.

— Я же осталась виновата!.. За что?.. О, комедіантка!.. Въ прошломъ году всю семью терзала: таскалась каждый день на кладбище, разыгрывала истерики,—все это изъ-за восьмимѣсячнаго ребенка!.. Теперь же... теперь выше всякаго описанія...

Разсадинъ, между тѣмъ, вошелъ въ спальню жены и плотно притворилъ за собою дверь.

— Я долженъ поговорить съ тобою серьезно разъ и навсегда,—строго началъ онъ, подходя къ Анѣ.

Та стояла у окна, низко опустивъ голову.

— Говори!—тихо прошептала она.

— Ты берешь изъ банка деньги... Впрочемъ, это для меня не особенно важно... деньги твои... хотя въ случаѣ нужды ты могла бы ими обезпечить дѣтей...

— У меня нѣтъ дѣтей,—дрогнувшимъ голосомъ перебила Аня.

— Нѣтъ, такъ будутъ, если... если ты перестанешь изъ семьи дѣлать адъ. Но это вопросъ другой, а главное вотъ:

я требую, чтобы ты немедленно выбросила изъ головы эт фантазію... Во-первыхъ, моя обязанность—остановить теб во-время, не допустить до гибели... Посмотри на себя, н долго ли тебя хватитъ!.. Донкихотство!.. Со стороны смѣш но, а мнѣ-то вѣдь больно: не чужая же ты мнѣ въ самом дѣлѣ! Во-вторыхъ, эта твоя затѣя неблаговидна... Я говор о моемъ служебномъ положеніи... На меня уже и теперь ко сятся.

Голосъ Петра Петровича вдругъ перешелъ въ многозначи тельный шопотъ:

— Увидишь, это будетъ имѣть большое вліяніе!..

Онъ нѣсколько минутъ помолчалъ и снова крикливо началъ

— Не понимаю, къ чему тебѣ выдѣляться?.. Ну, пожер твуй, какъ всѣ... Хотя въ принципѣ я и врагъ всякой пал ліативы, ну, да ужъ что тамъ!.. Вонъ и Сушковы, и Пет ровы пожертвовали... Дай и ты... тысячу, двѣ, наконецъ три... Но ѣхать, чтобы заразиться тифомъ, или еще какою нибудь гадостью, это, извини меня, глупый фарсъ!..

Петръ Петровичъ еще долго доказывалъ, что ковшомъ мор не вычерпаешь, что онъ прогрессистъ, эволюціонистъ, сто итъ за постепенное развитіе человѣчества...

Аня давно уже не слушала. Она смотрѣла на его взъеро шенные волосы, на безпокойное выраженіе глазъ, на трясу щуюся нижнюю челюсть и думала: „Какъ онъ жалокъ!..“

II.

Аня собиралась въ дорогу...

Ежедневныя газетныя вѣсти, полныя ужаса, не давали е покоя... Что можетъ быть страшнѣе медленной, голодно смерти, которая, прежде чѣмъ покончить со своею жертвою убиваетъ въ ней образъ и подобіе Божіе, превращаетъ чело вѣка въ звѣря!

Особенно страдала она за дѣтей...

О, эти дѣти!.. Всѣ они—и малыя, и подростки—слились в ея воображеніи въ одинъ дорогой образъ ея Леши, бѣлоголо ваго мальчика, съ синими глазами, такими кроткими и ясны ми, какъ Божье небо въ тихій полдень...

Къ разсказу «Питомка».
Рисунокъ К. Лебедева.

Дозв. ценз. Москва, 4 іюля 1892 г.

Тип. И. Д. Сытина и К°.

И этотъ Леша носился передъ нею и днемъ и ночью въ разныхъ картинахъ, одна другой ужаснѣе...

Вотъ онъ—крошка, грудной младенецъ. Бѣленькая головка его прильнула къ груди матери. Широко открытый ротикъ съ жадностью хватаетъ сосокъ. Но грудь пуста, молока нѣтъ: мать отощала отъ голода... Худенькое тѣльце ребенка судорожно вздрагиваетъ, бѣлокурая головка нетерпѣливо вертится... Еще жаднѣе впивается голодный ротикъ въ грудь, но оттуда ни капли молока... Жалобный, душу надрывающій крикъ оглашаетъ избу...

А вотъ онъ—уже большой, ходитъ, говоритъ... Слабымъ, умоляющимъ голосомъ онъ проситъ хлѣба. Но ему суютъ въ руку что-то затхлое и твердое, какъ кирпичъ. Онъ плачетъ, сердится, бросаетъ кусокъ на полъ... Но никто его не утѣшаетъ: у всякаго свое горе. Леша еще долго стонетъ, кричитъ, наконецъ съ отвращеніемъ беретъ кусокъ... Онъ съѣлъ отраву, и все его существо охватываетъ тяжелый сонъ. Онъ разметался на полатяхъ. Грязныя лохмотья еле прикрываютъ изсохшее тѣльце... Носикъ заострился, губы синія, на впалыхъ щекахъ пылаютъ два яркихъ пятна... А надъ нимъ и вокругъ него невидимо носится призракъ смерти...

Эти картины преслѣдовали Аню, лишили ее сна, пищи...

И она торопилась... Дѣлала разныя покупки, укладывалась, шила на машинѣ дѣтское бѣлье, платье...

Петръ Петровичъ наблюдалъ за ней съ видомъ человѣка, обреченнаго на смерть. Въ головѣ его носились тяжелыя думы: „Она уѣдетъ и не вернется... Теперь я вижу, что она меня не любитъ. А вѣдь она умѣетъ любить... И какъ цѣлостно выливается это чувство!.. Прежде на Лешѣ,—ну, это еще понятно,—теперь же на чемъ-то отвлеченномъ, созданномъ ея разстроеннымъ воображеніемъ... Изумительно нелѣпо, но это—такъ: она искренна, какъ всегда... Отчего она меня не любитъ?.. Впрочемъ, глупо спрашивать, отчего любятъ и не любятъ... Вотъ я же люблю ее... за что, и самъ не знаю... А она не вернется... Какая она строгая, рѣшительная... Ахъ, Апя, Аня!“...

Онъ поблѣднѣлъ, какъ-то весь осунулся и не только не

оскорблялъ ее своими злыми выходками, но, напротивъ, самъ притихъ и затосковалъ...

Анѣ было жаль его, но она крѣпилась и не выдавала своего чувства. Если она подойдетъ къ нему и приласкаетъ его, то онъ снова начнетъ упрашивать остаться, начнетъ упрекать, оскорблять...

О, если бы онъ понялъ все!.. Если бы понялъ, что душа ея страстно рвется къ любви, какъ истомленный жаждою путникъ къ холодному источнику...

Есть люди, у которыхъ потребность любить сильнѣе потребности быть любимыми. Аня открыла у себя эту способность впервые, когда родился Леша. Какъ она была счастлива всѣ тѣ восемь мѣсяцевъ!.. Какимъ лучезарнымъ свѣтомъ озарилась ея жизнь!.. Но Леши не стало, свѣтъ погасъ, и она опять одинока... Некого и нечего любить— какая это мука!.. Тоска безжалостная и постоянная засосала ея сердце...

Мужа она никогда не любила, даже и тогда, когда выходила замужъ и искренно думала, что любитъ.

Часто бываетъ, что сильная страсть одного невольно заражаетъ другого. Но эта отраженная страсть—не любовь, а только временное пламя, которое скоро потухаетъ. Такъ было и съ Аней. Пламя страсти, искусственно зажженное въ ней мужемъ, погасло такъ же быстро, какъ быстро вспыхнуло. Леша на время наполнилъ ея жизнь. Но Леша умеръ, и она снова затосковала и стала искать, на чемъ бы вылить свою душу. И вотъ теперь, наконецъ, это *что-то* нашлось и захватило ее такъ страстно, такъ всецѣло...

Какъ человѣкъ искренній, она всегда избѣгала даже разговоровъ о любви къ народу. И когда на журфиксахъ дамы и мужчины съ азартомъ спорили о томъ, приподымать ли мужика до интеллигенціи, или интеллигенціи опуститься до мужика, она усаживалась въ дальнемъ уголкѣ комнаты и молчала. За это Петръ Петровичъ обыкновенно называлъ ее отсталой, неинтеллигентной, совѣтовалъ читать журналы и газеты, чтобы „находиться,—какъ онъ выражался,—въ курсѣ умственныхъ теченій и вѣяній“...

И вотъ теперь, въ моментъ страшнаго народнаго бѣдствія,

душа ея впервые почувствовала связь съ народомъ и страстно ринулась къ нему навстрѣчу.

И за это ее называютъ сумасшедшей!..

III.

Аня сидѣла въ своей комнатѣ и задумчиво смотрѣла на портретъ мужа. Въ глазахъ у нея стояли слезы.

„Неужели такъ и разстанемся озлобленными другъ противъ друга?.. Нѣтъ, я пойду къ нему, смягчу его“...

Но Петръ Петровичъ предупредилъ Аню. Онъ появился въ дверяхъ и, принужденно улыбаясь, спросилъ:

— Можно къ тебѣ?

И, не дождавшись отвѣта, опустился на низенькую оттоманку.

— А я собрался было въ клубъ, да думаю — дай зайду, посмотрю, какія Аня великія дѣла творитъ...

Говоря это, онъ силился казаться равнодушнымъ и даже насмѣшливымъ, но блѣдное лицо и страдальческое выраженіе глазъ измѣняли ему.

— Ахъ, Петя!.. Какъ тяжело!.. Какъ невыносимо тяжело!..— застонала Аня, и крупныя слезы побѣжали по ея щекамъ.

Петръ Петровичъ вскочилъ, какъ ужаленный, приблизился къ женѣ и привлекъ ее къ своей груди. Она не сопротивлялась и порывисто обнимала его голову, цѣловала волосы, лобъ, глаза... И вдругъ ему подумалось, что она раскаялась... Сердце радостно забилось... „Останется, не поѣдетъ“,—посилось въ его мозгу, и безумное счастье охватило его существо...

— Милая!.. Останешься, да?.. не поѣдешь?..

— Нѣтъ, Петя!.. Нѣтъ, мой бѣдный, поѣду!

Онъ грустно поникъ головою, а Аня продолжала нервнымъ, дрожащимъ голосомъ:

— Да, поѣду... Эти дѣти не даютъ мнѣ покоя... ни днемъ, ни ночью... О, какія они всѣ жалкія и безпомощныя!.. Со дня рожденія обречены на смерть... Я вижу ихъ блѣдныя личики, слышу ихъ стоны... Кто ихъ призритъ,

приласкаетъ?.. Вокругъ нихъ одно тупое отчаяніе... Я пойду, отдамъ имъ свою душу, свою жизнь... И не упрашивай, Петя! Оставь, не мучь... иначе—я съ ума сойду...

Голосъ Ани оборвался... Вся она дышала такою святою любовью, что Петръ Петровичъ замеръ на мѣстѣ и чувствовалъ, какъ невольно съ минуты на минуту самъ заражается этимъ возвышеннымъ чувствомъ...

Онъ смотрѣлъ на нее, слушалъ, и у него не поворачивался языкъ говорить свои обычныя, трезвыя мысли, практическая мудрость которыхъ вдругъ показалась ему пошлой и низменной...

Онъ вздохнулъ и ближе привлекъ ее къ своей груди.

Нѣсколько минутъ оба молчали. Онъ гладилъ рукою ея шелковистые волосы и думалъ: „чистая, прекрасная и счастливая!.. Отчего я не похожъ на нее?“...

Онъ сильно страдалъ... На глазахъ его выступили слезы...

И эти искреннія слезы, и это жгучее страданіе вдругъ сдѣлали съ Аней то, что̀ не могли сдѣлать почти три года ихъ супружеской жизни... Сердце ея въ первый разъ дрогнуло истинною любовью къ этому больному, искалѣченному жизнью человѣку...

IV.

Возвышенное настроеніе Ани сломило эгоизмъ Петра Петровича, приподняло его надъ омутомъ обычной житейской пошлости.

Онъ забылъ на время всѣ свои дѣла и отдался хлопотамъ, какъ лучше осуществить идею Ани. Какъ человѣкъ неглупый и практически изворотливый, онъ сразу сумѣлъ придать этой идеѣ опредѣленную форму. Онъ обѣгалъ не только всѣхъ знакомыхъ, но даже знакомыхъ своихъ знакомыхъ, и отобралъ у нихъ обязательство ежемѣсячно доставлять ему опредѣленную сумму денегъ для отсылки Анѣ; вошелъ въ сдѣлку съ крупнымъ хлѣботорговцемъ, уговорилъ одну фельдшерицу, скитавшуюся въ Москвѣ безъ дѣла, ѣхать вмѣстѣ съ Аней и даже отыскалъ какого-то добраго аптекаря, который пообѣщалъ высылать лѣкарства по удешевленной цѣнѣ.

Аня ликовала... Вся она какъ-то вдругъ расцвѣла и поздоровѣла...

Только Марья Карповна продолжала дуться и страдать. Она была окончательно сбита съ толка перемѣной, которая произошла въ ея Петѣ. „Очаровала его эта комедіантка!..“

Зато Аня и Петръ Петровичъ жили теперь полною жизнью... Они понимали другъ друга, любили и работали для своихъ ближнихъ... Въ послѣдніе дни они почти не разставались другъ съ другомъ. Вмѣстѣ ѣздили за покупками, вмѣстѣ обсуждали, что̀ главнѣе и нужнѣе въ данную минуту для деревни, вмѣстѣ радовались удачамъ, горевали о неудачахъ...

Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ Аня въ деревнѣ. Петръ Петровичъ получилъ отъ нея нѣсколько писемъ, и эти письма поддерживаютъ въ его сердцѣ тотъ огонекъ правды, который затеплился подъ вліяніемъ поступка Ани.

А Аня работала...

„...Нѣтъ словъ передать, какое горе я встрѣтила здѣсь,— писала она,— но я не падаю духомъ... Съ утра до ночи работаю... Разъѣзжаю по сосѣднимъ деревнямъ, помогаю, утѣшаю... Я выбрала изъ дѣтей самыхъ больныхъ и вожусь съ ними по цѣлымъ днямъ... Троихъ поселила съ собой, потому что избы ихъ раскрыты, дырявы, и вѣтеръ гуляетъ по нимъ, какъ по полю... Эти крошки начинаютъ поправляться... Одинъ бѣлоголовый, какъ Леша, уже ходитъ и то и дѣло трется своей головенкой о мои колѣна... Не забывай и ты моихъ крошекъ, хлопочи о помощи, буди отъ сна довольныхъ людей, пусть проснутся и помогутъ намъ!..“

А. К—ская.

Наймычка.

ПРОЛОГЪ.

У недилю в-ранци рано
Поле крылося туманомъ;
У тумани, на могыли,
Якъ тополя, похылылась
Молодыця молодая.
Щось до лоня прыгортае,
Та зъ туманомъ розмовляе:
„Ой тумане, тумане—
Мій латаный талане!
Чому мене не сховаешъ
Оттутъ середъ лану?
Чому мене не задавышъ,
У землю не вдавышъ?
Чому мини злои доли,
Чомъ вику не збавышъ?
Ни, не давы, туманочку!
Сховай тилькы въ поли,
Щобъ нихто не знавъ, не бачывъ
Моеи недоли!..
Я не одна—есть у мене
И батько и маты...
Есть у мене... туманочку,
Туманочку, брате!..
Дытя мое, мій сыночку,
Нехрыщеный сыну!
Не я тебе хрыстытыму
На лыху годыну;
Чужи люде хрыстытымуть,
Я не буду знаты,
Якъ и зовуть... Дытя мое!
Я була багата...
Не лай мене: молытымусь,
Изъ самого неба

Долю выплачу слезамы
И пошлю до тебе".
Пишла полемъ рыдаючы,
Въ тумани ховалась,
Та кризь слези тыхесенько
Про вдову спивала,
Якъ удова въ Дунаеви
Сынивъ поховала:
„Ой у поли могыла;
Тамъ удова ходыла,
Тамъ ходыла-гуляла,
Труты-зилля шукала.
Труты-зилля не найшла,
Та сынивъ двохъ прывела,
Въ кытаечку повыла
И па Дунай однесла:
„Тыхый, тыхый Дунай!
Моихъ дитокъ забавляй.
Ты, жовтенькій писокъ!
Нагодуй моихъ дитокъ,
Искупай, исповый,
И собою укрый!"

I.

Бувъ соби дидъ та баба.
Зъ давнего давна, у гаи надъ ставомъ,
У-двохъ соби на хутори жылы,
Якъ диточокъ двое —
Усюды обое.
Ще з-малечку у-двохъ ягнята паслы,
А потимъ побралыся,
Худобы диждалыся,—
Прыдбалы хутиръ, ставъ и млынъ,
Садокъ у гаи розвелы
И пасику чималу,—
Всёго надбалы.

Та диточокъ у ихъ Бигъ-ма,
А смерть зъ косою за плечыма.
Хто жъ ихъ старисть прывитае,
За дытыну стане?
Хто заплаче, поховае?
Хто душу спомяне?
Хто пожыве добро, честно,
Въ добрую годыну,
И згадае дякуючы,
Якъ своя дытына?..
Тяжко дитей годуваты
У безверхій хати,
А ще гирше старитыся
У билыхъ палатахъ,—
Старитыся, умираты,
Добро покыдаты
Чужымъ людямъ, чужымъ дитямъ
На смихъ, на рострату!

II.

И дидъ, и баба у недилю
На прыспи въ-двохъ соби сыдилы
Гарненько, въ билыхъ сорочкахъ.
Сіяло сонце въ небесахъ;
А ни хмарыночкы, та тыхо,
Та любо, якъ у раи.
Сховалося у серци лыхо,
Якъ звирь у темнимъ гаи.
Въ такимъ раи, чого бъ, бачться,
Старымъ сумоваты?
Чи то давне яке лыхо
Прокынулось въ хати?
Чи вчорашне, задавлене
Зновъ заворушылось,
Чи ще тилько заклюнулось—
И рай запалыло?
Не знаю, що и писля чого

Стари сумують. Може, вже
Отсе збираються до Бога;
Та хто въ далекую дорогу
Имъ добре коней запряже?

—„А хто насъ, Насте, поховае,
Якъ помремо?“
—„Богъ знае!
Я все отсе миркувала,
Та ажъ сумно стало:
Одиноки зостарилысь...
Кому понадбалы
Добра сёго?..“
—„Стривай лышень!
Чи чуешъ? щось плаче
За воритьмы... мовъ дытына!
Побижимъ лышъ!.. Бачышъ?
Я вгадувавъ, що щось буде!“

И разомъ схопылысь
Та до воритъ... Прыбигають.
Мовчкы зупынылысь:
Передъ самымъ перелазомъ
Дытына сповыта—
Та й не туго, й новенькою
Свытыною вкрыта;
Бо то маты сповывала—
И литомъ укрила
Останнёю свытыною!..
Дывылысь, молылысь
Стари мои. А сердешне
Неначе благае:
Выпручало рученята
Й до ихъ простягае
Манюсиньки... и замовкло,
Неначе не плаче,
Тилько пхыка.
—„А що, Насте?

Я й казавъ! Отъ бачышъ?
Отъ и таланъ, отъ и доля,
И не одыноки!
Беры жъ лышень та сповывай...
Ачъ яке, ниврокy!
Несы жъ въ хату, а я верхы
Кынусь за кумамы
Въ Городыще".

Чудно якось
Діеться мижъ намы!
Одынъ сына проклынае,
Зъ хаты выганяе;
Другый свичечку, сердешный,
Пóтомъ заробляе
Та рыдаючы становыть
Передъ образамы—
Нема дитей!.. Чудно якось
Діеться мижъ намы!

III.

Ажъ тры пары на радощахъ
Кумивъ назбиралы,
Та въ-вечери й охрыстылы
И Маркомъ назвалы.
Росте Марко. Стари мои
Не знаютъ, де диты,
Де посадыть, де положыть
И що зъ нымъ робыты.
Мынае рикъ. Росте Марко —
И дійна корова
У роскиши купаеться.
Ажъ ось черноброва
Та молода, билолыця
Прыйшла молодыця
На той хутиръ благодатный
У наймы просыться.

„А що жъ?“ каже, „возьмимъ, Насте“.
—„Возьмимо, Трохыме,
Бо мы стари, нездужаемъ;
Та такы й дытына,
Хоча воно вже й пидросло,
Та все жъ такы треба
Коло его пилкуватысь“.
—„Та воно-то треба,
Бо й я свою вже часточку
Прожывъ, слава Богу,—
Пидтоптався.—Такъ що жъ теперъ,
Що визьмешъ, небого?
За рикъ, чи якъ?“
—„А що дасте“.
—„Е, ни! треба знаты,
Треба, дочко, личыть плату,
Зароблену плату;
Бо сказано: хто не личыть,
То той и не мае.
Такъ оттакъ хиба, небого?
Ни ты насъ не знаешъ,
Ни мы тебе. А пожывешъ,
Роздывышся въ хати,
Та й мы тебе побачымо,—
Оттоди й за плату.
Чи такъ, дочко?“
—„Добре, дядьку“.
—„Просымо-жъ у хату“.

Поедналысь. Молодыця
Рада та весела,
Нибы зъ паномъ новинчалась,
Закупыла села.
И у хати, и на двори,
И коло скотыны,
У-вечери и въ-досвита;
А коло дытыны
Такъ и пада, нибы маты;

Въ буддень и въ недилю
Головоньку ему змые,
Й сорочечку билу
Що-день Божый надивае.
Граеться, спивае,
Робыть возыкы, а въ свято,
То й зъ рукъ не спускае.
Дывуються стари мои
Та моляться Богу.
А наймычка невсыпуща
Що-вечиръ, небога,
Свою долю проклынае,
Тяжко-важко плаче;
И нихто того не чуе,
Не знае й не бачыть,
Опричъ Марка маленького.
Такъ воно не знае,
Чого наймычка слёзамы
Его умывае.
Не зна Марко, чого вона
Такъ ёго цилуе—
Сама не зъйисть и не допье,
Его нагодуе.
Не зна Марко, якъ въ колысци
Часомъ середъ ночи
Прокынеться, ворухнеться,—
То вона вже скочыть,
И укрые, й перехрестыть,
Тыхо заколыше:
Вона чуе зъ тіи хаты,
Якъ дытына дыше.
Въ-ранци Марко до наймычкы
Ручкы простягае
И мамою невсыпущу
Ганну велычае...
Не зна Марко, росте соби,
Росте, выростае.

IV.

Чимало литъ перевернулось,
Воды чимало утекло;
И въ хутиръ лыхо завернуло,
И слизъ чимало прынесло.
Бабусю Настю поховалы
И ледве-ледве одволалы
Трохыма дида. Прогуло
Прокляте лыхо, та й заснуло.
На хутиръ знову благодать
Зъ-за гаю темного вернулась
До дида въ хату спочывать.

Уже Марко чумакуе
И въ-осены не ночуе
Ни пидъ хатою, ни въ хати...
Кого-небудь треба сватать.
„Кого-жъ бы тутъ?“ старый дума
И просыть порады
У наймычкы. А наймычка
До царивны бъ рада
Слать старосты. „Треба Марка
Самого спытаты“.
—„Добре, дочко, спытаемо,
Та й будемо сватать“.

Роспыталы, порадылысь,
Та й за старостамы
Пишовъ Марко. Вернулыся
Люды зъ рушныкамы,
Зъ святымъ хлибомъ обминенымъ.
Панну у жупани,
Таку кралю высваталы,
Що хочъ за гетьмана,
То не соромъ. Оттаке-то
Дыво запопалы!

„Спасыби вамъ!“ старый каже,
„Теперъ, щобъ вы зналы,
Треба краю доводыты,
Колы й де винчаты,
Та й весилля. Та ще ось-що:
Хто въ насъ буде маты?
Не дожыла моя Настя!“...
Та й залывсь слезамы.
А наймычка, у порогу,
Вхопылась рукамы
За одвирокъ, та й зомлила.
Тыхо стало въ хати;
Тилько наймычка шептала:
„Маты... маты... маты!“

V.

Черезъ тыждень молодыци
Коровай мысылы
На хутори. Старый батько
Зъ усіеи сылы
Зъ молодыцямы танцюе
Та двиръ вымитае;
Та прохожыхъ, пройижжачыхъ
У двиръ заклыкае,
Та вареною частуе,
На весилля просыть.
Знай бигае, а самого
Ледве ногы носять.
Скризь гармыдеръ та реготня,
Въ хати и на двори.
И жолобы выкотылы
Зъ новои коморы.
Скризь поранння: печуть, варять,
Вымитають, мыють...
Та все чужи. Де жъ наймычка?
На прощу у Кывъ
Пишла Ганна. Благавъ старый,

А Марко ажъ плакавъ,
Щобъ була вона за матиръ.
„Ни, Марку, ні-яко
Мени матиръю сыдиты:
То багати люды,
А я наймычка... ще й зъ тебе
Сміятыся будуть.
Нехай Богъ вамъ помогае!
Пійду помолюся
Усимъ святымъ у Кыиви,
Та й знову вернуся
Въ вашу хату, якъ прыймете.
Покы маю сылы,
Трудытымусь“....
Чыстымъ серцемъ
Поблагословыла
Свого Марка... заплакала
Й пишла за ворота.

Розвернулося весилля.
Музыкамъ робота
И пидковамъ. Вареною
Столы й лавы мыють.
А наймычка шкандыбае,
Поспишае въ Кывъ.
Прыйшла въ Кывъ—не спочыла,
У мищанкы стала,
Нанялася носыть воду,
Бо грошей не стало
На акафыстъ у Варвары.
Носыла-носыла,
Кипъ изъ висимъ заробыла
Й Маркови купыла
Святу шапочку въ пещеряхъ
У Йвапа святого,
Щобъ голова не болила
Въ Марка молодого;
И перстенькъ у Варвары

Невистци достала,
И, всимъ святымъ поклонывшысь,
Додому верталась.
Вернулася. Катерына
И Марко зострилы
За воритьмы, ввелы въ хату
Й за стилъ посадылы;
Напувалы й годувалы,
Про Кывъ пыталы,
И въ кимнати Катерына
Одпочыть послала.
„За що воны мене люблять?
За що побажають?
О Боже мій мылосердный!
Може, воны знають...
Може, воны догадалысь...
Ни, не догадалысь:
Воны добри“...
И наймычка
Тяжко зарыдала.

VI.

Трычи крыга замерзала,
Трычи роставала,
Трычи наймычку у Кывъ
Катря проважала,
Такъ якъ матиръ; и въ четвертый
Провела небогу
Ажъ у поле, до могылы,
И молыла Бога,
Щобъ швыденько верталася,
Бо безъ неи въ хати
Якось сумно, нибы маты
Покынула хату.

Писля Пречыстои въ недилю,
Та писля Першои, Трохымъ

Старый сыдивъ въ сорочци билій,
Въ брыли, на прысьби; передъ нымъ
Зъ собакою унучокъ грався,
А внучка въ юпку одяглась
У Катрыну и нибы йшла
До дида въ гости. Засміявсь
Старий и внучку прывитавъ
Неначе справди молодыцю.
„А де жъ ты дила паляныцю?
Чи, може, въ лиси хто однявъ?
Чи по-просту—забула взяты?..
Чи, може, ще й не напекла?
Е, соромъ, соромъ, кепська маты!“
Ажъ зыркъ—и наймычка ввійшла
На двиръ. Побигъ стричаты
Зъ онукамы свою Ганну.
„А Марко въ дорози?“
Ганна дида пыталася.
—„Въ дорози ще й доси“.
—„А я ледве додыбала
До вашои хаты.
Не хотилось на чужыни
Одній умираты!
Колыбъ Марка диждатыся...
Такъ щось тяжко стало!“
И внучяткамъ изъ клуночка
Гостынци выймала:
И хрестыки, й дукачыкы,
Й намыста разочокъ
Орыночци, и червоный
Зъ хвольгы образочокъ,
А Карпови соловейка
Та коныкивъ пару,
И четвертый уже перстень
Святои Варвары
Катерыни, а дидови
Изъ воску святого
Три свичечкы; а Маркови

И соби ничого
Не прынесла: не купыла,
Бо грошей не стало,
А заробыть нездужала.
„А ось ще осталось
Пивъ-бублычка!“
Й по шматочку
Дитямъ роздилыла.

VII.

Ввійшла въ хату. Катерына
Ий ногы умыла
Й полудновать посадыла.
Не пыла й не йила
Моя Ганна.
„Катерыно!
Колы въ насъ недиля?“
—„Писля завтра“.
—„Треба буде
Акафистъ наняты
Мыколаеви святому
Й на часточку даты;
Бо щось Марко забарывся...
Може, де въ дорози
Занедужавъ, сохрань Боже!“
Й покапалы слезы
Зъ старыхъ очей замученыхъ.
Ледве-ледве встала
Изъ-за стола.
„Катерыно!
Не та вже я стала:
Зледащила, нездужаю
И на ногы встаты.
Тяжко, Катре, умираты
Въ чужій теплій хати!“

Занедужала небога.
Уже й прычащалы,
Й маслосвятіе служылы,—
Ни, не помагало.
Старый Трохымъ по надвирью,
Мовъ убытый, ходыть.
Катерына зъ болящои
И очей не зводыть;
Катерына коло неи
И днюе й ночуе.
А тымъ часомъ сычи въ-ночи
Недобре вищують
На комори. Болящая
Що день, що годына,
Ледве чуты, пытаеться:
„Доню Катерыно!
Чи ще Марко не прыйихавъ?
Охъ, якъ-бы я знала,
Що диждуся, що побачу,
То ще бъ пидождала!“

VIII.

Иде Марко зъ чумакамы,
Идучы спивае.
Не поспиша до господы—
Волы попасае.
Везе Марко Катерыни
Сукна дорогого,
А батькови шытый поясъ
Шовку чёрвоного,
А паймычци на очипокъ
Парчи золотои
И червону добру хустку
Зъ билою габою,
А диточкамъ черевычкы,
Хвыгъ та выноградy,
А всимъ вкупи червоного

Вына зъ Цариграду
Видеръ зъ трое у барыли,
И кавьяру зъ Дону,—
Всёго везе, та не знае,
Що діеться дома?

Иде Марко, не журыться'
Прыйшовъ—слава Богу!
И ворота одчыняе,
И молыться Богу.
„Чи чуешъ ты, Катерыно?
Бижы зостричаты!
Уже прыйшовъ! Бижы швыдче!
Швыдче веды въ хату!..
Слава Тоби, Хрысте-Боже!
Насылу диждала!“
И *Отче нашъ* тыхо-тыхо,
Мовъ кризь сонъ, чытала.

Старый волы выпрягае,
Занозы ховае
Мережани, а Катруся
Марка оглядае.
„А де жъ Ганна, Катерыно?
Я пакъ и байдуже!
Чи не вмерла?“
—„Ни, не вмерла,
А дуже нездужа.
Ходимъ лышень въ малу хату,
Покы выпрягае
Волы батько: вона тебе,
Марку, дожыдае“.

Ввійшовъ Марко въ малу хату
И ставъ у порогу...
Ажъ злякався. Ганна шепче:
„Слава... слава Богу!
Ходы сюды не лякайся...

Выйды, Катре, зъ хаты:
Я щось маю роспытаты,
Де-що розсказаты".
Выйшла зъ хаты Катерына,
А Марко схылився
До наймычки у головы.
—„Марку! подывыся,
Подывыся ты на мене:
Бачъ, якъ я змарнила?
Я не Ганна, не наймычка.
Я..."
Та й занимила.
Марко плакавъ, дывувався.
Зновъ очи одкрыла,
Пыльно, пыльно подывылась—
Слезы покотылысь.
„Просты мене! Я каралась
Весь викъ въ чужій хати...
Просты мене, мій сыночку!
Я... я твоя маты".
Та й замовкла...
Зомливъ Марко,
Й земля задрижала.
Прокынувся... до матери—
А маты вже спала!

Т. Шевченко.

Роды.

(Изъ романа „Анна Каренина" Л. Толстого).

Левины жили уже третій мѣсяцъ въ Москвѣ. Уже давно прошелъ тотъ срокъ, когда, по самымъ вѣрнымъ разсчетамъ людей, знающихъ эти дѣла, Кити должна была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было замѣтно, чтобы время было ближе теперь, чѣмъ два мѣсяца назадъ. И докторъ, и акушерка, и Долли, и мать, и въ особенности Левинъ, безъ ужаса не могшій подумать о приближавшемся, начинали испытывать нетерпѣніе и безпокойство; одна Кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою.

Она теперь ясно сознавала зарожденіе въ себѣ новаго чувства любви къ будущему, отчасти для нея уже настоящему ребенку, и съ наслажденіемъ прислушивалась къ этому чувству. Онъ теперь уже не былъ вполнѣ частью ея, а иногда жилъ и своею, независимою отъ нея жизнью. Часто ей бывало больно отъ этого, но вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлось смѣяться отъ странной новой радости.

. . . . . .

Въ пять часовъ утра скрипъ отворенной двери разбудилъ Левина. Онъ вскочилъ и оглянулся. Кити не было на постели подлѣ него. Но за перегородкой былъ движущійся свѣтъ, и онъ слышалъ ея шаги.

— Что?.. что?— проговорилъ онъ съ просонья. — Кити! Что?

— Ничего,—сказала она, со свѣчей въ рукѣ выходя изъза перегородки.—Мнѣ нездоровилось,—сказала она, улыбаясь особенно милою и значительною улыбкой.

— Что? началось, началось?—испуганно проговорилъ онъ. — Надо послать,—и онъ торопливо сталъ одѣваться.

— Нѣтъ, нѣтъ,—сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой.—Навѣрное ничего. Мнѣ нездоровилось только немного. Но теперь прошло.

И она, подойдя къ кровати, потушила свѣчу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ея какъ будто сдерживаемаго дыханья и болѣе всего—выраженіе особенной нѣжности и возбужденности, съ которою она, выходя изъ-за перегородки, сказала ему: „ничего“, — ему такъ хотѣлось спать, что онъ сейчасъ же заснулъ. Только ужъ потомъ онъ вспомнилъ тишину ея дыханья и понялъ все, что происходило въ ея дорогой, милой душѣ въ то время, какъ она, не шевелясь, въ ожиданіи величайшаго событія въ жизни женщины, лежала подлѣ него. Въ семь часовъ его разбудило прикосновеніе ея руки къ плечу и тихій шопотъ. Она какъ будто боролась между жалостью разбудить его и желаніемъ говорить съ нимъ.

— Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Лизаветой Петровной.

Свѣча опять была зажжена. Она сидѣла на кровати и держала въ рукѣ вязанье, которымъ она занималась послѣдніе дни.

— Пожалуйста не пугайся, ничего. Я не боюсь нисколько,—увидавъ его испуганное лицо, сказала она, и прижала его руку къ своей груди, потомъ къ своимъ губамъ.

Онъ поспѣшно вскочилъ, не чувствуя себя и не спуская съ нея глазъ, надѣлъ халатъ и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но онъ не могъ оторваться отъ ея взгляда. Онъ ли не любилъ ея лица, не зналъ ея выраженія, ея взгляда, но онъ никогда не видалъ ея такою. Какъ гадокъ и ужасенъ онъ представлялся себѣ, вспомнивъ вчерашнее огорченіе ея, предъ нею, какою она была теперь! Зарумянившееся лицо ея, окруженное выбившимися изъ-подъ ночного чепчика мягкими волосами, сіяло радостью и рѣшимостью.

Какъ ни мало было неестественности и условности въ общемъ характерѣ Кити, Левинъ былъ все-таки пораженъ тѣмъ,

что обнажалось теперь предъ нимъ, когда вдругъ всѣ покровы были сняты, и самое ядро ея души свѣтилось въ ея глазахъ. И въ этой простотѣ и обнаженности, она, та самая, которую онъ любилъ, была еще виднѣе. Она, улыбаясь, смотрѣла на него; но вдругъ брови ея дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя къ нему, взяла его за руку и вся прижалась къ нему, обдавая его своимъ горячимъ дыханіемъ. Она страдала и какъ будто жаловалась ему на свои страданья. И ему въ первую минуту по привычкѣ показалось, что онъ виноватъ. Но во взглядѣ ея была нѣжность, которая говорила, что она не только не упрекаетъ его, но любитъ за эти страданія. „Если не я, то кто же виноватъ въ этомъ?“ невольно подумалъ онъ, отыскивая виновника этихъ страданій, чтобы наказать его; но виновника не было. Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданіями, и радовалась ими, и любила ихъ. Онъ видѣлъ, что въ душѣ ея совершалось что-то прекрасное, но что? — онъ не могъ понять. Это было выше его пониманія.

— Я послала къ мама. А ты поѣзжай скорѣй за Лизаветой Петровной... Костя!.. Ничего, прошло.

Она отошла отъ него и позвонила.

— Ну, вотъ иди теперь, Паша идетъ. Мнѣ ничего.

И Левинъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что она взяла вязанье, которое она принесла ночью, и опять стала вязать.

Въ то время, какъ Левинъ выходилъ въ одну дверь, онъ слышалъ, какъ въ другую входила дѣвушка. Онъ остановился у двери и слышалъ, какъ Кити отдавала подробныя приказанія дѣвушкѣ, и сама съ нею стала передвигать кровать.

Онъ одѣлся, и, пока закладывали лошадей, такъ какъ извозчиковъ еще не было, опять вбѣжалъ въ спальню и не на цыпочкахъ, а на крыльяхъ, какъ ему казалось. Двѣ дѣвушки озабоченно перестанавливали что-то въ спальнѣ. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась.

— Я сейчасъ ѣду къ доктору. За Лизаветой Петровной поѣхали, но я еще заѣду. Не нужно ли что? Да, къ Долли?

Она посмотрѣла на него, очевидно не слушая того, что онъ говорилъ

— Да, да. Иди, — быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой.

Онъ уже выходилъ въ гостиную, какъ вдругъ жалостный, тотчасъ же затихшій стонъ раздался изъ спальни. Онъ остановился и долго не могъ понять.

— Да, это она,—сказалъ онъ самъ себѣ и, схватившись за голову, побѣжалъ внизъ.

— Господи помилуй! прости, помоги! — твердилъ онъ какъ-то вдругъ неожиданно пришедшія на уста ему слова.

И онъ, не вѣрующій человѣкъ, повторялъ эти слова не одними устами. Теперь, въ эту минуту, онъ зналъ, что всѣ не только сомнѣнія его, но та невозможность по разуму вѣрить, которую онъ зналъ въ себѣ, нисколько не мѣшаютъ ему обращаться къ Богу. Все это теперь, какъ прахъ, слетѣло съ его души. Къ кому же ему было обращаться, какъ не къ Тому, въ чьихъ рукахъ онъ чувствовалъ себя, свою душу и свою любовь?

. . . . . .

Когда Левинъ вернулся домой, онъ съѣхался съ княгиней, и они вмѣстѣ подошли къ двери спальни. У княгини были слезы на глазахъ, и руки ея дрожали. Увидавъ Левина, она обняла его и заплакала.

— Ну что, душенька Лизавета Петровна, — сказала она, хватая за руку вышедшую имъ навстрѣчу, съ сіяющимъ и озабоченнымъ лицомъ, Лизавету Петровну.

— Идетъ хорошо, — сказала она. — Уговорите ее лечь. Легче будетъ.

Съ той минуты, какъ онъ проснулся и понялъ, въ чемъ дѣло, Левинъ приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперевъ всѣ мысли и чувства, твердо, не разстраивая жену, а напротивъ успокоивая и поддерживая ея храбрость, перенести то, что предстоитъ ему. Не позволяя себѣ даже думать о томъ, что будетъ, чѣмъ это кончится, судя по разспросамъ о томъ, сколько это обыкновенно продолжается, Левинъ въ воображеніи своемъ приготовился терпѣть и держать свое сердце въ рукахъ часовъ пять, и ему это казалось возможно. Но, когда онъ вернулся отъ доктора и увидалъ опять ея страданія, онъ чаще и чаще

сталъ повторять: „Господи, прости, помоги“, вздыхать и поднимать голову кверху, и почувствовалъ страхъ, что не выдержитъ этого, расплачется или убѣжитъ. Такъ мучительно ему было. А прошелъ только часъ.

Но послѣ этого часа прошелъ еще часъ, два, три, всѣ пять часовъ, которые онъ ставилъ себѣ самымъ дальнимъ срокомъ терпѣнія, и положеніе было все то же; и онъ все терпѣлъ, потому что больше дѣлать было нечего, какъ терпѣть, каждую минуту думая, что онъ дошелъ до послѣднихъ предѣловъ терпѣнія и что сердце его вотъ-вотъ сейчасъ разорвется отъ состраданія.

Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувство его страданія и ужаса росли и напрягались еще болѣе.

Всѣ тѣ обыкновенныя условія жизни, безъ которыхъ нельзя себѣ ничего представить, не существовали болѣе для Левина. Онъ потерялъ сознаніе времени. То минуты, — тѣ минуты, когда она призывала его къ себѣ, и онъ держалъ ее за потную, то сжимающую съ необыкновенною силой, то отталкивающую его руку, — казались ему часами, то часы казались ему минутами. Онъ былъ удивленъ, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свѣчу за ширмами, и онъ узналъ, что было уже пять часовъ вечера. Если бы ему сказали, что теперь только 10 часовъ утра, онъ такъ же мало былъ бы удивленъ. Гдѣ онъ былъ въ это время, онъ такъ же мало зналъ, какъ и то, когда что было. Онъ видѣлъ ея воспаленное, то недоумѣвающее и страдающее, то улыбающееся и успокоивающее его лицо. Онъ видѣлъ и княгиню, красную, напряженную, съ распустившимися буклями сѣдыхъ волосъ и въ слезахъ, которыя она усиленно глотала, кусая губы, видѣлъ и Долли, и доктора, курившаго толстыя папиросы, и Лизавету Петровну, съ твердымъ, рѣшительнымъ и успокоивающимъ лицомъ, и стараго князя, гуляющаго по залѣ съ нахмуреннымъ лицомъ. Но, какъ они приходили и выходили, гдѣ они были, онъ не зналъ. Княгиня была то съ докторомъ въ спальнѣ, то въ кабинетѣ, гдѣ очутился накрытый столъ; то не она была, а была Долли. Потомъ Левинъ помнилъ, что его посылали куда-то. Разъ его послали перенести столъ и диванъ. Онъ съ усердіемъ сдѣлалъ

это, думая, что это для нея нужно, и потомъ только узналъ, что это онъ для себя готовилъ ночлегъ. Потомъ его посылали къ доктору въ кабинетъ спрашивать что-то. Докторъ отвѣтилъ, и потомъ заговорилъ о безпорядкахъ въ думѣ. Потомъ посылали его въ спальню къ княгинѣ принесть образъ въ серебряной золоченой ризѣ, и онъ со старою горничной княгини лазилъ на шкапчикъ доставать, и разбилъ лампадку, и горничная княгини успокоивала его о женѣ и о лампадкѣ, и онъ принесъ образъ и поставилъ въ головахъ Кити, старательно засунувъ его за подушки. Но гдѣ, когда и зачѣмъ это все было, онъ не зналъ. Онъ не понималъ тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поѣсть и уводила изъ комнаты, и даже докторъ серьезно и съ соболѣзнованіемъ смотрѣлъ на него и предлагалъ капель.

Онъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось годъ тому назадъ въ гостиницѣ губернскаго города на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе,—это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда разсудокъ уже не поспѣвалъ за нею.

— Господи, прости и помоги, — не переставая твердилъ онъ себѣ, несмотря на столь долгое и казавшееся полнымъ отчужденіе, чувствуя, что онъ обращается къ Богу точно такъ же довѣрчиво и просто, какъ и во времена дѣтства и первой молодости.

Все это время у него были два раздѣльныя настроенія. Одно — внѣ ея присутствія, съ докторомъ, курившимъ одну толстую папироску за другою и тушившимъ ихъ о край полной пепельницы, съ Долли, и съ княземъ, гдѣ шла рѣчь объ обѣдѣ, о политикѣ, о болѣзни Марьи Петровны, и гдѣ Левинъ вдругъ на минуту совершенно забывалъ, что происходило, и чувствовалъ себя точно проснувшимся, и другое на-

строеніе — въ ея присутствіи, у ея изголовья, гдѣ сердце хотѣло разорваться и все не разрывалось отъ состраданія, и онъ не переставая молился Богу. И каждый разъ, когда изъ минуты забвенія его выводилъ долетавшій изъ спальни крикъ, онъ подпадалъ подъ то же самое странное заблужденіе, которое въ первую минуту нашло на него: каждый разъ, услыхавъ крикъ, онъ вскакивалъ, бѣжалъ оправдываться, вспоминалъ дорогой, что онъ не виноватъ, и ему хотѣлось защитить, помочь. Но, глядя на нее, онъ опять видѣлъ, что помочь нельзя, и приходилъ въ ужасъ и говорилъ:

— Господи, прости и помоги.

И чѣмъ дальше шло время, тѣмъ сильнѣе становились оба настроенія: тѣмъ спокойнѣе, совершенно забывая ее, онъ становился внѣ ея присутствія, и тѣмъ мучительнѣе становились и самыя ея страданія, и чувство безпомощности предъ ними. Онъ вскакивалъ, желалъ бѣжать куда-нибудь, а бѣжалъ къ ней.

Иногда, когда опять и опять она призывала его, онъ обвинялъ ее. Но, увидавъ ея покорное, улыбающееся лицо и услыхавъ слова: „Я измучила тебя“,—онъ обвинялъ Бога; но, вспомнивъ о Богѣ, онъ тотчасъ просилъ простить и помиловать.

Онъ не зналъ, поздно ли, рано ли. Свѣчи уже всѣ догорали. Долли только-что была въ кабинетѣ и предложила доктору прилечь. Левинъ сидѣлъ, слушая разсказы доктора о шарлатанѣ-магнетизерѣ и смотрѣлъ на пепелъ его папироски. Былъ періодъ отдыха, и онъ забылся. Онъ совершенно забылъ о томъ, что происходило теперь. Онъ слушалъ разсказъ доктора и понималъ его. Вдругъ раздался крикъ ни на что не похожій. Крикъ былъ такъ страшенъ, что Левинъ даже не вскочилъ, но, не переводя дыханія, испуганно-вопросительно посмотрѣлъ на доктора. Докторъ склонилъ голову на-бокъ, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было такъ необыкновенно, что ужъ ничто не поражало Левина. „Вѣрно такъ надо,“ подумалъ онъ и продолжалъ сидѣть. Чей это былъ крикъ? Онъ вскочилъ, на цыпочкахъ вбѣжалъ въ спальню, обошелъ Лизавету Петровну, княгиню и сталъ на свое мѣсто, у изголовья. Крикъ затихъ, но что-то перемѣнилось теперь. Что́—онъ не видѣлъ и не понималъ, и не

хотѣлъ видѣть и понимать. Но онъ видѣлъ это по лицу Лизаветы Петровны: лицо Лизаветы Петровны было строго и блѣдно и все также рѣшительно, хотя челюсти ея немного подрагивали, и глаза ея были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити, съ прилипшею къ потному лицу прядью волосъ, было обращено къ нему и искало его взгляда. Поднятыя руки просили его рукъ. Схвативъ потными руками его холодныя руки, она стала прижимать ихъ къ своему лицу.

— Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! — быстро говорила она.—Мама, возьмите серьги. Онѣ мнѣ мѣшаютъ. Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна...

Она говорила быстро-быстро и хотѣла улыбнуться. Но вдругъ лицо ея исказилось, она оттолкнула его отъ себя.

— Нѣтъ, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди!—закричала она, и опять послышался тотъ же ни на что не похожій крикъ.

Левинъ схватился за голову и выбѣжалъ изъ комнаты.

— Ничего, ничего, все хорошо!—проговорила ему вслѣдъ Долли.

Но, что бы ни говорили, онъ зналъ, что теперь все погибло. Прислонившись головой къ притолкѣ, онъ стоялъ въ сосѣдней комнатѣ и слышалъ чей-то никогда неслыханный имъ визгъ, ревъ, и онъ зналъ, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка онъ давно не желалъ. Онъ теперь ненавидѣлъ этого ребенка. Онъ даже не желалъ теперь ея жизни, онъ желалъ только прекращенія этихъ ужасныхъ страданій.

— Докторъ! Что же это? Что жъ это? Боже мой!—сказалъ онъ, хватая за руку вошедшаго доктора.

— Кончается, — сказалъ докторъ.

И лицо доктора было такъ серьезно, когда онъ говорилъ это, что Левинъ понялъ *кончается* въ смыслѣ—умираетъ.

Не помня себя, онъ вбѣжалъ въ спальню. Первое, что онъ увидалъ, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннѣе и строже. Лица Кити не было. На томъ мѣстѣ, гдѣ оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряженія и по звуку выходившему оттуда. Онъ при-

палъ головой къ дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крикъ не умолкалъ, онъ сдѣлался еще ужаснѣе, и, какъ бы дойдя до послѣдняго предѣла ужаса, вдругъ затихъ. Левинъ не вѣрилъ своему слуху, но нельзя было сомнѣваться: крикъ затихъ, и слышалась тихая суетня, шелестъ и торопливыя дыханія, и ея прерывающійся, живой и нѣжный, счастливый голосъ тихо произнесъ: „кончено“.

Онъ поднялъ голову. Безсильно опустивъ руку на одѣяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрѣла на него, и хотѣла и не могла улыбнуться.

И вдругъ, изъ того таинственнаго и ужаснаго, нездѣшняго міра, въ которомъ онъ жилъ эти двадцать два-часа, Левинъ мгновенно почувствовалъ себя перенесеннымъ въ прежній, обычный міръ, но сіяющій теперь такимъ новымъ свѣтомъ счастья, что онъ не перенесъ его. Натянутыя струны всѣ сорвались. Рыданія и слезы радости, которыхъ онъ никакъ не предвидѣлъ, съ такою силой поднялись въ немъ, колебля все его тѣло, что долго мѣшали ему говорить.

Упавъ на колѣни предъ постелью, онъ держалъ предъ губами руку жены и цѣловалъ ее, и рука эта слабымъ движеніемъ пальцевъ отвѣчала на его поцѣлуи. А между тѣмъ тамъ, въ ногахъ постели, въ ловкихъ рукахъ Лизаветы Петровны, какъ огонекъ надъ свѣтильникомъ, колебалась жизнь человѣческаго существа, котораго никогда прежде не было, и которое такъ же, съ тѣмъ же правомъ, съ тою же значительностью для себя, будетъ жить и плодить себѣ подобныхъ.

— Живъ! Живъ! Да еще мальчикъ! Не безпокойтесь! — услыхалъ Левинъ голосъ Лизаветы Петровны, шлепавшей дрожавшею рукой спину ребенка.

— Мама, правда?— сказалъ голосъ Кити.

Только всхлипиванья княгини отвѣчали ей.

И среди молчанія, какъ несомнѣнный отвѣтъ на вопросъ матери, послышался голосъ совсѣмъ другой, чѣмъ всѣ сдержанно говорившіе голоса въ комнатѣ. Это былъ смѣлый, дерзкій, ничего не хотѣвшій соображать, крикъ непонятно откуда явившагося, новаго человѣческаго существа.

. . . . . .

Въ десятомъ часу старый князь, Сергѣй Ивановичъ и Степанъ Аркадьевичъ сидѣли у Левина и, поговоривъ о родильницѣ, разговаривали и о постороннихъ предметахъ. Левинъ слушалъ ихъ и, невольно при этихъ разговорахъ вспоминая прошедшее, то, что было до нынѣшняго утра, вспоминалъ и себя, какимъ онъ былъ вчера до этого. Точно сто лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Онъ чувствовалъ себя на какой-то недосягаемой высотѣ, съ которой онъ старательно спускался, чтобы не обидѣть тѣхъ, съ кѣмъ говорилъ. Онъ говорилъ—и не переставая думалъ о женѣ, о подробностяхъ ея теперешняго состоянія, и о сынѣ, къ мысли о существованіи котораго онъ старался пріучить себя. Весь міръ женскій, получившій для него новое, неизвѣстное ему значеніе послѣ того, какъ онъ женился, теперь въ его понятіяхъ поднялся такъ высоко, что онъ не могъ воображеніемъ обнять его. Онъ слушалъ разговоръ о вчерашнемъ обѣдѣ въ клубѣ и думалъ: „Что теперь дѣлается съ ней, заснула ли? Какъ ей? Что она думаетъ? Кричитъ ли сынъ Дмитрій?“ И въ срединѣ разговора, въ срединѣ фразы, онъ вскочилъ и пошелъ изъ комнаты.

— Пришли мнѣ сказать, можно ли къ ней,—сказалъ князь.

— Хорошо, сейчасъ,—отвѣчалъ Левинъ и, не останавливаясь, пошелъ къ ней.

Она не спала и тихо разговаривала съ матерью, дѣлая планы о будущихъ крестинахъ.

Убранная, причесанная, въ нарядномъ чепчикѣ съ чѣмъ-то голубымъ, выпроставъ руки на одѣяло, она лежала на спинѣ, и, встрѣтивъ его взглядомъ, взглядомъ притягивала къ себѣ. Взглядъ ея, и такъ свѣтлый, еще болѣе свѣтлѣлъ по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ ней. На ея лицѣ была та самая перемѣна отъ земного къ неземному, которая бываетъ на лицѣ покойниковъ; но тамъ прощаніе, здѣсь встрѣча. Опять волненіе, подобное тому, какое онъ испытывалъ въ минуту родовъ, подступило ему къ сердцу. Она взяла его руку и спросила, спалъ ли онъ. Онъ не могъ отвѣчать, и отворачивался, убѣдясь въ своей слабости.

— А я забылась, Костя!—сказала она ему.—И мнѣ такъ хорошо теперь.

Она смотрѣла на него, но вдругъ выраженіе ея измѣнилось.

— Дайте мнѣ его,—сказала она, услыхавъ пискъ ребенка.—Дайте, Лизавета Петровна, и онъ посмотритъ.

— Ну вотъ, пускай папа посмотритъ,—сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся.—Постойте, мы прежде уберемся,—и Лизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, однимъ пальцемъ поднимая и переворачивая его, и чѣмъ-то посыпая.

Левинъ, глядя на это крошечное жалкое существо, дѣлалъ тщетныя усилія, чтобы найти въ своей душѣ какіе-нибудь признаки къ нему отеческаго чувства. Онъ чувствовалъ къ нему только гадливость. Но, когда его обнажили, и мелькнули тоненькія-тоненькія ручки, ножки, шафранныя, тоже съ пальчиками, и даже съ большимъ пальцемъ отличающимся отъ другихъ, и когда онъ увидалъ, какъ, точно мягкія пружинки, Лизавета Петровна прижимала эти таращившіяся ручки, заключая ихъ въ полотняныя одежды, на него нашла такая жалость къ этому существу и такой страхъ, что она повредитъ ему, что онъ удержалъ ее за руку.

Лизавета Петровна засмѣялась.

— Не бойтесь, не бойтесь!

Когда ребенокъ былъ убранъ и превращенъ въ твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, какъ бы гордясь своею работой, и отстранилась, чтобы Левинъ могъ видѣть сына во всей его красотѣ.

Кити, не спуская глазъ, косясь смотрѣла туда же.

— Дайте, дайте!—сказала она, и даже поднялась было.

— Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такія движенія! Погодите, я подамъ. Вотъ мы папашѣ покажемся, какіе мы молодцы!

И Лизавета Петровна подняла къ Левину на одной рукѣ (другая только пальцами подпирала качающійся затылокъ) это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже посъ, косившіеся глаза и чмокающія губы.

— Прекрасный ребенокъ!—сказала Лизавета Петровна.

Левинъ съ огорченіемъ вздохнулъ. Этотъ прекрасный ребенокъ внушалъ ему только чувство гадливости и жалости. Это было совсѣмъ не то чувство, котораго онъ ожидалъ.

Онъ отвернулся, пока Лизавета Петровна устраивала его къ непривычной груди.

Вдругъ смѣхъ заставилъ его поднять голову. Это Кити засмѣялась. Ребенокъ взялся за грудь.

— Ну, довольно, довольно!—говорила Лизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Онъ заснулъ на ея рукахъ.

— Посмотри теперь,—сказала Кити, поворачивая къ нему ребенка такъ, чтобы онъ могъ видѣть его. Личико старческое вдругъ еще болѣе сморщилось, и ребенокъ чихнулъ.

Улыбаясь и едва удерживая слезы умиленія, Левинъ поцѣловалъ жену и вышелъ изъ темной комнаты.

Сбѣжавшая больная.

Стонетъ, мечется малютка...
Душно ей, въ подушкахъ жарко —
Вьются тѣни надъ свѣтильней
Догорѣвшаго огарка.

Мама спитъ и, со слезою
На глазу, не замѣчаетъ,
Какъ въ окошко синимъ блескомъ
Ночь таинственно мерцаетъ...

Какъ ея больная дочка
Привстаетъ — глядитъ — не знаетъ,
Ночь ли ей въ окно мигаетъ,
Или дерево киваетъ?

Вотъ она съ своей постельки
Поднялась,—и черезъ сѣни
Пробирается украдкой
Въ сумракъ сада, легче тѣни...

Жаръ, знобитъ, она чуть дышетъ...
Губки сухи, ножки босы;
До локтей висятъ густыя,
Растрепавшіяся косы...

Вотъ она цѣлуетъ розу—
Вотъ, впивая запахъ тонкій,

Жадно ловитъ вѣтвь сирени
Ослабѣвшею рученкой...

И ей кажется, растенья
Ей лепечутъ: „Ты земною
Красотой налюбовалась—
И простись, простись съ землею!..“

И закинувши головку,
Вверхъ глядитъ она, нѣмая;
Видитъ: по небу дорожка
Пролегаетъ золотая...

И плывутъ по той дорожкѣ
Звѣзды съ ясными очами
И мигаютъ ей, и машутъ
Золотыми вѣерами...

И ей кажется, тѣ звѣзды
Ей лепечутъ: „Ты земною
Красотой налюбовалась —
И простись, простись съ землею.

Къ намъ!..“ И звѣзды улыбнулись,
И она имъ улыбнулась,
И лучисто-золотая
Къ ней дорожка протянулась.

И бѣжитъ, бѣжитъ малютка
Къ тѣмъ звѣздамъ по той дорожкѣ
И не чувствуетъ, какъ стынутъ
Подкосившіяся ножки.

И ужъ врядъ ли скажетъ людямъ,
Гдѣ,—куда ушла...
Не дышетъ,
И—какъ мама ищетъ, кличетъ,
Какъ кричитъ надъ ней—не слышитъ.

Я. Полонскій.

Пріемышъ.

(быль).

I.

Пришлось мнѣ какъ-то идти путемъ-дорогой по Заволжью. Ужъ и сторонка! Скучная сторона для того, кто, какъ я, напримѣръ, привыкъ къ простору и раздолью степей и широкихъ распаханныхъ нивъ. Лѣса темные, дремучіе, среди лѣсовъ болотины ржавыя, рѣки по лѣсамъ текутъ бурыя да мутныя. Народъ лѣсной видомъ сумраченъ и непривѣтливъ. А какъ разговоришься да познакомишься—такіе же люди, пожалуй только попроще да подобрѣе...

Солнце клонилось уже къ лѣсамъ, когда, усталый, вышелъ я на небольшую полянку, надъ берегомъ рѣки. На песчаной отмели увидѣлъ я рыбацкій челнокъ „ботничокъ", а у челнока босая дѣвочка лѣтъ восьми возилась съ тяжелымъ для нея весломъ и какими-то еще рыбацкими снарядами. Я остановился невдалекѣ, боясь испугать дѣвочку своимъ внезапнымъ появленіемъ. Робокъ лѣсной народъ, а ужъ дѣтвора,—и говорить нечего. Не разъ приходилось мнѣ, своимъ городскимъ видомъ и одеждой, вспугивать деревенскихъ ребятъ, точно стаи пугливой птицы.

И дѣйствительно, когда дѣвочка повернулась ко мнѣ, ея синіе глаза вдругъ стали круглы, губы опустились книзу, и весло выпало изъ рукъ.

— Не бойся, умница,—сказалъ я помягче.—Я тебѣ дурного не сдѣлаю. Скажи ты мнѣ, какъ ближе пройти въ вашу деревню?

— Э... эвона, деревня-то...

Дѣйствительно, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, я увидѣлъ изъза кустовъ избушки деревни, сверкавшей окнами на вечернемъ солнцѣ.

— А тебѣ кого?—спросила дѣвочка смѣлѣе и съ любопытствомъ.

— Да мнѣ бы, вотъ, переночевать гдѣ-нибудь. Дѣло къ вечеру.

Къ разсказу «Пріемышъ».
Рисунокъ Е. Бэмъ.

Дозв. ценз. Москва, 4 іюля 1892 г.

Тип. И. Д. Сытина и К°.

— Переночевать?.. Ступай къ Дарьѣ Ивановнѣ.

— А гдѣ она?

— Дарья Ивановна-то? Да ты Дарью Ивановну развѣ не знаешь?

— Да я здѣсь не бывалъ никогда...

— Ну, не бывалъ, такъ гдѣ тебѣ и знать. Погоди. Мужикъ ейный, Дарьи Ивановнинъ, тутъ недалече. Тятька, ау! Степанъ Ѳедора-а-ачъ!—крикнула она нараспѣвъ, повернувшись къ рѣкѣ.

— А-а-а-ў!—отозвался откуда-то издалека глухой мужичій голосъ.

— Подь, Степанъ Ѳедара-а-чъ, сюда-ў!

Черезъ минуту на берегу показалась фигура мужика, безъ шапки, съ лохматыми волосами, босого и съ грудою сѣтей на спинѣ. Онъ шелъ, опустивъ голову, покачиваясь, будто сонный, и нѣсколько разъ споткнулся на ходу. Дѣвочка смотрѣла на него веселыми, смѣющимися глазами.

— Вишь, шатаетъ его. Ты, можетъ, подумаешь—пьяный онъ? Нѣтъ, не пьяной, а ночи не спитъ, все на рѣкѣ, на сѣжѣ сидитъ, рыбачитъ. Снялъ у мужиковъ воды въ картома, вотъ тутъ повыше омутовъ. Мамка, Дарья Ивановна, говоритъ: „не снимай“, а онъ не послушался: „сниму“, говоритъ. Пять рублей отдалъ. А рыба, слышь, и не идетъ къ нему... Вотъ онъ и старается...

— Да онъ тебѣ тятька, что ли?—спросилъ я, удивляясь, что она зоветъ мужика то тятькой, то по имени и отчеству.

Дѣвочка не отвѣтила. Въ это время рыбакъ, немолодой, угрюмаго вида, подошелъ уже къ намъ; не скидая сѣтей, онъ остановился, посмотрѣлъ на меня отяжелѣвшими отъ безсонницы глазами и спросилъ:

— Чьи будете?

— Нижегородскій,—отвѣтилъ я.—Мнѣ бы переночевать.

— Можно. Ступай, когда такъ, за мной.

И онъ пошелъ впередъ, все также спотыкаясь на ходу, будто вотъ-вотъ свалится и заснетъ у тропинки.

— Опять ни одной рыбешки не поймалъ,—сказала дѣвочка.—Мотри, свалишься еще...

Мужикъ промолчалъ. Мы вошли въ улицу небольшой де-

ревнюшки. Окна ея смотрѣли на рѣку, а задворки подходили вплоть къ лѣсной опушкѣ.

„Глухой, медвѣжій уголъ“,—подумалъ я невольно, взглядывая на своего суроваго провожатаго.

Хозяйка, Дарья Ивановна, встрѣтила меня, впрочемъ, очень привѣтливо и радушно.

Это была совсѣмъ еще молодая на видъ женщина, съ ласковыми, спокойными пріемами и добрыми, красивыми глазами, въ которыхъ повременамъ, когда она взглядывала на дремотнаго мужика, искрилась лукавая усмѣшка, какъ и у дѣвочки. Степанъ Ѳедорычъ какъ-то уныло усѣлся на лавкѣ и клевалъ носомъ.

— Много ли наловилъ, рыбакъ? —спросила хозяйка и переглянулась съ дѣвочкой; обѣ при этомъ улыбнулись.—Эхъ ты, горе-рыбакъ! Слушался бы меня, лучше было бы.

—Говори!—отвѣтилъ Степанъ угрюмо.—Вотъ пойдетъ изъ омутовъ, поспѣвай только вынимать.

— Неужто опять сидѣть станешь всю ночь?

— Пойти изготовить снасть.

Упрямый мужикъ поднялся и сонно поплелся изъ избы, а хозяйка стала готовить къ ужину. Дѣвочка помогала матери.

— Дочка-то какъ на тебя похожа,—сказалъ я: — только глаза да волосы посвѣтлѣе.

Женщина какъ-то странно улыбнулась и покраснѣла.

— А старикъ—мужъ тебѣ?

Она покраснѣла еще больше, до самыхъ ушей, и даже закрыла лицо широкимъ узорно расшитымъ рукавомъ.

— Мужъ. Да онъ и не старъ еще годами-те противъ меня. Работа да горе!.. Да теперь вотъ суется еще, какъ сонная муха, почитай недѣлю не спитъ, съ рыбой связался... Забота! А пуще всего кручина извела его, какъ сынокъ у насъ померъ. Двадцатый годъ пойдетъ съ филипповокъ, какъ въ сыру землю Мишаньку уложили.

— Двадцатый годъ?—удивился я, глядя на зардѣвшееся румянцемъ моложавое лицо Дарьи Ивановны.

— Да! Мнѣ вѣдь уже сорокъ два года... Никто не вѣритъ... И то еще горе извело. Сколь много слезъ мы пролили... Дѣтей Господь-Батюшка больше не далъ.

— А дѣвочка эта?..

— То-то вотъ, говоришь ты, „похожа!“ А она у меня богоданная, пріемышъ,—сказала Дарья Ивановна, ласково и какъ-то серьезно гладя рукой бѣлокурую головку прильнувшей къ ней дѣвочки. Да все меня, дурушка, мамкой зоветъ, а у ней вѣдь и родная-те мать жива, такъ ту, слышь, долго все „чужой тетей“ звала. Насилу я ее, дурочку, выучила. Грѣхъ вѣдь! Вотъ теперь двѣ мамки у ней. Да и у меня она тоже за двухъ: за дочку да за сыночка, за Мишаньку...

II.

Она вздохнула, и выраженіе глубокой, незабываемой грусти тихо легло на лицо, смѣняя стыдливый румянецъ. Тонкими пальцами загорѣлой, но все же красивой руки она перебирала сборки на рукавѣ прижимавшейся къ ней дѣвочки. Дѣвочка затихла и смотрѣла ей въ лицо, снизу вверхъ, какъ будто и ей интересно было слышать дальнѣйшій разсказъ про умершаго мальчика. Было что-то глубоко захватывающее въ молчаніи матери, посвященномъ любимой тѣни.

— Ужъ и красавчикъ былъ, ужъ и умной! Не я одна скажу,—кто зналъ, всѣ дивились на него. Разговоръ имѣлъ пріятный да степенный, иному взрослому впору, да и то еще кто поумнѣе... Право. Бывало, сторонніе люди зайдутъ, послушаютъ, такъ только головами качали. Если, молъ, Богъ этому младенцу дозволитъ въ возрастъ взойти,—увидятъ отъ него родители себѣ утѣху. Да, вишь, Господь-то Батюшка...

Она низко опустила голову и прижала дѣвочку къ груди, какъ будто въ томъ мѣстѣ у нея заболѣла старая рана...

— Ему, Батюшкѣ, сказываютъ, Самому эдакіе нужны... Какъ во гробикѣ-то лежалъ, ужъ мы плакали, плакали... Потомъ въ пустой-те избѣ—тоже... Ровно свѣтъ изъ дому навѣки ушелъ... Онъ (мужа она все называла въ третьемъ лицѣ)—*онъ* у меня извелся съ той поры,—постарѣлъ, глазами ослабъ... все отъ слезы-те. Днемъ-то, знаешь, стыдно, крѣпится передъ людьми. А ночью и не выдержитъ, и завоетъ... Я за нимъ... Такъ вотъ и шло у насъ все,—пла-

чемъ да тоскуемъ. Ужъ люди и то говорили: „Спокою вы младенцу своему на томъ свѣту не даете; нешто можно этакъ?“ Да что ты подѣлаешь, нѣтъ сердцу укороту нисколько. Пять годовъ прошло, а легче нѣтъ... Только разъ, ночью, вздремнула я маленько,—слышу, кто-то по избѣ прошелъ... Дунуло на меня, повѣяло чѣмъ-то, стала я ни жива, ни мертва. „Миша, родной! Ты что ли это?“. А сердце-те бьется, что пташка подстрѣлена, — вотъ умру, вотъ умру... „Я, говоритъ, мамонька. Пришелъ къ тебѣ, послушай ты меня, что я скажу: не избыть тебѣ грѣшной тоски, не укоротить сердца, не дашь ты и мнѣ спокою-радости, поколь на сердцѣ кого-нибудь не положишь“... „Мишанька, голубчикъ мой, кого жъ мнѣ на сердцѣ положить,—нѣтъ тебя, ненагляднаго соколика... До конца вѣку не избыть мнѣ горюшка“... Сама плачу, руками тянусь, а въ избѣ никогошенько не вижу. Услышалъ тутъ *онъ* у меня.—„Дарья, съ кѣмъ, молъ, баешь?“ Разсказала я ему: „Вотъ съ кѣмъ я баяла, Степанъ Ѳедорычъ“.—„Молись, говоритъ, Богу... Видно и впрямь грѣшно этакъ-то“...

„На утро стали мы вспоминать да умомъ раскидывать. Видно, молъ, надо пріемыша взять,—къ тому рѣчь была Мишанькина, ни къ чему болѣ. По первоначалу-то будто противно подумать, ровно чужому Мишанькино добро отдавать. Потомъ свыклась. Только все съ *нимъ* согласу не было. *Онъ* говоритъ: „мальчика взять“, а я и думать не могу. Ему-то, вишь, лестно, что помощникъ будетъ, а мнѣ какъ вспомнится Миша, такъ всѣ парни опротивѣютъ. Гдѣ же этакому другому быть, какъ онъ былъ? Только сквернословно ругаться да непочтеніе оказывать, на это ихъ возьми. Такъ и шло у насъ все: такъ все примѣриваемъ да споримъ, да тоскуемъ.

„Да, вишь, привелъ Богъ, по-моему вышло... Видно по Мишанькиному заступленію помиловалъ насъ Господь-Батюшка... Этто за рѣкой, въ деревнюшкѣ принесла дѣвка младенца... Согрѣшила бѣдная, да ужъ и муки же приняла: въ семействѣ и прежде у нихъ неладно было,—мачиха лютая и то со свѣту сживала, а тутъ и-и, Боже мой, чего натерпѣлась дѣвонька моя. Извѣстно, мачихи-те рѣдко хорошія жи-

вутъ. По настоящему-то разсудить, такъ можетъ и тотъ дѣвкинъ грѣхъ мачихѣ замаливать надо. Потому что, первое дѣло—ейное несмотрѣніе, второе дѣло: иная дѣвка отъ невзгодья отъ одного, дома-то свѣту-радости не видя, на грѣхъ пойдетъ. Тоже вѣдь—живой человѣкъ, тоже ласки захочетъ. Ну, и повѣритъ наша сестра другому подлецу. А тамъ и плачь всю жизнь, проклинай свою дѣвичью долю, непокрытую, а онъ, хахалчишко, извѣстно, другую дуру обманываетъ... Такъ вотъ и съ ней. Принесла ребеночка, мачиха съ глазъ долой согнала. Въ чужихъ людяхъ жить, самъ знаешь, съ ребенкомъ-те маята, да еще всѣ смѣются, да ото всѣхъ попреки... Бьется, бѣдная, бьется, до того, говоритъ, добилась, что взять младенца на руки да въ омутъ головой и съ ребенкомъ-те.

„Только женщина попалась ей одна изъ нашего села и научила: „вотъ что, говоритъ: Степанъ у насъ Ѳедоровъ съ Дарьей Ивановной больно объ сынѣ тоскуютъ. Попытай имъ отдать младенца. Ежели, говоритъ, судилъ ей Богъ судьбу, то не иначе, что у нихъ судьба эта находится“...

„Ну, вотъ, уѣхалъ мой Степанъ Ѳедоровъ въ лѣсъ, одна я ноченьку ночевала, одна-одинешенька съ тоской со своей. Лежу на полатяхъ; спать не сплю, все думаю. Только слышу,—мимо избы прошелъ кто-то. Слушаю-послушаю, нѣтъ будто никого. Да вдругъ кто-то въ оконце стукнулъ разъ и другой. Подошла я къ окну,—ночь лунная, ясная, на травѣ каждая тебѣ росинка видна, а подъ окномъ никого. Упало у меня сердце,—отошла я отъ окна, къ стѣнкѣ прислонилась. Вдругъ рука опять да по стеклу тихонечко стукъ-стукъ... Я къ окну, гляжу: у стѣнки кто-то жмется, хоронится. Присѣла я на лавку,—Господи, что такое? А сердце-то колотится, ровно въ ту ночь, когда Мишанька приходилъ. Встала я, перекрестилась и говорю: „кто тутъ хоронится? Выходите, коли добрые люди!“ Выходитъ тутъ перво-на-перво наша деревенская старушка къ окну.—„Не бойся, говоритъ, Дарья, не съ худымъ пришли“, а та вся жмется. И вижу я, у той полотенчикомъ на груди ребеночекъ подвязанъ... Господи-Батюшко! Потемнѣло у меня въ глазахъ, ноженьки задрожали, руками за лавку держусь, а то бы упа-

ла. Вспомнила свово Мишаньку, думаю—судьба ко мнѣ идетъ. Замужъ шла,—гдѣ тебѣ: далеко этакого страха не было.

„Подошла наша женщина къ окну; „пусти, говоритъ, Ивановна". — „Пошто, говорю, васъ ночь-полночь въ избу пускать?.." Ну, да сама все-таки дверь отворяю, огня не вздуваючи, только мѣсяцъ полный въ окна свѣтитъ. Переступили онѣ порогъ, а я стою передъ ней, передъ дѣвкой-то, ни жива, ни мертва, ровно казнить-миловать она меня пришла. И стыдно-то мнѣ, и страшно-то, и боюсь,—ну, вдругъ уйдетъ она отъ меня? А младенецъ-то спитъ у ней въ полотенчикѣ, не слышитъ... Ну, женщина наша и говоритъ ей: „кланяйся, дѣвка, въ ноги!.." Поклонилась она мнѣ въ ноги, да у ногъ ребеночка положила, припала къ нему, плачетъ. Подняла я ее, ребеночка принимаю; горитъ у меня въ рукахъ, не знаю — брать, не знаю—не брать... И она-то сама отдаетъ, сама держитъ... И обѣ мы плачемъ...

„Охъ, и помню я, добрые люди, ту ноченьку, мѣсячную, не забыть мнѣ ея будетъ до конца моей жизни...

„На зарѣ ушли онѣ; обмыла я дитю, обрядила, свою рубаху тотчасъ перешила, уложила въ корзиночку, сижу, жду его, Степана-то моего Ѳедоровича. И опять мнѣ, молодой, стыдъ да боязно, да заботушка. Ровно, вотъ, безъ мужа, сама я принесла, право. Вижу: пріѣхалъ, идетъ по крыльцу,—я не встрѣчала, не привѣчала, сижу на лавкѣ. Ребенокъ какъ разъ и скричи...

„— Это, молъ, что такое?

„— Это мальчика, говорю, Богъ тебѣ послалъ, Степанъ Ѳедорычъ...

„Поди вотъ! И зачѣмъ солгала передъ *нимъ* — не знаю, не вѣдаю. А ужъ гдѣ тутъ обмануть,—на минуту одну не обманешь: и рубашонка-то по-женски надвое сшита. Подошелъ онъ къ корзинкѣ, поглядѣлъ...

„— Какой это мальчикъ? Дѣвочку взяла.—Больше ничего не сказалъ...

Она опять замолчала, тихо улыбаясь при воспоминаніи о немъ, о своемъ Степанѣ Ѳедоровичѣ, котораго она переупрямила и хотѣла еще обмануть. Мнѣ вспомнилось суровое лицо хозяина, и теперь оно показалось мнѣ гораздо пріятнѣе.

— Мамка!—тихо спросила дѣвочка, отводя лицо отъ ея груди.

— Что, Марьюшка?

— Это я была дѣвочка-то?

— Ты, ты и была, глупая. Ужъ который разъ спрашиваешь... А ужъ и горя-те, и маяты-те что я съ тобой приняла! Просто не приведи Создатель. Хворая была да скверная, да вся въ струпьяхъ, да все крикомъ кричитъ, бывало, отъ зари до зари. Сердце все, что есть, изболѣло у меня съ нею. Ночь бьешься-бьешься, силушки нѣту.—„Изведешься ты у меня, Дарья,—говоритъ, бывало, Степанъ-то Ѳедорычъ. Не дозволяю тебѣ, говоритъ, этакъ-то изводиться. Завтра же неси ее къ матери“. Ну, тутъ ужъ я молчу, не поперечу. А день придетъ, я опять: „подождемъ еще, что̀ будетъ, что̀ Господь дастъ“. Онъ у меня отходчивъ, Степанъ-отъ Ѳедорычъ,—и махнетъ рукой...

Она помолчала, тихо улыбаясь.

— Сказывалъ мнѣ послѣ старичокъ одинъ. Умный старикъ: „Это, говоритъ, ты такъ понимай, что Господь-Батюшка въ болѣзняхъ младенца—милость къ тебѣ являлъ. Нешто чужая дѣвочка стала бы тебѣ за родного сына, котораго ты подъ сердцемъ носила, ежели бы не переболѣло у тебя изъ-за нея все сердечушко-то заново...“ Пожалуй, и правда это: я ее въ утробѣ не носила, грудью не кормила, такъ зато слезой изошла да сердцемъ переболѣла. Оттого иная и мать не любитъ такъ, что я ее, пріемыша своего, люблю. Этто хворь по дѣтямъ ходила, ударило и ее у меня этой хворью. Ужъ я плакала-плакала... — „Господи-Батюшка!—думаю себѣ,—и отколь у меня столь много слезъ за нее, откуда только льется ихъ такая сила“...

Она смолкла... Дѣвочка тянулась къ ней съ улыбкой баловницы-дочери. За окномъ чирикала какая-то вечерняя пташка, и, казалось, послѣдній лучъ солнца медлилъ уходить изъ избы, золотя бѣлокурую голову ребенка, заливая яркимъ багрянцемъ раскраснѣвшееся лицо поздней красавицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себѣ новое материнство...

III.

Рано утромъ, на слѣдующій день, солнце только еще подымалось надъ лѣсомъ, надъ рѣкой колыхался еще бѣлый туманъ,—когда Дарья провожала меня за околицу, чтобы указать дорогу. Выйдя на вчерашнюю поляну, мы увидѣли Степана. Все такой же сонный, онъ вытаскивалъ на берегъ свой востроносый ботничокъ съ помощью дѣвочки-пріемыша. Увидя насъ, дѣвочка запрыгала на пескѣ и захлопала въ ладоши.

— Погляди, погляди-кось, мамка, сколь онъ рыбы наловилъ. И окуни, и жерехи, и всякія... да какія бо-о-льшущія... Погляди, а ты погляди...

Мы подошли поближе. Дѣйствительно, въ серединѣ ботничка, въ лужѣ воды, прикрытыя сѣтью, бились и плескались, сверкая чешуей, крупныя рыбы.

Дарья слегка нагнулась къ лодкѣ и заглянула туда съ притворной улыбкой пренебреженія, но затѣмъ съ видимымъ удовольствіемъ посмотрѣла на мужа, еще болѣе вчерашняго одержимаго дремотой, но все-таки торжествующаго.

— То-то вотъ! А еще смѣялась все!—сказалъ онъ, ухмыляясь.—Не все вѣдь и по твоему-то выходитъ. Говорю, изъ омутовъ обязана подняться. Вотъ и пошла на зарѣ на самой. Теперь недѣли двѣ все будетъ уловъ...

— Ну-ну! Ступай ужо, выспись!—отвѣтила Дарья ласково:—мы съ Марьюшкой все донесемъ. Ой, да и много же наловилъ, въ самомъ дѣлѣ...

Они втроемъ пошли къ огородамъ, а я отправился дальше своей страннической дорогой.

Этотъ день мнѣ какъ-то легко было пробираться глухими лѣсными тропами.

В. Короленко.

Утро на берегу озера.

Ясно утро. Тихо вѣетъ
Теплый вѣтерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зеленѣетъ;
Въ заревѣ востокъ.

Окаймленное кустами
Молодыхъ ракитъ,
Разноцвѣтными огнями
Озеро блеститъ.

Тишинѣ и солнцу радо,
По равнинѣ водъ
Лебедей ручное стадо
Медленно плыветъ.

Вотъ одинъ взмахнулъ лѣниво
Крыльями,—и вдругъ
Влага брызнула игриво
Жемчугомъ вокругъ.

Привязавъ къ ракитамъ лодку,
Мужички вдвоемъ,
Близъ осоки, втихомолку
Тянутъ сѣть съ трудомъ.

По травѣ, въ рубашкахъ бѣлыхъ,
Скачутъ босикомъ
Два мальченка загорѣлыхъ
На прутахъ верхомъ.

Крупный потъ съ нихъ градомъ льется,
И лицо горитъ;
Звучно смѣхъ ихъ раздается,
Голосокъ звенитъ.

„Ну, катай на перегонки!“
А на шалуновъ
Съ тайной завистью дѣвчонка
Смотритъ изъ кустовъ.

„Тянутъ! тянутъ!“ закричали
Ребятишки вдругъ:

„Вдоволь, чай, теперь поймали
И линей и щукъ“.
Вотъ на берегѣ отлогомъ
Показалась сѣть.
—„Ну, вытряхивай-ка съ Богомъ,—
Нечего глядѣть!“

Такъ сказалъ старикъ высокій,
Весь какъ лунь сѣдой,
Съ грудью выпукло-широкой,
Съ длинной бородой.

Сѣть намокшую подняли
Дружно рыбаки,
На пескѣ затрепетали
Окуни, линьки.

Дѣти весело шумѣли:
„Будетъ на денекъ!“
И на корточки присѣли
Рыбу класть въ мѣшокъ.

„Ты, подкидышъ, къ намъ откуда?
Не зови—придетъ...
Убирайся-ка отсюда!
Не пойдешь,—такъ вотъ!..“

И подкидыша мальчишка
Оттолкнулъ рукой.
—Ну, за что ее ты, Мишка?
Упрекнулъ другой.

„Экій малый уродился,
Говоритъ старикъ:
„Все бъ дрался онъ да бранился,
Экій озорникъ!“

—„Ты бы внука-то маленько
За вихоръ подралъ:
Онъ взялъ волю-то раненько!“
Свату сватъ сказалъ.

—„Эхъ!.. дѣвчонка надоѣла...
Самъ я, знаешь, голъ,

Къ разсказу «Пріемышъ».

Рисунокъ В. Переплетчикова.

Дозв. ценз. Москва, 4 іюля 1892 г.

Тип. И Д. Сытина и К°.

Тутъ подкидыша, безъ дѣла,
Одѣвать изволь.
„Хлѣбъ, смотри, вотъ вздорожаетъ,—
Ты чужихъ корми;
А вѣдь мать, небось, гуляетъ,
Прахъ ее возьми!“
—„Потерпи, чай, не забудетъ
За добро Господь!
Вѣдь она работать будетъ,
Богъ дастъ, подростетъ“.
— Такъ-то такъ, вѣстимо, надо
Къ дѣлу пріучить;
Да теперь беретъ досада
Безъ толку кормить.
„И дѣвчонка-то больная,
Сохнетъ, какъ трава,
Да все плачетъ... дрянь такая!
А на грѣхъ жива!“
Мужики потолковали
И въ село пошли;
Вслѣдъ мальчишки побѣжали,
Рыбу понесли;
А дѣвчонка провожала
Грустнымъ взглядомъ ихъ,
И слеза у ней дрожала
Въ глазкахъ голубыхъ.

И. Никитинъ.

Воровской сынъ.

Давно въ ~~этомъ~~ городѣ жили-были три вора, городъ нашъ издавна своимъ воровствомъ славится и въ пословицахъ поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую въ бога-

томъ купеческомъ домѣ. А кладовая была каменная и оконъ внизу въ ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, подъ самою крышею; до этого оконца никакъ нельзя было долѣзть безъ лѣстницы, да если и долѣзешь, то нельзя было въ него просунуться, потому что никакъ взрослому человѣку въ крохотное окно не протиснуться.

А воры, какъ намѣтили этого купца обокрасть, такъ ужъ отъ своей затѣи не отстаютъ, потому что тутъ имъ было изъ-за чего потрудиться: въ кладовой было множество всякаго добра—и лѣтней одежды и мѣховыхъ шапокъ и шубъ, и подушекъ пуховыхъ, и холста и суконъ, всего набито отъ потолка до самаго полу... Какъ смѣлому вору такое дѣло бросить?

Вотъ воры и придумали смѣлую штуку.

Одинъ воръ, безсемейный, говоритъ другому семейному:

— Я хорошее средство придумалъ: у тебя есть сынишка пяти годовъ, онъ еще маленькій и тѣльцемъ мягокъ, онъ въ это окно можетъ протиснуться. Если мы его съ собой возьмемъ, мы съ нимъ можемъ все это дѣло обдѣйствовать. Уведи ты мальчишку отъ матери и приведи съ собою подъ самое Рождество, скажи, что пойдешь помолиться къ заутренѣ, да и пойдемъ всѣ вмѣстѣ дѣйствовать. А какъ придемъ, то одинъ изъ насъ станетъ внизу, а другой влѣзетъ этому на плечи, а третій этому второму на плечи станетъ и такой столбъ сдѣлаемъ, что безъ лѣстницы до окна достанемъ, а твоего мальченку опоясемъ крѣпко веревкою и дадимъ ему скрытный фонарь съ огнемъ да и спустимъ его чрезъ окно въ средину кладовой. Пусть онъ тамъ оглядится и распояшется, и пусть отбираетъ все самое лучшее, и въ петлю на веревку завязываетъ, а мы станемъ таскать, да все и повытаскаемъ, а потомъ дитя само подпояшется,—мы и его назадъ вытащимъ и подѣлимъ все на три доли съ половиною: намъ двоимъ поровну, а тебѣ съ младенцемъ противъ насъ полторы доли, и отъ насъ ему сладкихъ закусочекъ, — пускай отрокъ радуется и къ ремеслу заохотится.

Отецъ-то воръ,—хорошъ видно былъ,—не отказался отъ этого, а согласился; и какъ пришелъ вечеръ сочельника, онъ и говоритъ женѣ:

— Я нонѣ обѣщался сходить въ монастырь ко всенощной, тамъ благолѣпное пѣніе, — собери со мной паренька. Я его съ собой возьму, пусть хорошее пѣніе послушаетъ.

Жена согласилася и отпустила парня съ отцомъ. А тогда всѣ три вора въ монастырь не пошли, а сошлись въ кабакѣ за московскою заставою и начали пить водку и пиво умѣренно; а дитя положили въ уголкѣ, на полу, чтобы немножечко выспалось: а какъ ночь загустѣла, и цѣловальникъ сталъ на засовъ кабакъ запирать, они всѣ встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка съ собой повели, да все, что затѣвали, то все и сдѣлали. И вышло это у нихъ сначала такъ ловко, что лучше не надо требовать: мальченко оказался такой смышленый и ловкій, что вдругъ въ кладовой осмотрѣлся и быстро цѣпляетъ имъ въ петлю самыя подходящія вещи, а они все вытаскиваютъ и, наконецъ, столько всякаго добра натаскали, что видятъ, имъ втроемъ уже и унесть нельзя. Значитъ, и воровать больше не для чего.

Тогда нижній говоритъ середнему, а средній тому, который на верху стоитъ:

— Довольно, братцы, намъ на себѣ больше не снесть. Скажи парню, чтобы онъ опоясался веревкою, и потянемъ его вонъ наружу.

Верхній воръ, который у двухъ на плечахъ стоялъ, и шепчетъ въ окно мальчику:

— Довольно, братъ, больше не надобно... Теперь самъ себя крѣпче подпояшь, да и руками за поясъ держись, а мы тебя вверхъ потянемъ.

Мальчикъ опоясался, а они стали его тащить и уже до самаго верха почти вытащили, какъ вдругъ, чего они впотьмахъ не замѣтили, веревка-то отъ многихъ подачъ о края кирпичной кладки общипалась и вдругъ лопнула такъ, что мальчишка назадъ въ обворованную кладовую упалъ, а воры отъ этой неожиданности, потерявши равновѣсіе, и сами попадали... Сразу сдѣлался шумъ, и на дворѣ у купца заметались цѣпныя собаки и подняли страшный лай... Сейчасъ всѣ люди проснутся и выскочутъ, и тогда, разумѣется, ворамъ гибель. Къ тому же какъ разъ сближалося время, что люди станутъ вставать и пойдутъ къ заутренѣ и тогда непремѣнно воровъ изловятъ съ поликою.

Воры схватили, кто что успѣлъ зацѣпить, и бросились наутекъ, а въ купеческомъ домѣ всѣ вскочили и пошли бѣгать съ фонарями, и явились въ кладовую. И какъ вошли сюда, такъ и видятъ, что въ кладовой безпорядокъ и что очень много покрадено, а на полу мальчикъ сидитъ, сильно расшибленный, и плачетъ.

Разумѣется, купеческіе молодцы догадались въ чемъ дѣло и бросились подъ окно на улицу и нашли тамъ почти все вытащенное добро въ цѣлости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести съ собой...

И стали всѣ суетиться и кричать, что теперь сдѣлать: давать ли знать о томъ, что случилось, въ полицію или самимъ гнаться за ворами? А гнаться впотьмахъ-то, не знать въ какую сторону, да и страшно, потому что воры, вѣдь, небось на всякій случай съ оружіемъ, и впотьмахъ убьютъ человѣка, какъ курицу. У насъ въ городѣ воры ученые,— шапки по вечерамъ выходили снимать—и то не съ пустыми руками, а съ такой инструмѐнтиной вродѣ щипцовъ съ петелькою, называлась „кобылкою“ (Объ ней въ „Шуйскихъ памятяхъ“ писано). А купецъ, у котораго покражу сдѣлали, отличный человѣкъ былъ: умный, добрый и разсудительный, и христіанинъ; онъ и говоритъ своимъ молодцамъ:

— Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти въ цѣлости, а изъ-за пустака и гнаться не стоитъ.

А молодцы говорятъ:

— То и есть правда, намъ Господь дитя на уличенье злодѣевъ оставилъ. Это перстъ видимый: по немъ все укажется, какихъ онъ родителей, тогда все и объявится.

А купецъ говоритъ:

— Нѣтъ, не такъ: дитя, молодая душа, неповинная,—онъ не добромъ въ соблазнъ введенъ, его выдать не надобно, а прибрать его надобно, не обижайте дитя и не трогайте: дитя — Божій посолъ, его надо согрѣть и принять какъ для Господа. Видите вонъ онъ какой... познабившись весь, да и трясется, весь испуганный. Не надо его ни о чемъ и разспрашивать. Это не христіанское дѣло совсѣмъ, чтобы дитя ставить противъ отца за доказчика... Богъ съ нимъ совсѣмъ,

что у меня пропало; они меня совсѣмъ еще не обидѣли, а это дитя ко мнѣ Богъ привелъ, вы и молчите, можетъ оно у меня и останется.

Итакъ, всѣ стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходилъ, и онъ у купца и остался, и купецъ его началъ держать какъ свое дитя и пріучать къ дѣлу. А какъ онъ имѣлъ добрую душу и справедливую, то и дитя воспиталъ въ добромъ духѣ, и вышелъ изъ мальчика прекрасный, умный молодецъ, и всѣ его въ домѣ любили.

А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, какъ вмѣстѣ росла съ воровскимъ сыномъ, то съ нимъ и слюбилась. И стало это всѣмъ видимо. Тогда купецъ сказалъ своей женѣ:

— Слушай, пожалуйста, дочь наша доспѣла такихъ лѣтъ, что пора ей съ кѣмъ-нибудь вѣнецъ принять, а для чего мы ей станемъ на сторонѣ жениха искать? Это, вѣдь, дѣло серьезное, особливо какъ мы люди съ достаткомъ, и всѣ будутъ думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдетъ со всѣхъ сторонъ столько вранья и притворства, что и слушать противно будетъ.

Жена отвѣчаетъ:

— Это правда, такъ всегда уже водится.

— То-то и есть,—говоритъ купецъ:—еще навернется какой-нибудь криводушникъ да прикинется добрымъ, а въ душѣ совсѣмъ не таковъ выйдетъ. Въ человѣка не влѣзешь вѣдь: загубимъ, вѣдь, мы дѣвку какъ ясочку, и будемъ потомъ и себя корить, ее жалѣть, да безъ помощи. Нѣтъ, давай-ка устроимъ степеннѣе.

— Какъ же такъ?—говоритъ жена.

— А вотъ мы какъ дѣло-то сдѣлаемъ: обвѣнчаемъ-ка дочку съ нашимъ пріемышемъ. Онъ у насъ доморощенный парень, вѣдомый, да и дочь, что грѣха таить, вся она къ нему пала по всѣмъ мыслямъ. Повѣнчаемъ ихъ и не скаемся.

Согласились такъ и повѣнчали молодыхъ; а старики дожили свой вѣкъ и умерли, а молодые все жили и тоже дѣтей нажили и сами тоже состарѣлись. А жили все въ почетѣ и въ счастіи, а тутъ и новые суды пришли, и дове-

лось этому пріемышу, тогда уже старику, сѣсть съ присяжными, и начали при немъ въ самый первый случай судить вора. Онъ и затрепеталъ, и сидитъ—слушаетъ, а самъ то блѣднѣетъ, то краснѣетъ, и вдругъ глаза закрылъ, а изъподъ вѣкъ у него побѣжали по щекамъ слезы, а изъ старой груди на весь залъ раздались рыданія.

Предсѣдатель суда спрашиваетъ:

— Скажите, что съ вами?

А онъ отвѣчаетъ:

— Отпустите меня,—я не могу людей судить.

— Почему? — говорятъ: — это круговой законъ: правымъ должно судить виноватаго.

А онъ отвѣчаетъ:

— А вотъ то-то и есть, что я самъ не правъ, а я самъ несудимый воръ и умоляю, дозвольте мнѣ предъ всѣми вину сознать.

Тутъ его сочли въ возбужденіи и каяться ему не дозволили, а онъ послѣ самъ разсказалъ достойнымъ людямъ эту исторію, какъ въ дѣтствѣ на веревкѣ въ кладовую спускался и пойманъ былъ и помилованъ и остался какъ сынъ у своего благодѣтеля, и всѣхъ это его покаяніе тронуло, и никого во всемъ городѣ не нашлось, кто бы рѣшился укорить его прошлою неосужденною виною,—всѣ къ нему относились съ почтеньемъ попрежнему, какъ онъ своею доброю жизнью заслуживалъ.

Н. Лѣсковъ.

Женщина.

(Отрывки).

Жизнь мало мнѣ дала отрадныхъ впечатлѣній,
И въ прошломъ не на чемъ мнѣ взоръ остановить;
Жизнь одиночества, жизнь горя и сомнѣній...
Что пожалѣть мнѣ въ ней и что благословить?
Но, нищій радостью, я былъ богатъ мечтами:
Съ младенчества, въ часы медлительныхъ ночей,
Сверкая надо мной безшумными крылами,

Онѣ являлись мнѣ и сыпали цвѣтами
На ложе думъ моихъ, томленья и скорбей...
То были странныя, не дѣтскія мечтанья:
Не снилась слава мнѣ за подвиги войны,
И строй стальныхъ дружинъ въ пылу завоеванья
Я не бросалъ за грань враждебной стороны;
Въ одеждѣ странника и съ лютней за плечами
Изъ замка въ замокъ я безпечно не бродилъ;
И къ чуднымъ берегамъ за бурными волнами,
Сквозь мглу ночной грозы, корабль не проводилъ;
Я царской дочери, томившейся въ темницѣ,
Отъ злобы темныхъ силъ отважно не спасалъ;
У старой яблони не сторожилъ жаръ-птицы,
Ключей живой воды по свѣту не искалъ.
Мой міръ — былъ міръ иной,—не міръ волшебной сказки
И первыхъ дѣтскихъ книгъ,—въ полуночной тиши
Онъ созданъ былъ въ груди безумной жаждой ласки,
Онъ выросъ и расцвѣлъ изъ слезъ моей души!..

. . . . . .

И помню, снилось мнѣ, что, сладко отдыхая,
Лежу въ истомѣ я, глаза полузакрывъ...
Уютно въ комнатѣ... едва горитъ, мерцая,
Лампады блѣдный свѣтъ, кіотъ озолотивъ.
Докучныхъ школьныхъ стѣнъ нѣтъ больше предо мною,
Затихъ безпечный смѣхъ рѣзвящихся дѣтей, —
Я дома, я въ семьѣ,—и нѣжною рукою
Мать разбираетъ шелкъ густыхъ моихъ кудрей...
Угасла рано ты; мои воспоминанья
Не сберегли въ груди твой образъ молодой;
Но въ годы черныхъ думъ, тоски и испытанья
Я создалъ вновь его болѣзненной мечтой...
Вложивъ въ уста твои ласкающія рѣчи,
Вложивъ огонь любви во взглядъ твоихъ очей,
Я каждой ночи ждалъ, какъ благодатной встрѣчи,
Я призракъ полюбилъ всей силою моей...

. . . . . .

Мнѣ снится женщина... Прекрасныя черты
Мнѣ смутно памятны, какъ будто ихъ когда-то

Я видѣлъ и любилъ; но этой красоты,
Но взгляда этого, горящаго такъ свято
И вмѣстѣ ласково,—о, я его не зналъ!
Ихъ не могла создать земля,—въ нихъ отблескъ рая,
Въ нихъ кроткій свѣтъ небесъ таился и сіялъ,
Лучами чистыми всю душу проникая...
Лазурный, звѣздный взглядъ!.. Все ближе надо мной
Мерцаетъ онъ... Она прильнула къ изголовью,
И говоритъ со мной,—и голосъ молодой
Звучитъ безумною, горячею любовью,
Звенитъ слезами и тоской...

. . . . . .

Проклятье вамъ, мои младенческіе годы:
За мертвой книгою, за школьною стѣной,
Прошли вы безъ любви, безъ дружбы, безъ свободы,
Не мирнымъ праздникомъ, а тяжкою грозой...
Благословенье вамъ, младенческія грезы:
Вы честный путь пѣвца открыли предо мной;
Въ минуты черныхъ думъ—вы мнѣ дарили слезы,
Въ часы безсонницы—дарили мнѣ покой!..

. . . . . .

Росъ одиноко я... Меня не ограждала
Отъ раннихъ грозъ и бурь заботливость семьи,
Матьза меня колѣнъ въ молитвѣ не склоняла,
И няня передъ сномъ мнѣ кротко не шептала,
Крестя чело мое, горячихъ словъ любви...

. . . . . .

И помню церковь я, залитую огнями,
И помню мать мою. Съ безжизненнымъ челомъ,
Съ устами блѣдными и впавшими очами
Мать спитъ въ гробу своемъ, увитая цвѣтами,
А мы стоимъ вокругъ, въ молчаніи нѣмомъ.
Сестренку за руку я крѣпко взялъ рукою...
Отъ траура вдвойнѣ печальна и блѣдна,
Ко мнѣ довѣрчиво прижалася она
И смотритъ на меня съ недѣтскою тоскою.
Намъ страшно... Намъ страшна и эта тишина,
И мрачныя въ углахъ сгустившіяся тѣни,

И ризы черныя, и черныя ступени,
И мать въ своемъ гробу, нѣма и холодна...
Намъ хочется туда—на воздухъ, гдѣ синѣя
Раскинутъ небосклонъ и рѣютъ облака,
Гдѣ такъ густа въ саду душистая аллея,
Такъ прихотливъ узоръ на крыльяхъ мотылька...
Гдѣ вкругъ черемухи опавшими цвѣтами,
Какъ снѣгомъ утреннимъ, осыпана земля,
И вдаль поля бѣгутъ, и даль слилась съ полями,
И всѣ въ цвѣтахъ они, нарядныя поля..
Но мы бѣжать туда не смѣемъ и, не зная
Къ чему мы здѣсь—въ толпѣ суровой и чужой,
Внимаемъ мы, какъ хоръ, гремя и угасая,
Торжественно звучитъ послѣднею мольбой...
И сердце сжалось въ насъ, мы плачемъ, и впервые
Такъ трудно вѣрить намъ, такъ больно намъ сознать,
Что мы для всѣхъ вокругъ—ненужные, чужіе,
И ты, ты не придешь опять насъ приласкать!

. . . . . .

И вотъ мы въ городѣ .. Прощай на много лѣтъ,
Родной глуши моей приволье и свобода!..
Какъ скупо солнце здѣсь струитъ минутный свѣтъ,
Какъ здѣсь блѣдна она, печальная природа!..
Жизнь по чужимъ угламъ, подачки свысока,
Неволя школьная, осмѣянныя слезы,
И одиночество, боль сердца и тоска,
И грезы, странныя, болѣзненныя грезы...
И въ грезахъ снова ты... Но какъ ты хороша,
Какъ дивно хороша!.. Какъ нѣжно къ изголовью
Прильнула ты!.. Какой небесною любовью
Горитъ въ очахъ твоихъ небесная душа!
Родная... милая!.. Побудь еще со мною,
Дай ласку мнѣ узнать хоть въ грезѣ, хоть во снѣ!
И слышу голосъ я,—какъ арфа надо мною
Звучитъ онъ трепетно въ полночной тишинѣ:

„Подъ радостнымъ небомъ далекаго рая,
Въ сіяньи небеснаго дня,

Я слышу, какъ въ мірѣ, томясь и страдая,
Печально зовешь ты меня...

„Твой зовъ безотвѣтный и дѣтскія слезы
И жгутъ, и терзаютъ мнѣ грудь,
И мчусь я на землю, чтобъ въ обликѣ грезы
Къ знакомой кроваткѣ прильнуть...

„Мой мальчикъ, не плачь, не томися тоскою,
Прочь, черная мысль, отъ чела...
Усталому сыну изъ рая съ собою
Я райскіе сны принесла...

. . . . . .

„Меня не знаешь ты—я призракъ, я созданье
Фантазіи твоей,
Я—плачъ твой о любви, въ невѣрномъ одѣяньи
Ночныхъ полутѣней.
И чуть забрежжитъ день холодными лучами,
Я скроюсь вновь;
Но ты мнѣ жизнь вдохнулъ горячими слезами
И съ ней вдохнулъ любовь!..

„Дитя мое... Мой сынъ больной и одинокій,
Мой мальчикъ дорогой,
О, какъ бездушенъ онъ, вашъ жалкій, вашъ жестокій,
Вашъ нищій чувствомъ міръ земной!
И такъ довольно въ немъ печали и страданья,
И такъ довольно въ немъ и жертвъ и палачей;
Къ чему жъ ему еще безвинныя страданья
Дѣтей измученныхъ, безпомощныхъ дѣтей?

„Усни, о бѣдный мой!.. Я здѣсь, я надъ тобою,
Прочь, мысли черныя, отъ знойнаго чела.
Я рай забвенія несу тебѣ съ собою,
Я сны блаженные съ собою принесла.
Усни—такъ сладко спать подъ звуки нѣжной ласки,
А я, я предъ тобой широко разверну
Узоръ сверкающей, благоуханной сказки
И унесу тебя въ волшебную страну“...

С. Надсонъ.

Бабушка.

(Изъ поэмы „Семья“ Д. Мережковскаго).

Но приступить давно пора къ моей задачѣ.
Хотѣлъ я описать, безъ вымысла, одну
Семью, съ которой жилъ я нѣкогда на дачѣ,
Въ деревнѣ подъ Москвой. Я съ бабушки начну.
Когда-то и она хозяйкой домовитой
И матерью была, и любящей женой;
Теперь, чужая всѣмъ, она въ семьѣ родной,
Какъ призракъ дней былыхъ, живетъ почти забытой.
Есть что-то строгое въ чертахъ, какъ будто слѣдъ
Невзгодъ пережитыхъ; она одѣта просто;
Согнувшись, сгорбившись—почти такого роста,
Какъ внучка младшая—одиннадцати лѣтъ.
Не помнитъ бабушка, что̀ было съ ней—ни муки,
Ни радости: она какъ въ полуснѣ живетъ.
Сидитъ на сундучкѣ и цѣлый день отъ скуки
Ѣстъ кашку манную, да чай въ прикуску пьетъ;
Порой по комнатамъ чего-то ищетъ, бродитъ,
Храня заботливый и недовольный видъ,
И, думая что въ дверь отворенную входитъ,
У отпертыхъ шкафовъ задумчиво стоитъ.
„Куда вы, бабушка?“—кричатъ ей, но слѣпая
Предметъ ощупаетъ тихонько, не спѣша,
Потомъ уйдетъ, вздохнувъ, платокъ перебирая
Худыми пальцами и туфлями шурша.
И пахнетъ табачкомъ отъ кацавейки длинной,
Отъ рукъ морщинистыхъ,—такъ пахнетъ иногда
Въ шкатулкахъ дѣдовскихъ, гдѣ многіе года
Таится ароматъ подъ крышкою старинной...
Порою бѣдная, поднявъ упорно взглядъ,
Рѣчамъ живыхъ людей съ усильемъ долго внемлетъ,
Ей хочется понять, но скажетъ невпопадъ
И вновь беззубымъ ртомъ жуетъ и будто дремлетъ.
Какъ малое дитя, она глядитъ на всѣхъ

Съ недоумѣніемъ и робостью послушной,
И у нея такой безсильный, добрый смѣхъ,
Просящій жалости, какъ будто простодушно
Старушка надъ собой смѣется, и порой
Я думаю: зачѣмъ жила она, любила,
Страдала? Гдѣ же цѣль всей жизни прожитой?
И вотъ что̀ всѣхъ насъ ждетъ, а впереди—могила.
Осталось ей одно: съ корзинкою грибовъ,
Бывало, дѣвочки усталыя вернутся.
„Гдѣ, родненькія, гдѣ?..“—на звукъ ихъ голосовъ
Слѣпая ощупью бредетъ. Онѣ смѣются,
Обнявъ ее... Едва ихъ голосъ прозвенѣлъ,
Старушка ожила, и взоръ не такъ печаленъ,
Какъ будто золотой лучъ солнца заблестѣлъ
На сумрачныхъ камняхъ покинутыхъ развалинъ...
Въ слѣпые, бѣдные глаза, въ беззубый ротъ
Губами свѣжими ее цѣлуютъ внучки,—
Веселью нѣтъ конца,—и маленькія ручки
Въ дрожащую ладонь, смѣясь, она беретъ.
И рядомъ съ желтою, пергаментною кожей
Поблекшаго лица лукавый блескъ въ очахъ,
И смѣхъ, и ямочки на розовыхъ щекахъ
Мнѣ кажутся еще прекраснѣй и моложе.
И кротко свѣтится безсмертная любовь
Въ глазахъ у бабушки. Такъ вотъ чего могила
У насъ не можетъ взять!.. И мнѣ понятно вновь,
Зачѣмъ она жила, зачѣмъ она любила.

Зимняя ночь въ деревнѣ.

Весело сіяетъ
Мѣсяцъ надъ селомъ;
Бѣлый снѣгъ сверкаетъ
Синимъ огонькомъ.
Мѣсяца лучами
Божій храмъ облитъ;
Крестъ подъ облаками,
Какъ свѣча, горитъ.
Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.

Тишина нѣмая
Въ улицахъ пустыхъ,
И не слышно лая
Псовъ сторожевыхъ.
Помоляся Богу,
Спитъ крестьянскій людъ,
Позабывъ тревогу
И тяжелый трудъ.
Лишь въ одной избушкѣ
Огонекъ горитъ:
Бѣдная старушка
Тамъ больна лежитъ.
Думаетъ—гадаетъ
Про своихъ сиротъ:
Кто ихъ приласкаетъ,
Какъ она умретъ!
Горемыки-дѣтки,
Долго ли до бѣдъ!
Оба малолѣтки,
Разуму въ нихъ нѣтъ;
Какъ начнутъ шататься
По дворамъ чужимъ,—
Долго ли связаться
Съ человѣкомъ злымъ!..
А ужъ тутъ дорога
Не къ добру лежитъ:
Позабудутъ Бога,
Потеряютъ стыдъ.
Господи, помилуй
Горемыкъ сиротъ,
Дай имъ разумъ, силу,
Будь Ты имъ оплотъ!..

И въ лампадкѣ мѣдной
Теплится огонь,
Освѣщая блѣдно
Ликъ святыхъ иконъ,
И черты старушки,
Полныя заботъ,
И въ углу избушки
Дремлющихъ сиротъ.
Вотъ пѣтухъ безсонный
Гдѣ-то закричалъ;
Полночи спокойной
Долгій часъ насталъ.
И, Богъ вѣсть, отколѣ
Пѣсенникъ лихой
Вдругъ промчался въ полѣ
Съ тройкой удалой,
И въ морозной дали
Тихо потонулъ
И напѣвъ печали
И тоски разгулъ.

И. Никитинъ.

Мать.

„Бѣдный мальчикъ! весь въ огнѣ,
Все ему неловко! —
Лягъ на плечико ко мнѣ,
Прислонись головкой!

Я съ тобою похожу...
Подремли, мой мальчикъ,
Хочешь, сказочку скажу:
Жилъ-былъ мальчикъ съ пальчикъ...
Нѣтъ! не хочешь?.. сказки—вздоръ!
Пѣсня лучше будетъ...
Зашумѣлъ сыръ-темень боръ,
Лисъ лисичку будитъ,
Во сыромъ-темномъ бору...
Задремалъ мой крошка...
...Я малинки наберу
Полное лукошко...
Во сыромъ-темномъ бору...
Тише! засыпаетъ...
Словно птенчикъ, все въ жару
Губки открываетъ...
„*Во сыромъ бору*“ поетъ
Мать, и ходитъ, ходитъ...
Тихо, долго ночь идетъ...
Ночь ужъ день выводитъ—
Мать поетъ... рука у ней
Затекла, устала,
И не разъ слезу съ очей
Бѣдная роняла...
И едва дитя, въ жару
Вздрогнувъ, встрепенется—
„*Во сыромъ-темномъ бору*“
Снова раздается...
Отклони ударъ, уйди,
Смерть, съ своей косою!
Мать дитя съ своей груди
Не отдастъ безъ бою!
Заслонитъ, средь всѣхъ тревогъ.
Всей душой своею,
Жизни чудный огонекъ,
Что затепленъ ею!
И едва онъ засвѣтилъ,—
Вдругъ ей ясно стало

Что̀ любви, что̀ чудныхъ силъ
Сердце въ ней скрывало!..

А. Майковъ.

Мертвое дитя.

Ночь; въ углу свѣча горитъ:
Никого нѣтъ,—жутко;
Предъ иконою лежитъ
Въ гробикѣ малютка.
И лежитъ онъ, точно спитъ
Въ томъ гробочкѣ, птенчикъ,
И живыхъ цвѣтовъ лежитъ
На головкѣ вѣнчикъ.
Ручки сложены крестомъ,
Спитъ дитя съ улыбкой,
Точно въ гробикѣ онъ томъ
Положенъ ошибкой.
Няня старая дитя
Будто укачала;
Вмѣсто люльки, да шутя
Въ гробикъ спать уклала.
Хорошо ему лежать,—
Въ гробикѣ уютно.
Горя онъ не будетъ знать,
Гость земли минутный.
Не узнаетъ никогда,
Свѣтлый житель рая,
Какъ слезами залита
Наша жизнь земная.

И. Суриковъ.

Мать и дѣти.

„Что ты, мама, безпрестанно
О сестрицѣ все твердишь?
Въ лучшемъ мірѣ наша Лиза—
Ты сама намъ говоришь“.

— Ахъ, я знаю, въ лучшемъ мірѣ!
Но въ томъ мірѣ нѣтъ луговъ,
Ни цвѣтовъ, ни травъ душистыхъ,
Ни веселыхъ мотыльковъ.

„Мама, мама! въ Божьемъ небѣ
Божьи ангелы поютъ,
Ходятъ розовыя зори,
Ночи звѣздныя плывутъ“.

— Но у бѣдной нѣтъ тамъ мамы,
Кто смотрѣлъ бы изъ окна,
Какъ съ цвѣтами, съ мотыльками
Въ полѣ рѣзвится она!

А. Майковъ.

Смерть матери.

(Изъ „Дѣтства“ Л. Н. Толстого).

25-го апрѣля мы выходили изъ дорожной коляски, у крыльца петровскаго дома. Выѣзжая изъ Москвы, папа былъ задумчивъ, и когда Володя спросилъ у него:—не больна ли maman?—онъ съ грустью посмотрѣлъ на него и молча кивнулъ головой. Во время путешествія онъ замѣтно успокоился; но, по мѣрѣ приближенія къ дому, лицо его все болѣе и болѣе принимало печальное выраженіе, и когда, выходя изъ коляски, онъ спросилъ у выбѣжавшаго, запыхавшагося Фоки:—

Гдѣ Наталья Николаевна?—голосъ его былъ не твердъ и въ глазахъ были слезы.

Добрый старикъ Фока, украдкой взглянувъ на насъ, опустилъ глаза и, отворяя дверь въ переднюю, отвернувшись, отвѣчалъ:

— Шестой день ужъ не изволили выходить изъ спальни.

Милка, которая, какъ я послѣ узналъ, съ самаго того дня, въ который занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась къ отцу, прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но онъ оттолкнулъ ее и прошелъ въ гостиную, оттуда въ диванную, изъ которой дверь вела прямо въ спальню. Чѣмъ ближе подходилъ онъ къ этой комнатѣ, тѣмъ болѣе, по всѣмъ тѣлодвиженіямъ, было замѣтно его безпокойство: войдя въ диванную, онъ шелъ на цыпочкахъ, едва переводилъ дыханіе и перекрестился, прежде чѣмъ рѣшился взяться за замокъ затворенной двери. Въ это время изъ корридора выбѣжала нечесаная, заплаканная Мими.

— Ахъ! Петръ Александровичъ!—сказала она шопотомъ, съ выраженіемъ истиннаго отчаянія, и потомъ, замѣтивъ что папа поворачиваетъ ручку замка, она прибавила чуть слышно:—здѣсь нельзя пройти,—ходъ изъ дверей.

О какъ тяжело все это дѣйствовало на мое настроенное къ горю, страшнымъ предчувствіемъ, дѣтское воображеніе!

Мы пошли въ дѣвичью; въ корридорѣ попался намъ на дорогѣ дурачокъ Акимъ, который всегда забавлялъ насъ своими гримасами; но въ эту минуту не только онъ мнѣ не казался смѣшнымъ, но ничто такъ больно не поразило меня, какъ видъ его безсмысленно-равнодушнаго лица. Въ дѣвичьей двѣ дѣвушки, которыя сидѣли за какою-то работой, привстали, чтобы поклониться намъ, съ такимъ печальнымъ выраженіемъ, что мнѣ сдѣлалось страшно. Пройдя еще комнату Мими, папа отворилъ дверь спальни, и мы вошли. Направо отъ двери были два окна, завѣшанныя платками; у одного изъ нихъ сидѣла Наталья Савишна, съ очками на носу, и вязала чулокъ. Она не стала цѣловать насъ, какъ то обыкновенно дѣлывала, а только привстала, посмотрѣла на насъ черезъ очки,—и слезы потекли у нея градомъ. Мнѣ очень не понравилось, что всѣ при первомъ взглядѣ на насъ начинаютъ плакать, тогда какъ прежде были совершенно спокойны.

Я былъ въ сильномъ горѣ въ эту минуту, но невольно замѣчалъ всѣ мелочи. Въ комнатѣ было почти темно, жарко, и пахло вмѣстѣ мятой, одеколономъ, ромашкой и гофманскими каплями. Запахъ этотъ такъ поразилъ меня, что не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о немъ, воображеніе мгновенно переноситъ меня въ эту мрачную, душную комнату и воспроизводитъ всѣ мельчайшія подробности ужасной минуты.

Глаза maman были открыты, но она ничего не видѣла... О, никогда не забуду я этого страшнаго взгляда: въ немъ выражалось столько страданія!

Насъ увели. Когда я потомъ спрашивалъ у Натальи Савишны о послѣднихъ минутахъ матушки, вотъ что она мнѣ сказала:

— Когда васъ увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вотъ здѣсь ее давило что-то; потомъ спустила головку съ подушекъ и задремала, такъ тихо, спокойно, точно ангелъ небесный. Только я вышла посмотрѣть, что питье не несутъ—прихожу, а ужъ она, моя сердечная, все вокругъ себя раскидала, и все манитъ къ себѣ вашего папеньку; тотъ нагнется къ ней, а ужъ силъ, видно, недостаетъ сказать, что хотѣлось,—только откроетъ губки и опять начнетъ охать: „Боже мой! Господи! дѣтей! дѣтей!“ Я хотѣла было за вами бѣжать, да Иванъ Васильичъ остановилъ, говоритъ: „Это хуже встревожитъ ее, лучше не надо“. Послѣ ужъ только подниметъ ручку и опять опуститъ. И что она этимъ хотѣла, Богъ ее знаетъ! Я такъ думаю, что это она васъ заочно благословила; да видно не привелъ ее Господь предъ послѣднимъ концомъ взглянуть на своихъ дѣточекъ. Потомъ она приподнялась, моя голубушка, сдѣлала вотъ такъ ручки и вдругъ заговорила, да такимъ голосомъ, что я и вспомнить не могу: „Матерь Божія, не оставь ихъ!..“ Тутъ уже боль подступила ей подъ самое сердце. По глазамъ видно было, что ужасно мучилась бѣдняжка: упала на подушку, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, такъ и текутъ.

— Ну, а потомъ?—спросилъ я.

Наталья Савишна не могла больше говорить,—она отвернулась и горько заплакала.

Maman скончалась въ ужасныхъ страданіяхъ.

На другой день, поздно вечеромъ, мнѣ захотѣлось еще разъ взглянуть на нее. Преодолѣвъ невольное чувство страха, я тихо отворилъ дверь и на цыпочкахъ вошелъ въ залу.

По срединѣ комнаты, на столѣ, стоялъ гробъ, вокругъ него нагорѣвшія свѣчи въ высокихъ, серебряныхъ подсвѣчникахъ; въ дальнемъ углу сидѣлъ дьячокъ и тихимъ однообразнымъ голосомъ читалъ Псалтирь.

Я остановился у двери и сталъ смотрѣть, но глаза мои были такъ заплаканы и нервы такъ разстроены, что я ничего не могъ разобрать; все какъ-то странно сливалось вмѣстѣ: свѣтъ, парча, бархатъ, большіе подсвѣчники, розовая, обшитая кружевами, подушка, вѣнчикъ, чепчикъ съ лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвѣта. Я сталъ на стулъ, чтобы разсмотрѣть ея лицо; но на томъ мѣстѣ, гдѣ оно находилось, мнѣ опять представился тотъ же блѣдно-желтоватый, прозрачный предметъ. Я не могъ вѣрить, чтобъ это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало-по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя, милыя черты. Я вздрогнулъ отъ ужаса, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза такъ впали? Отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ черноватое пятно подъ прозрачною кожей? Отчего выраженіе всего лица такъ строго и холодно? Отчего губы такъ блѣдны, и складъ ихъ такъ прекрасенъ, такъ величественъ и выражаетъ такое неземное спокойствіе, что холодная дрожь пробѣгаетъ по моей спинѣ и волосамъ, когда я вглядываюсь въ него?..

Я смотрѣлъ и чувствовалъ, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягиваетъ мои глаза къ этому безжизненному лицу. Я не спускалъ съ него глазъ, а воображеніе рисовало мнѣ картины, цвѣтущія жизнію и счастіемъ. Я забывалъ, что мертвое тѣло, которое лежало предо мною, и на которое я безсмысленно смотрѣлъ, какъ на предметъ, не имѣющій ничего общаго съ моими воспоминаніями, была *она*. Я воображалъ ее то въ томъ, то въ другомъ положеніи: живою, веселою, улыбающеюся; потомъ вдругъ меня поражала какая-нибудь черта въ блѣдномъ лицѣ, на которомъ остановились мои глаза,—я вспоминалъ ужасную дѣйствительность,

содрогался, но не переставалъ смотрѣть. И снова мечты замѣняли дѣйствительность, и снова сознаніе дѣйствительности разрушало мечты. Наконецъ, воображеніе устало, оно перестало обманывать меня; сознаніе дѣйствительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробылъ я въ этомъ положеніи, не знаю, въ чемъ состояло оно; знаю только то, что на время я потерялъ сознаніе своего существованія и испытывалъ какое-то высокое, неизъяснимо-пріятное и грустное наслажденіе.

Можетъ быть, отлетая къ міру лучшему, ея прекрасная душа съ грустью оглянулась на тотъ, въ которомъ она оставляла насъ; она увидѣла мою печаль, сжалилась надъ нею и на крыльяхъ любви, съ небесною улыбкою сожалѣнія, спустилась на землю, чтобъ утѣшить и благословить меня.

Дверь скрипнула и въ комнату вошелъ дьячокъ на смѣну. Этотъ шумъ разбудилъ меня, и первая мысль, которая пришла мнѣ, была та, что такъ какъ я не плачу и стою на стулѣ въ позѣ, не имѣющей ничего трогательнаго, дьячокъ можетъ принять меня за безчувственнаго мальчика, который изъ шалости или любопытства забрался на стулъ: я перекрестился, поклонился и заплакалъ.

Вспоминая теперь свои впечатлѣнія, я нахожу, что только одна эта минута самозабвенія была настоящимъ горемъ. Прежде и послѣ погребенія я не переставалъ плакать и былъ грустенъ, но мнѣ совѣстно вспомнить эту грусть, потому что къ ней всегда примѣшивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желаніе показать, что я огорченъ больше всѣхъ, то заботы о дѣйствіи, которое я произвожу на другихъ, то безцѣльное любопытство, которое заставляло дѣлать наблюденія надъ чепцомъ Мими и лицами присутствующихъ. Я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать всѣ другія: отъ этого печаль моя была неискренна и неестественна; сверхъ того, я испытывалъ какое-то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, старался возбуждать сознаніе несчастія, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль.

Умирающая мать.

„Что умерла, жива? Потише говорите:
Быть можетъ, удалось на время ей заснуть“...
И кто-то предложилъ: „Ребенка принесите
И положите ей на грудь!“
И вотъ на мѣстѣ томъ, гдѣ прежде сердце билось,
Ребенокъ съ плачемъ скрылъ лицо свое...
О, если и теперь она не пробудилась,—
Все кончено: молитесь за нее!

А. Апухтинъ.

Сынъ боленъ!

(Изъ „Семейной Хроники“ С. Аксакова).

Моя мать, уѣзжая въ послѣдній разъ изъ Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться передъ образомъ, что онъ увѣдомитъ ее, если я сдѣлаюсь боленъ. Онъ давно намѣревался исполнить свое обѣщаніе и рѣшился дѣйствовать, не спрашиваясь никого: одинъ изъ грамотныхъ дядекъ написалъ ему письмо, въ которомъ, безъ всякой осторожности и даже несправедливо, онъ извѣщалъ, что молодой баринъ боленъ падучею болѣзнію, и что его отдали въ больницу. Можно себѣ представить, какимъ громовымъ ударомъ разразилось это письмо надъ моимъ отцомъ и матерью! Письмо шло довольно долго и пришло въ деревню во время совершенной распутицы; дорога прорывалась на каждомъ шагу и во всякомъ долочкѣ была заѳдра, т. е. снѣгъ, насыщенный водою; ѣхать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выѣхала тотъ же день въ Казань съ своей Парашей и молодымъ мужемъ ея, Ѳедоромъ; ѣхала день и ночь на перемѣнныхъ крестьянскихъ, не подкованныхъ лошадяхъ, въ простыхъ крестьянскихъ саняхъ въ одну лошадь; всѣхъ са-

ней было четверо: въ трехъ сидѣло по одному человѣку безъ всякой поклажи, которая вся помѣщалась на четвертыхъ саняхъ. Только такимъ образомъ была какая-нибудь возможность подвигаться шагъ за шагомъ впередъ, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этотъ разъ продолжались, къ счастію, до половины апрѣля.

Въ десять дней мать моя дотащилась до большого села Мурзихи на берегу Камы; здѣсь вышла уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, и потому ѣхать по ней представлялось болѣе возможности; но за то изъ Мурзихи надобно было переѣхать черезъ Каму, чтобъ попасть въ село Шуранъ, находящееся, кажется, въ 80-ти верстахъ отъ Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ почту; но въ ночь пошелъ дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ея спутниковъ въ Мурзихѣ; боясь каждой минуты промедленія, она сама ходила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, разсказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Нашлись добрые и смѣлые люди, понимавшіе материнское сердце, которые обѣщались ей, что если дождь въ ночь уймется и къ утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ имъ за труды.

До самой зари молилась мать моя, стоя въ углу на колѣняхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: вѣтеръ разогналъ облака, и къ утру морозъ высушилъ дорогу и тонкимъ льдочкомъ затянулъ лужи. На зарѣ шестеро молодцовъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или багромъ, привязавъ за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки женщинъ, обутыхъ въ мужскіе сапоги, дали шестъ Ѳедору, поручивъ ему тащить чуманъ, т. е. широкій лубокъ, загнутый спереди кверху и привязанный на веревкѣ, взятый на тотъ случай, что неравно барыня устанетъ, — и отправились въ путь, пустивъ впередъ самаго расторопнаго изъ своихъ товарищей для ощу-

пыванія дороги. Дорога лежала вкось и надобно было пройти около трехъ верстъ.

Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время такъ страшенъ, что только привычный человѣкъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и присутствія духа. Ѳедоръ и Параша просто ревѣли, прощались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ иныхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ идти впередъ, но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣе и даже веселѣе. Провожатые поглядывали на нее и нривѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться, по сложеннымъ вмѣстѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя нигдѣ не хотѣла сѣсть на чуманъ; и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположной сторонѣ, пошла возлѣ самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчасъ постлали на чуманъ мѣховое одѣяло, положили подушки, мать легла на него, какъ на постель,— и почти лишилась чувствъ; въ такомъ положеніи дотащили ее до ямского двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ провожатымъ, т. е. половину своихъ наличныхъ денегъ, но честные люди не захотѣли ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумленіемъ слушая изъявленія горячей благодарности и благословенія моей матери, они сказали ей на прощанье: „дай вамъ Богъ благополучно доѣхать“ — и немедленно отправились домой, потому что мѣшкать было нѣкогда: рѣка прошла на другой день.

Мать.

По прихоти судьбы неправедно-суровой,
Нежданно, тяжкій крестъ досталось ей нести,
Она не дрогнула подъ этой ношей новой,
Сходя на трудный путь съ обычнаго пути.

Упорна мужествомъ, безсмѣнно, годъ отъ года
За дорогую жизнь борьбу ведетъ она,
И твердо вѣруетъ, что самая природа
Могуществу любви покорствовать должна.

Никто ея ночей томительныхъ не знаетъ,
Ея безмолвныхъ мукъ не вѣдаетъ никто:
Порой улыбкою лицо ея сіяетъ,
А сердце жгучими слезами облито!..

Гнетущей мыслію волнуема тревожно,
Она отвергнула забвеніе, покой,
Всѣ жертвы ей легки, всѣ жертвы ей возможны,
Хотя бы гибелью грозили ей самой...

Она за жизнь свою, за всѣ земныя блага
Не сброситъ своего терноваго вѣнца;
Ей могутъ измѣнить и силы и отвага,
Но для ея любви нѣтъ мѣры, нѣтъ конца!

А. Подолинскій.

Материнское сердце.

(Сказаніе).

Полюбилъ одинъ юноша молодую дѣвушку. Она была очень красива, но тщеславна и безсердечна. И вотъ приснилось ей однажды, что она можетъ остаться навсегда молодой и прекрасной, и даже сдѣлается еще прекраснѣе, если только она будетъ постоянно хранить около себя сердце той женщины, которая родила на свѣтъ ея возлюбленнаго.

И сказала дѣвушка юношѣ:

— Поди, убей свою мать, вырви у нея сердце изъ груди и принеси его мнѣ.

Въ ужасѣ взглянулъ на нее юноша и убѣжалъ отъ нея далеко, далеко.

Но на слѣдующій день онъ возвратился къ любимой дѣвушкѣ, и она опять сказала ему:

— Поди и убей свою мать, вырви у нея сердце изъ груди и принеси его мнѣ для того, чтобы я тебя вѣчно любила и чтобы я всегда оставалась молодой и прекрасной.

— О, не требуй отъ меня такой ужасной вещи! — воскликнулъ юноша.

Но она стала цѣловать его и шептала ему:

— Сдѣлай это! Сдѣлай! Докажи, что ты любишь меня!..

И снова вырвался онъ отъ нея и побѣжалъ, куда глаза глядятъ.

А на другой день онъ опять пришелъ къ ней, и опять она стала ему говорить то же:

— Ступай же, убей свою мать, вырви у нея сердце изъ груди, и тогда я буду любить тебя вѣчно и тогда я навсегда останусь и молодой, и прекрасной, и счастливой.

— О перестань!—умолялъ ее юноша.

— Ну, если такъ, если ты не хочешь, то я полюблю другого, и тотъ сдѣлаетъ это ради любви ко мнѣ, — сказала дѣвушка и ушла отъ юноши.

Въ безумномъ отчаяніи пробродилъ онъ цѣлый день, самъ не зная гдѣ; и когда стало темно, онъ бросился домой и сдѣлалъ все, что отъ него требовала возлюбленная...

И когда онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, бѣжалъ въ ночномъ мракѣ къ своей милой, держа въ рукахъ сердце матери, то вдругъ споткнулся, упалъ и ушибся.

И въ то время, какъ онъ подвимался съ земли и застоналъ отъ боли, обливающееся кровью сердце матери заговорило и нѣжнымъ голосомъ сказало:

— Ты ушибся, сынокъ милый? Гдѣ тебѣ больно, голубчикъ?

Воробей.

Я возвращался съ охоты и шелъ по аллеѣ сада. Собака бѣжала впереди меня.

Вдругъ она уменьшила свои шаги и начала красться, какъ бы зачуявъ предъ собою дичь.

Я глянулъ вдоль аллеи и увидалъ молодого воробья съ желтизной около клюва и пухомъ на головѣ. Онъ упалъ изъ гнѣзда (вѣтеръ сильно качалъ березы аллеи) и сидѣлъ неподвижно, безпомощно растопыривъ едва проставшія крылышки.

Моя собака медленно приближалась къ нему, какъ вдругъ, сорвавшись съ близкаго дерева, старый черногрудый воробей камнемъ упалъ передъ самой ея мордой — и весь взъерошенный, искаженный, съ отчаяньемъ и жалкимъ пискомъ прыгнулъ раза два въ направленіи зубастой, раскрытой пасти.

Онъ кипулся спасать, онъ заслонилъ собою свое дѣтище... но все его маленькое тѣло трепетало отъ ужаса, голосокъ одичалъ и охрипъ, онъ замиралъ, онъ жертвовалъ собою!

Какимъ громаднымъ чудовищемъ должна была ему казаться собака! И все-таки онъ не могъ усидѣть на своей высокой безопасной вѣткѣ... Сила, сильнѣе его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезоръ остановился, попятился... Видно, и онъ призналъ эту си́лу.

Я поспѣшилъ отозвать смущеннаго пса — и удалился благоговѣя.

Да, не смѣйтесь. Я благоговѣлъ передъ той маленькой, героической птицей, предъ любовнымъ ея порывомъ.

„Любовь, думалъ я, сильнѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь“.

И. Тургеневъ.

Рыцарь на часъ.

(Изъ стихотворенія Н. Некрасова).

Если пасмуренъ день, если ночь не свѣтла,
Если вѣтеръ осенній бушуетъ,
Надъ душой воцаряется мгла,
Умъ, бездѣйствуя, вяло тоскуетъ,
Только сномъ и возможно помочь,
Но, къ несчастью, не всякому спится...
Слава Богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудилъ я гусей на пруду,
Я со стога спугнулъ ястребёнка:
Какъ онъ вздрогнулъ, какъ крылья развилъ!
Какъ взмахнулъ ими сильно и плавно!
Долго, долго за нимъ я слѣдилъ,
И невольно сказалъ ему: славно!
Чу! стучитъ проѣзжающій возъ,
Деготькомъ потянуло съ дороги...
Обоняніе тонко въ морозъ,
Мысли свѣжи, выно́сливы ноги:
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодро природы,—
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняютъ ожившую грудь,
Жаждой дѣла душа закипаетъ,
Вспоминается пройденный путь,
Совѣсть пѣсню свою запѣваетъ...
Я совѣтую гнать ее прочь —
Будетъ время еще сосчитаться!
Въ эту тихую, лунную ночь
Созерцанію должно предаться:
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Мѣсяцъ полный плыветъ надъ дубравой,

И господствуютъ въ небѣ цвѣта
Голубой, бѣловатый, лиловый.
Воды ярко блестятъ средь полей,
А земля прихотливо одѣта
Въ волны бѣлаго луннаго свѣта
И узорчатыхъ, странныхъ тѣней.
Отъ большихъ очертаній картины
До тончайшихъ сѣтей паутины,
Что̀ какъ иней къ землѣ прилегли—
Все отчетливо видно: далече
Протянулися по́лосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающій сонныя нивы,
Лѣсъ сквозитъ, весь усыпанъ листвой;
Чудны красокъ его переливы
Подъ играющей, ясной луной;
Дубъ ли пасмурный, кленъ ли веселый—
Въ немъ легко отличить издали;
Грудью къ сѣверу, воронъ тяжелый—
Видишь, дремлетъ на старой ели!
Все, чѣмъ можетъ порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленѣющей озими гладь,
Подо льномъ—золотая долина,
Посреди освѣщенныхъ луговъ
Величавое войско стоговъ,—
Все доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если бъ даже пришлось въ эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ея бѣдность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоитъ словно полная чаша;
Пожелай ей покойнаго сна,—
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто можетъ—я спать не могу,

«Въ ученьи».
Съ картины В. Маковскаго.

Позв. ценз. Москва 4 іюня 1892 г.

Тип. И. Д. Сытина и К°

4.

Я стою потихоньку, безъ шуму,
На покрытомъ стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умѣлъ я съ тобой совладать,
Не осилилъ я думы жестокой...

Въ эту ночь я хотѣлъ бы рыдать
На могилѣ далекой,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...

Въ сторонѣ отъ большихъ городовъ,
Посреди безконечныхъ луговъ,
За селомъ, на горѣ невысокой,
Вся бѣла, вся видна при лунѣ,
Церковь старая чудится мнѣ,
И на бѣлой церковной стѣнѣ
Отражается крестъ одинокій...
Да, я вижу тебя, Божій домъ!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла съ мечомъ,
Облаченнаго въ свѣтлую ризу.
Поднимается сторожъ-старикъ
На свою колокольню-руину,—
На тѣни онъ громадно-великъ:
Пополамъ пересѣкъ всю равнину.
Поднимись,—и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гудѣнье!
Въ тишинѣ деревенскихъ ночей
Этихъ звуковъ властительно пѣнье:
Если есть въ околоткѣ больной,
Онъ при нихъ встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудетъ на мигъ свои муки;
Одинокій ли путникъ ночной
Ихъ заслышитъ,—бодрѣе шагаетъ;
Ихъ заботливый пахарь считаетъ
И, крестомъ осѣнясь въ полуснѣ,
Проситъ Бога о ведряномъ днѣ.

Звукъ за звукомъ гудя прокатился,
Насчиталъ я двѣнадцать часовъ.
Съ колокольни старикъ возвратился,
Слышу шумъ его звонкихъ шаговъ,
Вижу тѣнь его: сѣлъ на ступени,
Дремлетъ, голову свѣсивъ въ колѣни.
Онъ въ мохнатую шапку одѣтъ,
Въ балахонѣ убогомъ и темномъ...
Все, чего не видалъ столько лѣтъ,
Отъ чего я пространствомъ огромнымъ
Отдѣленъ—все живетъ предо мной,
Все такъ ярко рисуется взору,
Что не вѣрится мнѣ въ эту пору,
Чтобъ не могъ увидать я и той,
Чья душа здѣсь незримо витаетъ,
Кто подъ этимъ крестомъ почиваетъ...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ.
Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты, грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася!
Ты, не дрогнувъ, ударъ приняла,
За враговъ, умирая, молилася,
На дѣтей милость Бога звала.
Неужели за годы страданія
Тотъ, кто столько тобою былъ чтимъ,
Не пошлетъ тебѣ радость свиданія
Съ ногибающимъ сыномъ твоимъ?..

Я кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою.

О, прости! то не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,
Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый поставила путь. .

Треволненья мірского далекая,
Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ,
Русокудрая, голубоокая,
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ,
Подъ грозой величаво-безгласная—
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мнѣ
При волшебно свѣтящей лунѣ.
Да! я вижу тебя, блѣднолицую,
И на судъ твой себя отдаю.
Не робѣть передъ правдой—царицею
Научила ты музу мою:
Мнѣ не страшны друзей сожалѣнія,
Не обидно враговъ торжество,
Изреки только слово прощенія,
Ты, чистѣйшей любви божество!
Что̀ враги? Пусть клевещутъ язвительнѣй:
Я пощады у нихъ не прошу,
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!
Что друзья? Наши силы не ровныя,
Я ни въ чемъ середины не зналъ,
Что обходятъ они, хладнокровные,
Я на все безразсудно дерзалъ;

Я не думалъ, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдетъ,—
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни, впередъ и впередъ.
Увлекаемъ безславною битвою,
Сколько разъ я надъ бездной стоялъ,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падалъ—и вовсе упалъ!..

Любовь великая.

I.

На краю города, въ сыромъ холодномъ подвалѣ жила бѣдная старушка со своей маленькой внучкой.

Въ этотъ подвалъ постоянно стекала вся грязная вода съ цѣлаго задняго двора. Осенью и весной старушка вытирала эту воду тряпками, но, на бѣду, тряпокъ у ней было немного. Да притомъ и отъ тѣхъ тряпокъ, которыя были у старушки, она подчасъ должна была отказываться за тѣмъ, чтобы, вымывъ такую тряпку чистенько, заплатать ей гдѣнибудь старую юбку. Вѣдь она была очень чистоплотна и порядлива—эта бѣдная, добрая старушка.

Но зимой въ подвалѣ старушки было чистенько. Вѣдь вся вода на дворѣ замерзала.

— Вотъ, — говорила старушка, — нѣтъ худа безъ добра. Хоть холодно, зато чисто!..

И это была совершенная правда. Только съ холодомъ было гораздо труднѣе справиться, чѣмъ съ грязной водой.

Въ подвалѣ была маленькая печурка, даже съ котелкомъ. Но котелокъ давно треснулъ, такъ что въ немъ ничего нельзя было дѣлать, да и печурка точно также вся растрескалась и стояла закоптѣлая, почернѣлая, точно „бѣльмо на глазу!“—какъ увѣряла старушка. Притомъ и топить ее было вовсе невозможно. Такая ужъ она была откровенная! Какъ только ее затопятъ, она сейчасъ примется весь дымъ, какой у ней есть внутри, выпускать наружу, хотя никто ее объ этомъ не проситъ.

„Господи, уйми Ты ее!“ думаетъ старушка, смотря на тонкія струйки дыма, которыя тихо идутъ то изъ той, то изъ другой щели и собираются въ густую синюю пелену подъ потолкомъ и въ крохотномъ окошечкѣ, что было наверху, надъ землей. Это окошечко было все разбито, и старушка сама собственными руками налѣпила на всѣхъ стеклахъ верешокъ на верешочкѣ, такъ что издали оно представляло самую поучительную мозаику. Ну, и закрывать эту печку была тоже своего рода исторія. Какъ ее ни закрой, непремѣнно въ комнатѣ будетъ больше угара, чѣмъ тепла. Впрочемъ, правду надо сказать, топить эту печку приводилось не часто, не потому чтобы въ этомъ не предстояло надобности,— о, нѣтъ!—иной разъ очень и очень не мѣшало бы хорошенько протопить это „бѣльмо на глазу!“ Въ особенности если сообразить да подумать, что весь подвальчикъ былъ врытъ въ голую замерзшую землю. Но въ томъ-то и бѣда, что топилокъ не хватало. Хорошо, если удастся набрать гдѣ-нибудь на стройкѣ охапку, другую щепочекъ, а то приводилось старушкѣ отправляться просто къ дворнику Архипычу и просить:

— Дай, молъ, добрый человѣкъ, съ пятокъ полѣшекъ... Смерть холодно! Вѣдь хозяинъ, Степанъ Степанычъ, дай Богъ добраго здоровья, велѣлъ тебѣ давать два беремя въ недѣлю... Что же не даешь?!

— Много вашего брата!—кричитъ добрый человѣкъ, подперевъ руки фертомъ. — Хозяинъ! Хозяинъ!.. Тебя пріютили Христа ради, такъ и молчи... Надо, чай, стыдъ знать!.. Еще чиновницей прозываетесь... Шваль, сволочь голопятая!..

Ну, и отойдетъ отъ него старушка съ пустыми руками. Правду сказать, порой она даже рѣшается отправиться къ хозяину; но это доброе намѣреніе такъ и оставалось добрымъ намѣреніемъ. Вѣдь надо идти въ хоромы, разумѣется съ чернаго хода, и Богъ знаетъ, на кого тамъ наверпешься. Хорошо, если на Аграфену Ивановну, а если на Герасимъ Ѳедорыча!.. И при одной мысли о возможности встрѣтиться съ Герасимомъ Ѳедоровичемъ — старушка махаетъ рукой и говоритъ:

— Нѣтъ! Ужъ я такъ какъ-нибудь обойдусь!

И она отправляется къ себѣ, въ холодный подвальчикъ, и кутается въ куцавейку и дырявую старую шаль и въ не менѣе старый, весь охмыстанный половикъ.

Правда, можно бы было закутаться въ салопъ, — весьма почтенный салопъ, которому было ровно сорокъ лѣтъ отъ роду,—но подъ салопомъ спитъ внучка, сударушка Машурка! Да и притомъ что жъ это за салопъ?! Одна химера! Когда-то былъ лисій, а теперь, почитай, весь сталъ заячій; а ужъ заплатъ, заплатъ на немъ! Во всю жизнь не сочтешь.

И старушка угрюмо смотритъ на печку и щупаетъ ея холодныя стѣнки.

— Не держитъ тепла, какъ есть не держитъ, такая ужъ продувная вещь... Ну, да зато и не дымитъ теперь коли нетоплена,—и старушка улыбнулась и посмотрѣла на окопце: —Нѣтъ худа безъ добра!

А паръ такъ и валитъ изъ ея маленькаго ротика.

— Этакой холодъ, прости Господи!.. Машурка, а Машурка, сударушка моя... Спитъ, ангелъ Божій, спитъ, моя родная.

И старушка наклоняется надъ убогой постелькой и прислушивается къ дыханію четырнадцатилѣтней больной дѣвочки, сухоручки, сухоножки.

— Давно ее пора на погостъ стащить, а ты дрожишь надъ

ней!—припоминаются ей слова доктора, что былъ въ богадѣльнѣ, и вотъ за эти-то самыя слова она оставила богадѣльню. Правда, были и другія причины, которыя заставили ее покинуть это богоугодное заведеніе. Очень ужъ лихіе сосѣди попались. Баба, что слѣва, цѣлый день и каждый день поѣдомъ ѣла и ее, и Машурку. „А что сдѣлалъ ей невинный ребенокъ?!“ думала старушка и руками разводила въ раздумьи. „Или что сдѣлала она господину-доктору,—младенецъ невинный... а онъ его гонитъ со свѣта Божьяго... младенца невиннаго!..“

И старушка подошла къ постелькѣ и наклонилась къ младенцу невинному.

Блѣдное, исхудалое личико дѣвочки смотрѣло кротко и тоскливо, съ такимъ покорнымъ страданіемъ, что, глядя на него, вѣрилось во все доброе и лучшее на землѣ.

И потому крѣпко любила старушка это личико, — что не было у ней никого, на всей землѣ, родного и близкаго, кромѣ „сударушки Машурки“.

Ну, и Машурка любила бабушку, по тому же самому—потому что старушка-бабушка стояла у ней постоянно передъ глазами и наяву, и во снѣ, и въ умѣ, и въ сердцѣ. Вѣдь это она водила ее еще маленькую, очень маленькую, и въ сады, и въ рощи—водила, когда у ней, у „сударушки Машурки“, были здоровыя ручки и ножки. Но это было очень, очень давно. Цѣлыя десятки лѣтъ, казалось ей, прошли съ тѣхъ поръ. Тогда и папа и мама были живы, но ихъ Машурка помнила какъ во снѣ. Да! давно это было, очень давно... А потомъ, потомъ... Проходили дни, мѣсяцы, годы — люди ходятъ, бѣгаютъ... а она лежитъ, лежитъ точно прикованная и не можетъ пошевельнуть ни руками, ни ногами... Нѣтъ, не дай Богъ никому никогда испытать это состояніе!..

Одно было утѣшеніе у Машурки—старушка-бабушка. Это былъ единственный человѣкъ, родной, любящій, другъ неизмѣнный, который постоянно ухаживалъ за ней, не зная ни сна, ни отдыха. Какъ же Машуркѣ было не любить своей бабушки?!

И самое лучшее удовольствіе у Машурки было то, чтобы

читать бабушкѣ „Училище благочестія“! У бабушки были двѣ такихъ книжки, старыя, подаренныя ей кѣмъ-то, а кѣмъ – бабушка никакъ не могла припомнить: не то Петръ Евстигнѣевичъ, не то Наталья Прохоровна подарила! Но Машурка очень хорошо знала, что этихъ книгъ больше двухъ, потому что на одной изъ нихъ стоялъ „томъ восьмой и послѣдній“. Что же было въ тѣхъ шести томахъ, которые Машурка не видала? Должно быть исторіи еще болѣе удивительныя и поучительныя.

Почти каждый день Машурка читаетъ бабушкѣ „Училище благочестія“, а бабушка усердно трудится надъ толстымъ шерстянымъ чулкомъ, изъ всѣхъ силъ ковыряя упрямыя петли, которыя то и дѣло слѣзаютъ съ иголъ толстыхъ, точно желѣзныя палки. Ужъ она смотритъ-смотритъ своими старческими глазами сквозь большія очки, въ такой прочной оправѣ, какъ будто на нихъ собирались трехъэтажный домъ строить. Смотритъ на песносную петлю и никакъ не можетъ ее подковырнуть: „Такая непутная, прости Господи, никакъ не совладаешь!“

Впрочемъ, и чулокъ у бабушки былъ безконечный. Она, какъ Пенелопа, что днемъ навяжетъ, то вечеромъ распуститъ. Вотъ уже другой годъ какъ она обѣщала Машурочкѣ связать теплые чулки, и все вяжетъ, усердно вяжетъ, благо матеріалъ нашелся подъ рукой — старая фуфайка, которую подарила большая барыня Марья Алексѣевна. Распустила бабушка фуфайку, съ твердой рѣшимостью связать чулочки „сударушкѣ-Машуркѣ“ и вотъ вяжетъ, — вяжетъ уже другой годъ съ неизмѣнной вѣрой, что когда-нибудь окончитъ ихъ. Вѣдь вѣрой и терпѣньемъ до всего можно достичь.

— А я, Машурочка, не пойду сегодня къ его превосходительству, — говоритъ бабушка. — Ноги что-то болятъ, а пуще всего вотъ эта лѣвая — все ломитъ да ломитъ — всю ноченьку вплоть до бѣла утра...

Его превосходительство Неофитъ Аѳанасьевичъ Присноуспенскій былъ постояннымъ „предметомъ хожденія“ старушки-бабушки. Каждое утро аккуратно она посѣщала его канцелярію и его самого и каждое утро получала короткій и ясный отвѣтъ: „завтра приди!“

Бабушка получала грошовый пенсіонъ еще отъ добрыхъ старыхъ временъ, но ей непремѣнно хотѣлось выхлопотать пенсіонъ и для сударушки-Машурки. Отецъ ея былъ казначеемъ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ его превосходительство Неофитъ Аѳанасьевичъ былъ начальникомъ. — Начальнику какъ-то попадобилось экстренно, на три дня, имѣть въ рукахъ нѣсколько тысячъ, и онъ обратился за ними къ казначею. Дѣло не могло имѣть никакого сомнѣнія, и казначей далъ его превосходительству казенныя деньги, далъ потому, что былъ твердо увѣренъ, что черезъ три дня онъ навѣрно получитъ ихъ. Но черезъ три дня, за вечернимъ чаемъ, за второй чашкой онъ вдругъ захрипѣлъ, застоналъ, уронилъ блюдце — покатился и умеръ. Казну обревизовали — оказался въ казнѣ недочетъ пяти тысячъ, и семейство казначея, т. е. сударушка-Машурка, было лишено пенсіи. Слѣдствіе по этому дѣлу отложили въ долгій ящикъ, и его превосходительство Неофитъ Аѳанасьевичъ былъ твердо увѣренъ, что дѣло по бездоказательности прекратятъ и что бабушкѣ выдадутъ пенсіонъ ея сына, за всѣ года, съ самой смерти.

И вотъ почти каждый Божій день старушка-бабушка ходитъ къ его превосходительству за справками и почти каждый Божій день получаетъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: „приди завтра!“

А живетъ его превосходительство довольно далеко отъ того подвальчика съ „бѣльмомъ на глазу“, въ которомъ прозябаетъ бабушка. Живетъ онъ на отличной широкой улицѣ, въ большомъ каменномъ домѣ, съ широкимъ подъѣздомъ на чугунныхъ столбикахъ. И двери у подъѣзда большія, лаковыя, съ большими зеркальными стеклами, такъ что и подступиться къ этимъ дверямъ бабушкѣ страшно и опасно. Но она знаетъ, что эти двери такъ себѣ, что это не для нея, и что ведутъ онѣ въ большія сѣни съ мраморнымъ поломъ. Въ этихъ сѣняхъ широкая, также мраморная лѣстница, вся устланная коврами, вся уставленная заморскими деревьями. Бабушка знаетъ, что есть въ эти сѣни другой ходъ, со двора, и вотъ чрезъ этотъ-то входъ бабушка прокрадывается каждый разъ къ швейцару Ивану Васильевичу. И если Иванъ Васильичъ въ добромъ духѣ, то онъ непремѣнно приметъ

старушку-бабушку привѣтливо, усадитъ въ швейцарской и побалагуритъ съ ней и въ шутку даже табачкомъ попотчуетъ.

— Не нюхаю я, батюшка, не нюхаю, родной мой,—отказывается бабушка, складывая свои костлявыя ручки на высохшей груди.

— А не нюхаетъ кума, знать не твердаго ума!.. — говоритъ Иванъ Васильичъ, усердно набивая свой носъ въ обѣ чихалки. — Такъ-то, сударыня моя. А относительно твоего дѣла,—завтра навѣдайся!

— Охъ, Иванъ Васильичъ, — говоритъ бабушка, тяжело вздыхая, — слышала ужъ я этотъ отвѣтъ... вотъ ужъ два года слышу его почитай каждый день... Да вы справлялись ли, Иванъ Васильичъ?.. можетъ быть его превосходительство...

— Справлялся, какъ слѣдуетъ справлялся... Отвѣтъ тебѣ подлинной и справедливый: завтра приди!..

Но въ это время по лѣстницѣ раздаются шаги, и лакей Ипатычъ кричитъ сверху:

— Васильичъ! идутъ!

Иванъ Васильичъ торопливо и степенно выскакиваетъ въ сѣни къ дверямъ и запираетъ бабушку въ швейцарской, а съ мраморной лѣстницы, такъ же степенно, сходятъ торжественной походкой его превосходительство и ихъ дочка Любовь Неофитовна. Бабушка сквозь стеклянныя двери видитъ, какъ идутъ господа... И думаетъ: „Господи! спрошу я его самого, его превосходительство, можетъ быть онъ и скажетъ!..“

И она робко отворяетъ дверь швейцарской и, вся съежившись, съ слезинками на глазахъ, съ остановившимся сердцемъ выступаетъ въ сѣни и низко, въ поясъ, кланяется его превосходительству.

— А! Пелагея Ивановна! А я тебя не узналъ,—говоритъ его превосходительство, прищуриваясь и натягивая на лѣвую руку свѣтло-шоколадную перчатку... — Вѣрно, тебѣ богатой быть. Ну, какъ поживаешь?!

— Слава Богу, ваше превосходительство! —шепчетъ, низко кланяясь, старушка и подходитъ ближе къ его превосходи-

тельству.—А я, ваше превосходительство,—говоритъ она тихимъ, дрожащимъ голоскомъ, съ мольбой сжимая свои костлявыя ручки,—я, ваше превосходительство, пришла узнать насчетъ все нашего дѣла... насчетъ сударушки-Машурки...—и голосъ ея совсѣмъ оборвался, по сморщенному лицу побѣжали слезинки.

— А, а!.. Хорошо, бабушка, хорошо. Это дѣло не скорое. Понимаешь, скоро нельзя его сдѣлать, — говоритъ его превосходительство внушительно и еще болѣе прищуриваясь, при чемъ на его широкомъ, блѣдномъ, нѣсколько рябоватомъ лицѣ промелькнула едва уловимая усмѣшка... Я тебѣ вотъ что скажу!.. Приди ты черезъ недѣлю, а лучше черезъ двѣ недѣли, и тогда можетъ быть можно что-нибудь сказать... Прощай!

И кивнувъ головой, его превосходительство отвернулся и хотѣлъ было направиться къ двери; но его остановила дочка, которая все время пристально всматривалась въ старушку-бабушку, кутаясь въ свою соболью шубку.

— Папа!—сказала она по-французски,—вѣдь это бѣдная женщина?

— Да! это бѣдная старушка... у которой есть одно дѣло.

— Папа! я дамъ ей что-нибудь?

— Oui! Oui!—сказалъ папа.—Дай!

И дочка своими маленькими, хорошенькими ручками, затянутыми въ сиреневыя перчатки, вынула крохотный серебряный портъ-моне, достала изъ него новенькій рубль и подала его бабушкѣ.

— Спасибо, матушка! благодѣтельница! красота ангельская! Спасибо, сударушка моя! Награди тебя Богъ милосердый!—и старушкѣ кажется, что она въ эту минуту такъ же любитъ добрую барышню, какъ и сударушку-Машурку...

И затѣмъ его превосходительство и его дочка скрылись за большой лаковой дверью, которую бойко и широко распахнулъ передъ ними Иванъ Васильичъ.

— А, яй!.. Старуха!.. безобразница ты!.. вотъ что я тебѣ скажу,—говоритъ Иванъ Васильичъ, запирая дверь.

— Батюшка вы мой, Иванъ Васильичъ!—говоритъ старушка.—Вѣдь исходилась я вся, родной мой, нутро-то все во мнѣ изныло... какъ же мнѣ!..

— Вѣдь хорошо, что въ добрую минуту подвернулась! А не то досталось бы мнѣ съ тобой...

Но старушка не слушала его. Все внутри у ней переполнилось радостью.

— Черезъ двѣ недѣли! Черезъ двѣ недѣли!—твердитъ она и бѣжитъ, вся радостная, бѣжитъ къ сударушкѣ-Машурѣ, земли подъ собой не замѣчая.

II.

Ровно черезъ двѣ недѣли бабушка опять отправляется къ его превосходительству.

„Господи!—думаетъ она,—ну какъ да это въ послѣдній разъ и его превосходительство обрадуетъ меня радостной вѣсточкой, что все кончилось. Создатель мой!“—И отъ одной этой мысли старое сердце трепещетъ и сжимается, и мысли рвутся въ головѣ и слезы заволакиваютъ глаза.

— Черезъ двѣ недѣли пожалуйте, сударыня моя,—говоритъ внушительно Иванъ Васильичъ,—такъ и приказалъ его превосходительство сказать тебѣ:—пусть прійдетъ черезъ двѣ недѣли, можетъ быть чрезъ двѣ недѣли дѣло устроится.

— Батюшка, Иванъ Васильичъ!—говоритъ старушка. опускаясь на дубовую лаковую скамейку:—вѣдъ это будетъ на Святой, черезъ двѣ-то недѣли.

— А ужъ я не знаю, а велѣно мнѣ твой адресъ записать. — И Иванъ Васильевичъ беретъ большую книгу, въ которую онъ записываетъ адресы, и медленно раскрываетъ ее.

— Зачѣмъ же это, Иванъ Васильевичъ?

— А опять же я ничего не знаю, а приказано записать, я и запишу.

— Вѣрно его превосходительство хочетъ курьера послать,—думаетъ бабушка,—чтобы не тревожить мои старыя кости на праздникъ...—и напрасно думаетъ.

Дѣло было просто вотъ въ чемъ.

Разъ, на крестопоклонной недѣлѣ, вечеромъ, были у супруги его превосходительства гости,—говорили о концертахъ, о разныхъ скандалахъ, о спиритизмѣ, о спасеніи души и, на-

конецъ, пришли къ заключенію, что благотворительность есть самое вѣрное средство достичь небеснаго блаженства.

— Вотъ, voilà! — сказала ея превосходительство томнымъ, сентиментальнымъ голосомъ,—вмѣсто всѣхъ этихъ благотворительныхъ обществъ я бы предложила...—тутъ она немного остановилась, какъ бы собираясь лучше поразить слушателей.— Я бы предложила каждому человѣку со средствами взять на свое частное попеченіе нѣсколько семействъ, сколько онъ можетъ, и заботиться о нихъ. Vous comprenez [1]), что тутъ я беру на свою отвѣтственность не только заботу о жизни, но и о нравственныхъ качествахъ.

— C'est charmant! [2])—вскричала одна изъ гостей, черная, огневая особа, вскочивъ съ кресла и хлопнувъ въ ладоши. – Une idée delicieuse!.. [3]) Ахъ! какъ это никому прежде въ голову не пришло! Mais, ma chère, c'est une idée de genie! [4]) Вѣдь тогда можно видѣть, на сколько общество богато и можетъ ли оно, не стѣсняя себя, на свои средства прокормить бѣдное населеніе!.. Et puis... C'est une idée ravissante! Nous tous [5]), мы всѣ люди цивилизаціи — мы возьмемъ подъ свой patronage... ces lambeaux de la société!.. [6])

И тотчасъ же было приступлено къ провизорному плану и рѣшено, чтобы каждому бѣдному семейству, которое поступитъ подъ попеченіе, былъ данъ экземпляръ Библіи.

— Это краеугольный каменъ, c'est la base de question, ma chère [7]), — говорила огневая особа, которая изъ всего ветхаго и новаго завѣта помнила твердо только одну притчу о блудномъ сынѣ.

И каждая гостья начала припоминать бѣдныхъ, которыхъ она знала.

— Et voilà, maman! [8]) — сказала дочь хозяйки, — эта

[1]) Вы понимаете...
[2]) Это очаровательно...
[3]) Прелестная мысль...
[4]) Но, моя дорогая, это геніальная мысль!
[5]) И потомъ... Это превосходная мысль. Всѣ мы...
[6]) Подъ свое покровительство эти отребья общества.
[7]) Это основаніе всего, дорогая моя.
[8]) А вотъ, мама...

бѣдная старушка, которая приходила къ папа. Я еще дала ей рубль.

И тотчасъ же записали бѣдную старушку и поручили человѣку доподлинно узнать, гдѣ она и какъ живетъ.

Вотъ для чего понадобился адресъ подвальчика старушки-бабушки. Бѣдная, она не думала, не гадала, что къ ней низойдетъ благодѣянье въ видѣ салонной моды!.. А между тѣмъ эта мода росла и множилась. Изъ салона ея превосходительства она быстро распространилась по городу. Барыни всполохнулись, поднялись, завозились, даже чуть не подрались изъ желанія какъ можно больше облагодѣтельствовать бѣдное человѣчество. Такія уже всѣ онѣ были добрыя и готовыя на всякое доброе дѣло, ради великопостной скуки и бездѣлья, отъ которыхъ умирать никому вѣдь не хочется.

И вотъ въ одинъ сѣренькій ненастный денёкъ подкатила карета его превосходительства къ тому дому, въ которомъ жила старушка-бабушка, и ливрейный рослый гайдукъ высадилъ изъ каретки барыню и дочку его превосходительства.

Обѣ дамы миновали первый дворъ довольно благополучно, но на второмъ, заднемъ дворѣ встрѣтилось маленькое препятствіе. На всемъ этомъ дворикѣ, надъ замерзшимъ толстымъ слоемъ льда, стояла почти сплошная грязная лужа, и подвальчикъ бабушки какъ разъ былъ на концѣ этой лужи. Гайдукъ заметался, позвали дворника, натащили досокъ и кое-какъ устроили переправу, по которой обѣ дамы могли добраться сухопутно до цѣли ихъ стремленій.

— Courage, maman! *)—говорила дочка,—для добраго дѣла нужно самопожертвованіе,—и она довольно бойко балансировала по прыгающимъ доскамъ, опираясь на дворника.

Но maman была немножко сыроватой и грузной комплекціи. Она ахала, охала и едва дотащилась до цѣли съ помощью гайдука и дворника.

И обѣ дамы обрушились, какъ снѣгъ на голову, на скромныхъ, тихихъ обитательницъ подвальчика.

Бабушка-старушка, безъ платья, съ подоткнутой юбкой, изъ всѣхъ силъ усердствовала—вытирала воду съ маленькихъ

*) Мужайтесь, мама...

поломанныхъ и выбитыхъ кирпичиковъ, которыми былъ вымощенъ подвальчикъ. И вдругъ его двери распахиваются, и на порогѣ, тамъ наверху, надъ низенькой лѣсенкой являются какія-то двѣ феи, два невозможныхъ, сказочныхъ существа.

Бабушка совсѣмъ растерялась, широко раскрывъ ротъ и вытянувъ впередъ руку съ тряпкой, словно собираясь защитить себя отъ непонятнаго явленія, окаменѣла въ этой позѣ. Машурка, приподнявшись, какъ могла, на своей постелькѣ, также смотрѣла изумленными глазами... а барыни между тѣмъ тихонько сходили съ четырехъ ступенекъ и очутились средн подвальчика. Гайдукъ торопливо пододвинулъ барынѣ поломанный стулъ, и она, усталая, полуживая, опустилась.

— Здравствуйте... моя милая!..—шептала она.—Какъ же неудобно вы помѣстились?!..

Дочка обернулась кругомъ, гайдукъ и ей подставилъ какой-то трехъ-ногій стулъ, но она подошла къ кроваткѣ Машурки и сѣла подлѣ нея на эту кроватку.

— Вы больны, моя милая?—спросила она ласково, оправляя ленты своей шляпки.

— Больна, совсѣмъ больна, сударыня моя, матушка,—подхватила бабушка, у которой всѣ мысли въ головѣ терялись и путались. Она то обдергивала юбку, то оправляла дырявый платокъ на груди, который она успѣла накинуть на свои костлявыя, желтыя плечи...—Вотъ ужъ шесть лѣтъ лежитъ не вставаючи, безъ рукъ, безъ ноженекъ...—и голосъ ея оборвался. Она потихоньку начала всхлипывать, закрывъ глаза все тѣмъ же дырявымъ платкомъ.

— Что же,—спросила дочка, — вы съ докторомъ не посовѣтуетесь? Вѣдь есть доктора для бѣдныхъ.

— Охъ, красавица моя! Какъ не совѣтовались, ужъ не мало исходили мы — когда еще Машуркѣ было въ мочь ходить-то. Говорятъ, лѣченье-то очень мудреное, да для насъ неспособное. Одинъ лѣкарь, г. Шмельцъ... онъ къ ручкамъ и ножкамъ все въ пее лектричество пущалъ... такъ Машурочка отъ него благимъ матомъ кричала. Отъ этого лектричества такъ ее всю и коробило... а легче не было. Мы ужъ и порѣшили пустить на милость Божью, что будетъ, то будетъ!..

— Вамъ бы помѣститься гдѣ-нибудь получше, а то эта квартира вліяетъ дурно на здоровье,—посовѣтовала maman.—Надо гигіэническія условія соблюдать.

— Матушка вы моя, благодѣтельница!—проговорила старушка,—вѣдь эта квартирка-то даровая... хозяинъ насъ Христа-ради пустилъ!..

— Такъ зачѣмъ же онъ,—возразила съ негодованіемъ ея превосходительство...—въ такія дрянныя квартиры помѣщаетъ людей Христа-ради!.. Voilà ces paysans!.. *)—прибавила она по-французски, обращаясь къ дочери,—они не понимаютъ настоящаго дѣла благодѣянія,—они ради спасенія души устраиваютъ грошовую благотворительность!.. Я вамъ, милая моя, найду лучше квартирку...

Между тѣмъ дочка пристально смотрѣла на Машурку.

— Comme elle est delicieuse, maman **),—сказала она...—la tête d'un chérubin ***),—и она съ грустью смотрѣла въ ясные, свѣтлоголубые, большіе глаза дѣвочки...

Машурка разсматривала ее съ такимъ же любопытствомъ. Въ первый разъ въ жизни она видѣла такъ близко нарядную барышню, – это существо изъ другого міра,—которая сидѣла тутъ, подлѣ нея, и трогала, разсматривала ея сухую, маленькую ручку. А барышня совсѣмъ прониклась жалостью къ этому больному, бѣдному, милому ребенку.

У ней даже горло немножко сжалось, и слезинки накипали на глазахъ.

— Что вы читаете, моя милая?.. Мы вамъ книгу принесли. Вы читали когда-нибудъ Библію?

— Евангеліе читала,—проговорила Машурка.

— Да! мы вамъ всю Библію привезли.

Она поправила волоса ручкой въ раздушенной перчаткѣ и протянула эту ручку къ гайдуку, который держалъ уже на готовѣ толстую книгу въ кожаномъ переплетѣ.

— Вотъ вамъ, моя милая! читайте и не забывайте Бога,—и она протянула ей тяжелую книгу...

Бабушка подскочила и взяла ее.

---

*) Вотъ ужъ эти мужики!...
**) Какъ она прелестна, мама...
***) У нея ангельская головка...

— Не можетъ она сдержать, матушка, доброта ангельская... Нѣтъ у ней силушки въ ручкахъ-то!—и она положила книгу на колѣни Машурки, прикрытыя изорваннымъ, заплатаннымъ одѣяльцемъ.

— Maman, — сказала дочка по-французски, смотря съ непреодолимымъ ужасомъ и отвращеніемъ на это несчастное одѣяльце.—Надо будетъ сдѣлать ей одѣяло!..

— Oui,—сказала maman,—и потомъ надо коврикъ передъ кроватью. Какъ же можно больной дѣвушкѣ безъ спальнаго ковра!.. И затѣмъ портьеры къ окну. Dieu, mon Dieu!.. *) Какое окно!.. c'est un vrai trou infernal!..**) Ты все это запиши, Люба...

И Люба вынула изъ кармана записную книжечку съ перламутровыми корочками и начала вписывать перечень.

— А гдѣ же вы спите, моя милая?

— А вотъ на этихъ лавкахъ, ваше превосходительство... Была у насъ кровать, послѣ мужа осталась, двухспальная, большая, хорошая кровать, ну я ее продала, какъ стали переѣзжать.

— Запиши, Люба, кровать.

И Люба записала.

— Затѣмъ надо мебель хоть немного приличнѣе, эта мебель ужасна! Il faut une chiffonnière... ***) Вы гдѣ же, милая, бѣлье держите?..

— Бѣлье!.. Ваше превосходительство... — говоритъ старушка, складывая ручки.—Какое у насъ бѣлье!.. Двѣ рубашки да два полотенчика... вотъ и все бѣлье...—говоритъ старушка, стараясь прикрыть платкомъ на груди изорванную рубашку.

— C'est affreux!.. ****) —ужасается maman, и ей становится тошно при одной мысли объ этомъ ужасномъ бѣльѣ...— Люба, надо посмотрѣть, нѣтъ ли у насъ чего-нибудь изъ стараго бѣлья. Вамъ не надо ли платья, моя милая? — И она думаетъ: „подарю я ей polonaise de Habanna, онъ совсѣмъ новенькій, а изъ моды вышелъ“.

---

*) Боже, Боже мой...
**) Это какая-то адская дыра.
***) Надобно шкапчикъ.
****) Это ужасно!

И, наконецъ, матушка и дочка составили перечень.

— Ну! à présent allons! *)—сказала maman, нюхая les sels de Haun, и поднялась со стула. — Я просто задыхаюсь въ этой атмосферѣ.

— Прощайте, моя милая... — сказала Люба, и ей такъ жалко было эту хорошенькую дѣвочку, этого chérubin monstre, съ доброй, ясной улыбкой, что она нагнулась и поцѣловала ее въ хорошенькія губки, при чемъ съ ужасомъ почувствовала, что отъ этихъ губокъ сильно пахло лукомъ.

Отъ старушки-бабушки благотворящія особы отправились далѣе. Онѣ взяли на свое попеченье четыре семейства. Кромѣ бабушки, имъ предстояло еще посѣтить бѣднаго старичка-писаря, разбитаго параличомъ, одну вдову съ тремя дочерьми-дѣвицами и одно бѣдное семейство, жившее въ какой-то трущобѣ. Но всѣ эти посѣщенія вышли какъ-то весьма неудачны. Старичекъ-писарь оказался безъ „заднихъ ногъ“ и, несмотря на всѣ старанія жены его поддержать decorum передъ благотворительными особами, —очень жалостно клянчилъ: двугривенничекъ на косушечку!

Съ вдовой и тремя дѣвицами было еще хуже.—Тамъ благотворительныя особы встрѣтили весьма оживленную и развеселую компанію, такъ что поскорѣе отретировались вспять. А лакей съ кучеромъ цѣлую дорогу помирали со смѣху.

Но всего хуже была исторія съ посѣщеніемъ одного бѣднаго семейства. Барынь подвезли къ громадному дому, который представлялъ изъ себя обитаемыя развалины. На дворѣ, куда въѣхала каретка, словно въ помойную яму, была грязь и хаосъ невообразимый. Барыни вышли на покачнувшееся крыльцо, съ почернѣлой и никогда незапиравшейся дверью. По узенькой, тоже почернѣлой и заплесканной лѣстницѣ, они поднялись во второй этажъ и вступили въ длинный темный корридоръ, точно въ подземную штольню душнаго рудника. По обѣимъ сторонамъ корридора шли какія-то камеры. Изъ нихъ несся нестерпимый ароматъ чада, мыльной воды, лука и водки, неслись неистовые крики и вопли, бренчанье гитары, гнусливые звуки гармоники; въ корридорѣ валялись

*) Теперь пойдемъ!

тюфяки и койки, кадки и корыта. Барыни съ ужасомъ остановились на первыхъ шагахъ, посмотрѣли другъ на друга и... бросились вонъ...

— Господи! Этакой адъ кромѣшный!—вскричала ея превосходительство, торопливо шагая къ каретѣ.

— Horreur! Horreur!—повторяла она, когда каретка уносила ихъ изъ вертепа нищеты.

Дочка также была перепугана, но она думала, какъ бы искоренить эту грязь, очистить, чтобы весь народъ, tout peuple, былъ цивилизованъ, потерялъ бы грубость, былъ добръ, набоженъ... Она даже изыскивала средства, какъ все это сдѣлать, какъ развесть больше школъ, даже завлекалась своими мечтами. Но когда каретка выѣхала на блестящую улицу, когда мимо ея стали быстро мелькать коляски съ знакомыми дамами и кавалерами на такихъ статныхъ лошадяхъ—то всѣ ея мечты улетѣли, даже воспоминаніе объ ясномъ личикѣ chérubin monstre поблѣднѣло и исчезло, — какъ исчезаютъ зерна, что бросаетъ сѣятель при дорогѣ,—и налетятъ птицы и поклюютъ ихъ и разлетятся безслѣдно...

III.

Проходили дни и недѣли. Каждый день старушка-бабушка говоритъ:

— Вотъ, сударушка-Машурка, сегодня намъ привезутъ и кровать, и одѣяльце тебѣ, и бѣлья... Какъ бы хорошо было новую рубашечку надѣть къ Христовой заутренѣ!..

Но день проходилъ, наступалъ вечеръ, и бабушка махала рукой.

— Нѣтъ, видно забыли, или не время... а то можетъ не случилось ли что-нибудь? Какая ни на есть бѣда... Спаси, Господи!

Но никакой бѣды не произошло. А просто каждый день ея превосходительство говорила Любѣ:

— Ахъ! Люба! Гдѣ у тебя тамъ перечень? Надо закупить да послать имъ.

И Люба вынимала перечень и прочитывала, чего надо послать.

— Вотъ это я сама куплю, а это—Потапъ,—распоряжалась ея превосходительство.—А это надо посмотрѣть: нѣтъ ли чего изъ стараго?..

И старое выносилось, разсматривалось, разбиралось и снова пряталось. Тѣмъ дѣло и кончалось!

Люба съ своей стороны не менѣе дѣятельно принялась за одѣяльце для chérubin-monstre, которое она непремѣнно хотѣла сшить собственными руками. Одѣяльце это предполагалось сшить изъ разныхъ цвѣтныхъ лоскутковъ, которые остались у ней и ея знакомыхъ отъ платьевъ. Она съ усердіемъ выпрашивала эти лоскутки у своихъ подругъ и твердо держалась того правила, что съ міру по ниткѣ—голому рубашка.

И она усердно принялась за шитье одѣяла. Сперва она хотѣла выполнить какой-то весьма хитрый узоръ, но затѣмъ разсудила, что такой узоръ весьма хлопотливъ и исполненіе возьметъ много времени, а чѣмъ скорѣе сшить одѣяльце для chérubin-monstre, тѣмъ лучше. И вотъ все одѣяльце сшивалось обыкновеннымъ, плебейскимъ способомъ изъ разныхъ треугольныхъ лоскутковъ. Первые три дня она работала безъ перерыва и даже по ночамъ сидѣла, но черезъ три дня эта мозаика навела на нее такую тоску, что она рѣшилась немного отдохнуть, хоть одинъ денекъ. Вѣдь, собственно говоря, и эти три дня постоянной работы, безъ отдыха, что-нибудь да значили. Притомъ надо и то принять во вниманіе, что иголка плохо слушалась ея ручекъ, такъ что пальцы ихъ были всѣ исколоты—а они были такіе прелестные, длинные, розовые пальчики. Да и вся ручка была такая бѣленькая, маленькая, такая выхоленная, разными crêmes d'orizas, что просто ей бы вовсе не слѣдовало работать, а стоять гдѣ-нибудь за стекломъ, въ золотой рамѣ—всѣмъ на показъ, какъ перлъ творенія и цивилизаціи.—И все-таки она работала... развѣ это не умилительно!!..

Одѣяльце уже подходило къ серединѣ, въ которую должна была войти очень красивая звѣзда изъ самыхъ яркихъ, дорогихъ, шелковыхъ и бархатныхъ лоскутковъ. Они были нарочно отобраны и завернуты въ особую бумажку. Но дойдя до этой середины, Люба рѣшилась отдохнуть. Она съ ужасомъ посмотрѣла на свои исколотые пальцы и подумала: какъ она

покажется съ этими пальцами въ концертѣ?! Нужно будетъ не снимать перчатки. Но потомъ подумала, что вѣдь это своего рода penitence, что она исколола ихъ ради добраго дѣла, а развѣ можно стыдиться своего добраго дѣла. И она съ радостью и гордостью отправилась въ тотъ же вечеръ на чудовищный духовно-классическій концертъ; она даже не надѣла перчатки на одну руку, нарочно, чтобы показать всѣмъ своимъ знакомымъ, какъ она исколола себѣ хорошенькіе бѣдные пальчики, работая для бѣдныхъ.

На другой день она встала очень поздно и, позѣвывая, хотѣла было приняться за одѣяльце, но тутъ встрѣтилось другое препятствіе. Cousin прислалъ ей самый новый, т. е. самый модный и безконечно длинный романъ, а она была такая страшная охотница до романовъ. Притомъ въ этомъ романѣ были выставлены въ такомъ чудномъ свѣтѣ всѣ забитые и придавленные, что Люба просто плакала надъ нимъ, плакала надъ этимъ дивнымъ Жанъ Вальжапомъ – этимъ рыцаремъ-каторжникомъ, который совершаетъ такіе удивительные подвиги чести и добра.

Прошло около трехъ дней прежде, чѣмъ она кончила этотъ романъ, и только-что хотѣла съ новыми силами, вся проникнутая любовью къ долгу и къ бѣдному chérubin-monstre, опять приняться за одѣяльце—какъ встрѣтилось новое и совершенно непредвидѣнное обстоятельство. Вдругъ прилетѣли двѣ подруги, шумѣли, восторгались и непремѣнно тащили ее принять участіе въ удивительныхъ живыхъ картинахъ, гдѣ одна изъ подругъ будетъ представлять „любовь“, а другая—„благотворительность“.

— C'est une idée charmante! *) Прелестная идея! — кричала одна подруга. Представь, ma chère **), что я вся буду въ розовомъ сіяньи. Serge Koschotkin ***) устраиваетъ это какъ-то посредствомъ электричества, а Nadine ****) будетъ стоять рядомъ со мной, рука въ руку, и на ней будетъ серебряная блуза—on dit qu'on peut procurer такую матерію —

---

*) Это прелестная мысль!..
**) Моя милая..
***) Сергѣй Кошоткинъ.
****) Надя...

ее называютъ глазетомъ. Мы только еще не рѣшили: надѣть ей parure de diamants или нѣтъ, а вокругъ Nadine будутъ дѣти, — Поль Бѣшацкій, Маша и Костя Чупидцевы, Comte Борецкій и много, много!.. Всѣ они будутъ въ рубищѣ, en haillon, и я всѣмъ имъ буду раздавать Sainte Ecriture, бѣлый хлѣбъ и цвѣты...

Люба было возразила, что это будетъ нѣкоторымъ образомъ профанація благотворительности, но всѣ ея возраженія были совершенно опрокинуты, и подруги тогда только оставили ее въ покоѣ, когда она дала честное слово участвовать въ картинѣ: „Вѣра, Надежда и Любовь“.

Исторія съ живыми картинами продолжалась вплоть до страстной недѣли. Хлопотъ было очень много. Надо было устраивать костюмы, ѣздить на репетиціи, толковать, суетиться—такъ что Люба и сама не знала, какъ прошло уже Вербное воскресенье и наступилъ понедѣльникъ. Ну, а на страстной недѣлѣ какая же работа?! Тутъ надо говѣть—молиться, а не работать. Впрочемъ, урывками, по ночамъ, она все-таки работала. Вѣдь и это тоже святое дѣло—трудъ и прилежаніе!

Въ страстную пятницу опять налетѣли подруги.

— Мы, ma chère,—кричали онѣ, хохоча и волнуясь,—яицы красимъ! Рѣши, которое лучше,—и обѣ подруги вертѣли у ней передъ глазами мраморными яичками, пестрыми, съ такими чудными, тонкими жилками и крапинками, что просто прелесть!..—Мы непремѣнно рѣшили, что будемъ христосоваться собственными яицами, и ты, вѣроятно, дашь намъ яичко собственнаго крашенья... Посмотримъ, которое будетъ лучше!..

И Люба тотчасъ же занялась крашеніемъ, благо матерьялъ нашелся подъ руками—лоскутки, собранныя для Машуркина одѣяльца. По правдѣ сказать, она взяла этотъ матерьялъ съ крайней неохотой и послѣ долгаго размышленія.—„Что же, думала она, вѣдь до Пасхи осталось всего два дня. Не успѣю же я дошить въ эти дни одѣяльце, потому что и половины его еще не дошито. А тамъ я могу достать много новыхъ лоскутковъ.“—И она припялась щипать лоскутки; она развернула ту пачку ихъ, которая была оставлена для сере-

дины одѣяльца,—тамъ были лоскутки самые яркіе и красивые. Она вынула изъ нихъ лоскутокъ самаго алаго бархата и вырѣзала изъ него маленькое сердечко.

— Онѣ,—подумала она о своихъ подругахъ,—вырѣзываютъ и накрашиваютъ на своихъ яицахъ кресты, а я накрашу сердечко. Это будетъ очень красиво, а главное оригинально!

IV.

Наступила весна, теплая, дружная. Холодный снѣгъ растаялъ подъ лучами солнца, и земля проснулась, ожила подъ этими грѣющими, животворными лучами. Все живое проснулось къ жизни. Каждое зерно почувствовало притягательную силу тепла и свѣта и потянулось въ ростъ, раснустило свѣжіе зеленые листики навстрѣчу ласковому, любящему солнцу. Каждая травка, каждый кустъ и дерево окружились незримой пахучей атмосферой, жаждущей себѣ отвѣта, созвучія въ окружающемъ мірѣ. А люди суетились, хлопотали и среди возни и обыденныхъ заботъ ждали великаго дня, въ который воскресаетъ великая безконечная любовь всего міра; ждали затѣмъ, чтобы на одинъ мигъ встрѣтиться, обняться, поцѣловаться дружескимъ братскимъ поцѣлуемъ и затѣмъ тотчасъ же снова похоронить на цѣлый годъ великую, безконечную любовь всего міра.

И Машурка ждала этого дня, вся трепетная и сіяющая. Она вся жила своимъ внутреннимъ міромъ, и глубже, сильнѣе утягивалъ ее этотъ міръ.

— Да ты бы, Машурочка, скушала чего-нибудь.—Шутка сказать, другой день ничего не ѣла,—говоритъ бабушка.

— Нѣтъ, бабуньчикъ! Мнѣ ничего не хочется, мнѣ такъ хорошо. Дай мнѣ подремать, не мѣшай мнѣ...

И бабушка съ изумленіемъ смотритъ на ея личико. Такое оно хорошее — тихое да ласковое, словно тихая, весенняя вода въ разливъ, когда рано утромъ, на восходѣ, смотритъ въ нее красное солнце.

— Господи! Спаси ее!—думаетъ съ ужасомъ бабушка,—ужъ не больна ли она, родненькая моя?!..

И сердце ея дрожитъ и замираетъ при одной мысли потерять ея роднёнькую.

А Машурка, въ ея мечтахъ и грёзахъ, еще глубже, еще выше уходитъ въ сіяющую высь надзвёздную. Тамъ все хорошо, все чисто и свято. Тамъ невидимыя лица поютъ неслыханныя пёсни. Тамъ тонкій воздухъ свётитъ и ластится, и благоухаетъ, и звучитъ чудными мелодіями. Тамъ все благо и все гармонія.

И какъ тяжело изъ этого чуднаго міра пробуждаться здѣсь, въ нашемъ темномъ, связанномъ, нестройномъ и неустроенномъ мірѣ! Пробуждаться среди душнаго, сырого подвальчика, среди нищеты и всякихъ лишеній, пробуждаться больной, убогой калѣкѣ, съ высохшими ручками и ножками, осужденной на всю жизнь на постоянное, безъисходное страданіе!

— Бабушка, — говоритъ она, смотря своими большими ясными глазами прямо на бабушку, — дорогой мой бабунчикъ, ты хотѣла бы видѣть меня счастливой, веселой, здоровой?..

— Ахъ, ясная моя!—говоритъ бабушка, всплескивая руками,—о чемъ ты меня спрашиваешь?! Какъ не хотѣть, свѣтикъ мой! Да я бы, кажись, обѣ бы руки и ноги отдала, если бъ Господь милосердый тебѣ здоровья послалъ... Ужъ я не знаю, какому угоднику молиться... Господи!—крестится бабушка, и слезы бѣгутъ у ней по впалымъ щекамъ.

— Бабушка,—говоритъ опять Машурка тихо и внятно, — если ты дѣйствительно любишь меня, то пусти меня туда,— и она откинула головку и устремила глаза на закопченый, растрескавшійся потолокъ подвальчика, — туда, въ вышину небесную, гдѣ свѣтъ и радость, гдѣ добро и правда.

Бабушка поблѣднѣла и задрожала... Отъ одной мысли потерять сударушку Машурку у ней потемнѣло въ глазахъ и закружилась голова.

— Господь съ тобой, хорошая моя!.. О чемъ ты говоришь, зачѣмъ ты меня, старуху, пугаешь!

— Бабушка,—продолжаетъ Машурка все тѣмъ же тихимъ, ровнымъ, внятнымъ говоромъ, — родная моя, если ты дѣйствительно любишь меня, ради меня, а не для себя,—пусти

меня въ свѣтлую сторону, гдѣ нѣтъ ни „печали, ни воздыханія“... а здѣсь я лишняя. Безъ меня ты лучше устроишь свою жизнь...

— Полно, полно, родная моя,—говоритъ бабушка сквозь слезы,—какая моя жизнь будетъ безъ тебя!.. Машурочка! подумай ты, на что мнѣ жизнь-то старой старухѣ?.. Одна ты у меня свѣтелъ свѣтъ въ очахъ, ясная моя, ненаглядная. На что мнѣ жить безъ тебя?!

И бабушка плачетъ, разливается.

— Бабушка,—говоритъ снова Машурка, когда бабушка немного успокоилась,—бабушка, родная моя, ты подумай только: на что, кому нужна наша жизнь безплодная. Развѣ мы приносимъ кому-нибудь пользу, добро?.. Бабуньчикъ, милый мой, вѣдь я знаю, что ты для меня живешь, что ты нянчишься, ходишь за мной, какъ за своей дорогой куколкой,— но я-то сама кому нужна? Какую кому я пользу приношу на семъ свѣтѣ? Тряпочка никому ненужная... даромъ, просто даромъ занимаю я уголокъ въ Божьемъ мірѣ... а иной человѣкъ, полезный, трудящійся, поселился бы въ этомъ самомъ подвальчикѣ, который мы теперь съ тобой праздно занимаемъ — и служилъ бы онъ добрую, благую службу въ семьѣ людской и на своемъ мѣстѣ былъ бы всѣмъ нуженъ и всѣмъ милъ и дорогъ.

Слушаетъ бабушка, слушаетъ сударушку Машурку и не понимаетъ ее; только одно она чувствуетъ, что все сердце у ней сжимается при тяжелой, противной мысли разстаться съ сударушкой Машуркой. Не можетъ она одолѣть, помириться, проникнуться этой ужасной, убійственной мыслью.

И цѣлый день ходитъ она, какъ потерянная... Смутно сознаетъ она, что надо помириться съ ней, съ этой убійственной мыслью, но вѣдь сердце не клубочекъ, не совьешь его, какъ хочешь, да не бросишь куда-нибудь въ уголокъ: „лежи молъ и знать тебя не хочу!“ Понимаетъ она очень хорошо, что умри она прежде Машурки—и родненькой ея некуда будетъ дѣться. Никто не станетъ ходить за ней, „никто не будетъ ухаживать за ней, голубушкой, такъ себѣ просто бросятъ калѣку, какъ щеночка негоднаго, околѣвай молъ, калѣка, никому ты не нужна, ни на что не способна!..“

И текутъ, текутъ, капаютъ горькія слезинки изъ слѣпенькихъ глазъ бабушки. „Охъ! Господи! Господи!“ шепчетъ она, и крестится, и молится, и не можетъ отогнать горькую мысль, что сдавила ей сердце, словно тисками холодными.

— Машурочка!—говоритъ она, подходя къ кроваткѣ,— Машура, голубая моя!..

Но не можетъ она сладить съ надоѣдными слезинками и, махнувъ рукой, опять отходитъ къ окошечку и закрываетъ глаза уголочкомъ шейнаго платка.

— Бабушка, родная моя!.. поди ты ко мнѣ... не убивайся такъ... а послушай лучше меня...

И послушно подходитъ бабушка и садится на кроватку, подлѣ своей рѳдненькой...

— Послушай меня, дорогая моя... поди ты въ сестры милосердія!

Бабушка горько усмѣхается:

— Голубчикъ ты мой! кто же возьметъ меня, старуху? Какая я сестра милосердія? Куда я гожусь, Машурочка моя?!..

— Какъ куда, бабуньчикъ? Вѣдь ты ходишь за мной, — ты нашу каморку содержишь въ чистотѣ, ты и бѣлье на насъ стираешь, и печку топишь? — Бабушка, родная моя! Всѣ мы должны работать и не жить праздно... Найди себѣ какую-нибудь работу по силамъ... Послушай, голубая моя!

— Машурочка ты моя,—говоритъ бабушка, горько плача,— жизнь-то моя вся вышла такъ, что къ работѣ-то я не пріучена, а привыкла я только трудиться для тебя, родная моя... Коли не будетъ тебя... на кого же я буду работать, подумай ты это... разсуди!..

— На всѣхъ, бабуньчикъ, на всѣхъ, на кого можешь... вѣдь всѣ люди—братья намъ... работай на всѣхъ Христа-ради!..

— Охъ! родная моя, какая теперь работа на всѣхъ... Нонче каждый работаетъ изъ выгоды... Вонъ у Третьякова на заводѣ, третьяго дня набрали, говорятъ, работницъ изъ старухъ, такихъ, какъ я, какую-то мочалу разбирать — и дали по гривеннику въ день и задали урки такіе, что и силь-

ному да здоровому человѣку дай Богъ въ день управиться... Ну, къ вечеру урки не кончили—и никому разсчета не дали, а на другой день новыхъ старухъ набрали, благо народу много, насъ, старухъ убогихъ... Такъ вотъ, родная моя, какова работа-то для всѣхъ—нонче каждый норовитъ не то что своему брату помочь, а какъ бы съ брата-то урвать чего-нибудь... Всѣ стали шеромыгами да выгодниками!..

Бабушка, родная моя, а ты не смотри на всѣхъ... Что за дѣло, что теперь нѣтъ совѣсти, нѣтъ любви къ брату своему, а есть одна выгода...

— Машурочка!.. да какъ же я противъ всѣхъ-то пойду?!..

— Иди!..—говоритъ Машурка, и въ глазахъ ея заблистали слезинки...—Иди! родная моя, съ вѣрой въ помощь Господню, съ любовью къ дѣлу, на пользу брата твоего... Иди, и Богъ тебѣ будетъ судья и помощникъ!..

Бабушка ничего не возразила, она отвернулась отъ Машурки, опустила голову и, задумавшись, собирала свой передникъ на колѣняхъ во множество складочекъ, разглаживала эти складочки, снова расправляла и снова складывала. Ея слезинки исчезли... Она глубоко, крѣпко задумалась...

— Что я?—говорила она, какъ бы сама съ собой.—Куда я гожусь?.. Старый пенекъ, что стоитъ одиночкомъ, между камнями, на широкомъ, широкомъ полѣ!.. Развѣ и взаправду пойти въ сестры милосердія?.. Можетъ быть и примутъ?.. Какъ знать, что Господь на душу положитъ...

— Бабушка!—говоритъ Машурка,—подумай и помни одно: всѣ мы должны любить больше всего правду и добро... чтобы съ этой любовью пойти туда, на судъ Господень...

— Такъ, родная моя...—говоритъ бабушка, какъ бы очнувшись отъ думъ своихъ.—Машурочка... вѣдь стара я!

— Развѣ старость помѣха, бабуньчикъ?.. Люби дѣло и правду... и все для тебя будетъ молодо, свѣтло и радостно...

— Ахъ, Машурочка, — говоритъ бабушка, быстро вставая,—позабыла я, родная моя!.. вѣдь надо рубашечку-то тебѣ выстирать къ празднику...

— Постой, бабурочка милая моя, успѣешь ты выстирать и приготовить какъ слѣдуетъ все житейское... подумаемъ лучше, какъ бы жизнь была чище и правдивѣе.

— Охъ, Машурочка!—говоритъ бабушка, вдругъ остановясь и складывая ручки,—думъ-то у меня нѣтъ въ головѣ... стара я стала... дай ты мнѣ все сообразить понемногу да исподволь...

И цѣлый день бабушка соображаетъ и думаетъ и не даетъ ей покойно работать глубокая дума... Стираетъ она, стираетъ и вдругъ остановится... руки въ водѣ, а думы ея летаютъ далеко, далеко...

И подъ этими думами все яснѣе и тише становится въ ея старческомъ сердцѣ—словно легкокрылая бабочка залетѣла въ это сердце и трепещется свѣтлыми крылышками и тихо навѣваетъ миръ и покой, и глубокій и сладостный.

— Господи!—думаетъ она,—умудрилъ младенца невиннаго—и этотъ младенецъ открылъ мнѣ внутреннія, правдивыя очи!.. Пусть же улетитъ онъ, этотъ младенецъ невинный, въ выси горнія!.. Зачѣмъ я буду его связывать?.. Прощай, моя сударушка, прощай, радостная!.. Да приметъ тебя Господь милосердный!.. Настрадалась ты въ жизнь свою скоротечную!

И не чувствуетъ бабушка, какъ льются изъ глазъ ея, катятся свѣтлыя радостныя слезинки и падаютъ на ея высохшія, старческія ручки и въ мыльную, грязную воду...

V.

Три дня, три ночи лежитъ Машурка безъ движенія, еле дышетъ, едва говоритъ, но попрежнему спокойно исхудалое личико и свѣтятся ея ясные глазки. Порой словно тѣни внутренняго страданія заволокутъ его, сдвинутся бровки, стиснутся зубы, потускнѣютъ глазки, но пробѣжитъ это облако и снова сіяетъ тихой радостью кроткая улыбка на поблѣднѣвшихъ истрескавшихся губкахъ дѣвушки.

Бабушка одѣла Машурку, снарядила, приготовила—одѣла въ бѣленькое платьице—точно къ причастью или къ Христовой заутренѣ.

— Отлетай, мой ангелъ!..—шепчетъ она.—Не стану я удерживать тебя, родная моя голубушка!.. Давно бы мнѣ, старой, догадаться, проститься съ тобой и проводить тебя къ Господу... Да развѣ это дѣло нашего ума?! Развѣ мы

живемъ для другихъ, для Господа?.. Каждый прежде всего думаетъ о себѣ, только бы ему хорошо было... тепло да пріютно!.. а тамъ, молъ, я въ церковь схожу да помолюсь и буду какъ есть человѣкъ!.. Охо! хо! хо! Грѣхи, грѣхи міра сего!

Положила бабушка подлѣ Машурки на столъ Библію, что привезли добрая барыня и барышня, — и поставила передъ ней образокъ и тоненькую свѣчку изъ желтаго воску.

Сдѣлавъ все это, обрядивъ Машурку, какъ слѣдуетъ, помолилась и поклонилась въ землю предъ ея кроватью.

— Прощай, Машурочка!..—проговорила она, — прощай, моя родная!.. улетай, голубокъ мой радостный!.. и не забывай свою бабушку-старушку, убогую, горемычную!..

Затѣмъ она встала, нагнулась къ Машуркѣ, къ ея блѣдному, потухшему личику и поцѣловала ее... И Машурка собрала всю силу, которая еще тлѣла въ ней, и отвѣтила бабушкѣ послѣднимъ горячимъ поцѣлуемъ. Легкая краска разлилась при этомъ по ея личику, слезинки засверкали на потухавшихъ глазкахъ... Она даже нашла въ себѣ силы проговорить съ трудомъ, чуть слышно, коснѣющимъ языкомъ:

— Прощай!.. бабура моя!.. милая!..

И это были послѣднія слова ея. Бабушка уже смотрѣла на нее какъ на мертвую и все крестилась... укладывалась, собиралась на новую, трудовую жизнь...

— Надо будетъ продать всю эту рухлядь...—соображала она.—Чай и двухъ рублей не дадутъ за все добро!.. Господи! Господи!.. Платьица Машурочкины тоже продать надо будетъ... Платочекъ красненькій оставлю я на память объ моей горлинкѣ!.. Охъ! ума-то, думы-то во мнѣ нѣтъ, думы-полетайки правдивой... Стара я, стара. Господи! помилуй меня грѣшную!

Настала страстная суббота, бабушка сходила къ обѣднѣ. Церковь, казалось ей, была такая тихая и радостная. Всѣ люди молились такъ сосредоточенно и степенно, точно въ глубинѣ ихъ сердца раскрылась незримая, таинственная дверь, и скрытый внутренній человѣкъ, тотъ человѣкъ, который чувствуетъ кровное, близкое родство со всѣми другими своими братьями, тотъ, который понимаетъ, что ихъ недостатки—

его недостатки, что ихъ силы и стремленія — его силы и стремленія, что ихъ радости и горе—его радости и горе—этотъ внутренній человѣкъ проснулся, вышлылъ наружу и, удивленный и тронутый, смотритъ на весь Божій міръ.

Цѣлый день и вечеръ старушка-бабушка была тиха и восторженно радостна. Не съ грустью и тяжелымъ убійственнымъ горемъ она готовилась встрѣтить великій сонъ смерти, а съ теплой, горячей вѣрой въ иную, вѣчную жизнь.

Порой она подходила къ Машуркѣ, наклонялась и слушала ея едва слышное прерывистое дыханіе.

— Еще здѣсь!—шептала она.—Не отошла, моя горлинка...

И она крестила ее, крестилась сама и отходила прочь.

А тихій весенній вечеръ наплывалъ торжественно и незамѣтно—и свѣтлая ночь надвинулась, словно тихій весенній вечеръ.

Въ каждомъ домѣ, въ каждой семьѣ,—въ богатыхъ палатахъ дворца и въ тѣсной каморкѣ угрюмой нищеты, повсюду трепетно ждали великаго, святаго часа, когда воскреснетъ великая любовь всего міра.—Всюду суетились и готовились идти въ церковь.

И бабушка—еще разъ, въ послѣдній разъ, перекрестивъ и поцѣловавъ Машурку, отправилась въ домъ Божій, отправилась радостная и сіяющая.

Идетъ, спѣшитъ она, подбирая свое бѣлое канифасное платье и кутаясь въ поношенную желтую шаль, идетъ, спѣшитъ вмѣстѣ съ другимъ божьимъ людомъ.

И вотъ наконецъ—онъ, Божій храмъ—весь убранный радостными огнями — блеститъ и сіяетъ торжественно и радостно.

Бабушка встала въ уголку у колоннъ, тоже торжественная и радостная. Стоитъ и смотритъ, какъ идутъ мимо ея, проходятъ впередъ, господа и нарядныя барыни и барышни; всѣ такъ разряжены, разубраны—въ газахъ и кружевахъ, и кажется ей, что отъ бѣлизны ихъ платьевъ вся церковь еще сильнѣе блеститъ и свѣтится. Огни наверху, огни на стѣнахъ, огни внизу, все горитъ радостью. Трепетъ въ сердцѣ, дрожь въ рукахъ, круженье въ головѣ, а въ вышинѣ торжественно, величаво звучатъ, гудятъ, ликуютъ звуки: Христосъ воскресъ!.. Христосъ воскресъ!..

Воскресла человѣчность въ сердцахъ человѣческихъ! На мигъ, на самый краткій мигъ, вспыхнула любовь, и всѣ люди встрепенулись въ дружномъ, братскомъ порывѣ, забыли гнѣвъ и злобу, невзгоды и лишенія, счеты и дрязги, перегородки и приличія и пошли цѣловаться братскимъ поцѣлуемъ.

— Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!

— Христосъ воскресе! бабушка!

— Воистину воскресе!..—и бабушка цѣлуется съ толстымъ Архипычемъ и совсѣмъ забыла, какъ онъ зимой обзывалъ ее сволочью голопятою...

— Христосъ воскресе! бабушка!— И бабушка цѣлуется съ хозяиномъ, съ самимъ Иваномъ Ферапонтычемъ... и совсѣмъ не замѣчаетъ, что на его шеѣ горитъ брилліантовая звѣзда.

— Христосъ воскресе! бабушка!..

И совсѣмъ оторопѣла, глазамъ не вѣритъ бабушка,—самъ, самъ... его превосходительсто нагибается къ ней—и цѣлуетъ ее.

— Господи! Господи!—вертится въ ея головѣ...—всѣ мы люди!

— Христосъ воскресе! бабушка!..—И легкая, воздушная, сіяющая наклоняется Люба къ растерявшейся бабушкѣ...

— Воистину воскр...—бормочетъ оторопѣлая бабушка.

— А это снесите вашей внучкѣ и поцѣлуйте ее за меня!..

И Люба даетъ въ руки бабушкѣ мраморное яичко, блѣдносѣрое съ малиновымъ сердечкомъ.

— Христосъ воскресе! бабунчикъ милый!..

И вся задрожала бабушка, услыхавъ этотъ тихій, нѣжный голосокъ... И кто-то чуть слышно поцѣловалъ ее.

— Машурка!..—вскрикиваетъ бабушка, вся трепещущая и радостная,—Машурочка!..—и все кружится, кружится въ ея отуманенной головѣ...

Прислонилась она къ колоннѣ ни жива, ни мертва... И какъ сквозь сонъ слышится ей пѣнье клира и сверкаютъ свѣчи сквозь слои синяго дыма и крестятся, молятся божьи люди.

— Нѣтъ, не достою я!..—думаетъ бабушка; сердце у ней колотится въ груди, руки и ноги дрожатъ.

И выходитъ она изъ церкви, и крестится, и бѣжитъ домой, вся переполненная восторгомъ и ужасомъ.

Свѣтло, пусто на дворѣ, заря румянится на востокѣ, кое-гдѣ тлѣетъ, потухаетъ одинокая, запоздалая плошка.

Не помня себя, отпираетъ бабушка свой подвальчикъ и сходитъ въ него.

Кто-то стоитъ посреди подвальчика, что-то бѣлѣетъ въ полумракѣ. Бабушка всматривается, всматривается.

— Машурка!—шепчетъ она и крестится.

— Бабурочка милая!..

— Ты жива, встала?..—хочетъ спросить ее бабушка.—Я тебѣ яичко принесла отъ барышни...

— Дай, бабушка, мнѣ яичко,—чудится бабушкѣ.—Вѣдь это не яичко, а одѣяльце мнѣ!..

И вдругъ Машурка блѣднѣетъ, расплывается, таетъ.

— Машурочка!..

— Я здѣсь, здѣсь, бабуньчикъ, здѣсь съ тобой, всегда съ тобой!..—какъ будто кто-то шепчетъ у ней надъ ухомъ...

Дрожитъ и трепещетъ бабушка; дрожатъ, трясутся ея старческія ноги и руки. Едва-едва съ трудомъ великимъ зажигаетъ она сѣрничекъ и маленькую свѣчечку; съ трепетомъ подходитъ она къ кроваткѣ, гдѣ лежитъ Машурка... наклоняется надъ ней...

Ясно и покойно блѣдное, мертвое личико. Въ тихой думѣ приподняты бровки надъ закрытыми глазками. Кротка и привѣтлива грустная улыбка. А въ маленькой ручкѣ лежитъ мраморное яичко, лежитъ алымъ сердечкомъ кверху — и какъ будто само Благо смотрится въ это доброе, открытое сердечко!..

— Преставилась, отлетѣла голубушка!..—шепчетъ бабушка, и крестится, и вся дрожитъ, и трясется, всхлипываетъ и плачетъ.

— Я здѣсь, бабуньчикъ!.. здѣсь, моя радостная!—опять тихо раздается въ ея ушахъ.— Я жива, не разстанусь съ тобой, не плачь, моя милая!.. И ей кажется, что кто-то ластится къ ней, кто-то треплетъ ее маленькой ручкой, утираетъ ея слезинки, гладитъ ея сморщенныя щеки и обнимаетъ сухую шею...

Схоронили тѣло Машурки. Бабушка проводила его на кладбище.

— Куда я ее пристрою? Вишь мѣстовъ-то нѣтъ!—говоритъ сердитый могильщикъ.

Но нашлось мѣсто—небольшой уголочекъ между двухъ большихъ могилъ. Выкопалъ могильщикъ яму въ аршинъ, и тутъ же набѣжала въ нее вода. Поставили въ эту воду маленькій гробикъ, и почти весь гробикъ скрылся въ водѣ.

— Все равно,—думаетъ бабушка...—развѣ не все равно гдѣ гнить ея тѣлу?!..

— Все равно! Все равно! Бабура милая!—шелеститъ въ ея ушахъ холодный, осенній вѣтеръ . . . . . .

Продала всю рухлядь бабушка, простилась съ подвальчикомъ, простилась съ хозяиномъ. Пошла проститься и къ его превосходительству.

Бабушку встрѣтили радостно и привѣтливо. Люба такъ сильно удивилась и огорчилась, когда услыхала о смерти chèrubin-monstre... „Вотъ теперь и одѣяльца не нужно и труды мои даромъ пропали!“ подумала она.

А его превосходительство далъ бабушкѣ цѣлыхъ десять рублей, а главное—рекомендательное письмо въ общину сестеръ милосердія.

Очень ужъ былъ радъ онъ, разумѣется не смерти Машурки, нѣтъ, сохрани Богъ, а просто тому, что теперь это поганое дѣло о казначеѣ само собой прекратится.

И поступила бабушка въ общину сестеръ милосердія. Сначала было не хотѣли принимать ее, — куда молъ возьмемъ этакую старушку старую! Но испытали, попробовали — бабушка пробу выдержала, и приняли ее на послуги, черную работу справлять, за больными ходить, убирать, и приняли больше потому, что всѣмъ ужъ очень понравилось ея личико кроткое, доброе да любящее.

И всѣ больные полюбили старушку-бабушку.

— А ну-ка, бабушка, разскажи, какъ твоя внучка съ тобой бесѣдуетъ...— спрашиваетъ ее одинъ больной.

— Какъ же, батюшка мой, говоритъ со мной Машурочка моя...

— Да вѣдь она мертвая!..

— Нѣтъ, родной мой... Это ея тѣло мертвое, а она жива, голубчикъ мой... Вотъ, вотъ треплетъ, цѣлуетъ меня, говоритъ... ба-бунчикъ!..

— Сумасшедшая ты старуха!.. вотъ что я тебѣ скажу... все это галлюцинаціи у тебя... Понимаешь ты—га-л-л-ю-цинаціи. Все это тебѣ такъ только представляется... мерещится!..

Покачаетъ старушка головой и ничего не отвѣтитъ.

„Какъ же—подумаетъ она — убѣдить мнѣ тебя, что это правда?!.“

И дѣйствительно!—Какъ же можетъ сердце, переполненное великой любовью къ человѣку, не вѣрить, чтобы это была правда?!..

Котъ-Мурлыка.

Старая сказка.

Глухо стонетъ вьюга, стонетъ и рыдаетъ,
И въ окно стучитъ костлявою рукой...
Жгучій страхъ мнѣ сердце дѣтское сжимаетъ:
„Мама, дорогая, сядь, побудь со мной!..“

И она прильнула нѣжно къ изголовью,
Нѣжно лобъ мой гладитъ, въ очи мнѣ глядитъ,
И подъ голосъ вьюги, лаской и любовью,
Грустью и заботой рѣчь ея звучитъ...

Какъ она прекрасна!.. Въ трепетномъ сіяньи
Ночника она склонилась надо мной,
Точно свѣтлый ангелъ въ бѣломъ одѣяньи,—
Только легкихъ крыльевъ нѣту за спиной!

Что-то безконечно-кроткое сіяетъ
Въ безконечно-милыхъ, дорогихъ чертахъ,
И горитъ въ улыбкѣ, и въ очахъ ласкаетъ,
И звенитъ, чаруя, въ сдержанныхъ рѣчахъ...

Только отчего жъ такъ грустны эти глазки?
Отчего дрожитъ и холодна рука?
Отчего въ словахъ старинной этой сказки
Слышится такая правда и тоска?

„Мама, что съ тобой?“ Но мама заглушаетъ
Мой вопросъ тревожный ласкою своей.
И такъ близко-близко надо мной сіяетъ
И такъ чудно-нѣженъ взоръ ея очей!

Дѣтскій умъ недолго мучится сомнѣньемъ,
Сказка расцвѣтаетъ, искрится, растетъ, —
И я всей душой и всѣмъ воображеньемъ
Унесенъ въ тотъ міръ, куда она зоветъ...
. . . . . .

Снова стонетъ вьюга, стонетъ и рыдаетъ;
И въ окно стучитъ костлявою рукой,
И ночникъ невѣрнымъ свѣтомъ озаряетъ
Блѣдный ликъ, склоненный нѣжно надо мной...

И звенитъ мнѣ голосъ: „Въ долгой, горькой жизни
Много встрѣтитъ спящихъ твой усталый взглядъ,
Не клейми жъ ихъ словомъ ѣдкой укоризны,
Полюби ихъ, милый, полюби, какъ братъ!..

Позабывъ себя и не боясь глумленья,
Протяни имъ руку и впередъ зови,—
И блеснетъ во мглѣ имъ счастье обновленья,
И поймешь ты счастье братства и любви!..“

С. Надсонъ.

У наймы.

Нема краю шырокому, вильному степу! Простягся винъ ривный, ривный видъ кучугуривъ [1]) Днипровыхъ ажъ до самого Сывашу, уперся въ его, ставъ неначе на годыну, а дали

[1]) Песчаные холмы.

перекынувся черезъ Сывашъ, задавывъ его своею велычезною ривнотою и простягся вже вильно дали и дали, зачепывъ ричечкы Молочну, Дынъ и пропавъ десь... Коло самого моря лежить винъ—неначе залыцяється зъ нымъ шырокымъ и такымъ же вильнымъ: якъ два браты, одынъ тыхій, до осели прыхильный, а другый—ворогъ хаты... Видъ Днипра степъ хорошый, коло Сываша—понурый, билястый, зъ лысынамы. Тай не дыво ему засумуваты коло такого сусиды. „Никчемне море“ и коло его, и надъ нымъ:

И небо невмыте, и заспани хвыли,
И по-надъ берегомъ геть-геть,
Неначе пьяный, очеретъ
Безъ витру гнеться... [1]).

А трохы дали одъ того нудного берега, де тилько верблюжка [2]) червоненька —неначе кровъ—розлыта, або мъясыста—неначе слезамы вкрыта, дали

. . . . . не говорыть,
Мовчыть и гнеться, мовъ жыва
Въ степу пожовклая трава.

Оттакый-то шматочокъ степу, про который иде розмова.

Цей рикъ великый Богъ не хотивъ глянуты на степъ шырокый Своимъ мылостывымъ окомъ; прогнивылы Его Мылосердного, одвернувъ лыце Свое и въ той ментъ мертвымъ витромъ повіяло... Все, що зъ весны дотяглось зъ земли багатои, все зразу стало умирать. Витеръ зъ схидъ [3]) сонця віявъ, дувъ немылосердно, лютовавъ якъ хотивъ, всяку былыну, стеблыну звялывъ, зсушывъ. Зеленый хлибъ выйшовъ зъ земли травыцею роскошною, неначе кылымомъ вкрывъ степъ; повіявъ сердытый витеръ — и травыця звернулася у дудочку, завьяла, головонькы зхылыла до долу, пожовкла — и вмерла на вики... Курай [4]) колючый, да живучый, перекоты-поле чудовне, та летюче—видъ того витру повмиралы, и на Иллю святого степъ почорнивъ, неначе ярына у осени,

---

1) Стих. П. Г. Шевченко.
2) Трава, портулакъ.
3) Съ востока.
4) Сорная трава.

сирою землею, якъ попеломъ вкрывся. А чоловикъ, хлиборобъ, слезою гиркою вмывся... Дрохвы поутикалы, стрепеты знялыся и не верталысь, степъ захоловъ, замеръ.

Тилько Сѣвашъ своею важкою, сывою, якъ мертве око, хвылею лыже жовтый и попелястый берегъ.

По жовтій земли розкынулось село, якъ въ писни кажуть, стоить невесело. Хатки маленьки, зъ глыны складени; покривли, якъ у татаръ, нызьки, глыною вкрыти; повитки и сараи глыняни. Хата видъ хаты на пивъ верствы, а вулыця —якъ колышни шляхы. И все те жовте, прежовте: й хатки, й земля, й небо—все жовте. По всему селу ни одного деревця немае; будякы, що иноди ростуть рясно та густо, и ти жовти, обскублени. Тилько середъ самого села велыка, била церква сяе золотою банею и радуе втомлене око зеленымъ цвитомъ. По селу разбрелась худоба: кисткы та шкура одвысла на ій; кони зовсимъ запаршывилы. Нигде коло хатъ и на гарманахъ [1]) ничогисенькое немае: ни соломы, ни сина, ни половы... А по за селомъ стоить будка, соломою вкрыта и коло неи велыка жердына, а на ій вихоть соломы, та пучокъ ризокъ. Вартови стоять и денно и нощно,—то въ сели чума на худоби [2]), а вихоть та ризкы говорять: не идь, чоловиче, бо бытымуть!

Чудно на свити робыться! Якъ по за хатою стожкы весело красуються на сонечку божому, якъ на гармани повни кони, сыта худоба,—то коло хаты стоять стижечкы палыва —кырпычу (кизяку), по двору птыця вештаеться та щеботыть, свыня хрюка; у хати весело, видкиля тыхъ квитокъ навезуть; дивчата писни спиваютъ, весилля грають на сели, на вулыци люде ходять, паробкы спиваютъ, — а коло шынку, якъ коло вулья у теплый ясный день, такого тамъ людей... А якъ по за хатою голо, та пусто,—та нигде немае ничого — сумъ, тыша и въ хати, и на вулыци, а жыдъ у шынку цилый день спыть, або зачынить шынокъ и повіеться зовсимъ зъ села. Проидешъ черезъ таке село, сумъ, нудьга нападае; якъ бы не грихъ, такъ бы на тій жердыни и зависывся.

---

1) Токъ.
2) Худоба—рогатый скотъ.

Голодъ у сели. Страшне слово! Члены земськи трычи прыиздылы, прывозылы гроши; прыихалы ажъ тры валкы зъ хлибомъ,—але той хлибъ на новый посивъ,—а исты... исты— Богъ дасть. И Богъ давъ. Люде коней запрягалы, самы посидалы и потяглыся въ Херсонщыну, де Богъ хлиба давъ; одни повіялысь ажъ за Мыколаивъ, други поихалы ажъ у Кыивщыну... На сели тилько жинкы зъ дитьмы зосталыся та слаби...

Зосталась удова Ганна и коло неи пьятеро дитей: Степанъ чотырнадцяты годъ, Марыся двападцяты и трое зовсимъ малыхъ, такыхъ, що меньшому рикъ мынувъ.

Степанъ уже другый рикъ у наймахъ, винъ за кухаря коло котыгы [1]), бувъ пидпасычемъ коло шматка [2]) шпанкы [3]), а дали у кухари перейшовъ. Другый рикъ якъ винъ у богатого нимця по трыдцять карбованцивъ на рикъ ставъ и гроши прыносывъ Ганни. Велыку помичъ дававъ. Прыйде було—уси радіють: маты не знае, де посадыть, Марыся клопочеться коло его, роспытуе: якъ и що у панивъ, чи велыке село Чапли, чи велыка отара, якъ квиткы ростуть у горòдахъ панивъ; малеча лизе. А маты подывыться и нышкомъ заплаче. Коженъ разъ, що прыходывъ Степанъ—нужа его заидала; сорочкы немае—шматочкы брудни замисть неи. Обмыють его, одягнуть у чысте шмаття, одпочыне дома день, або й два и пиде знову на степъ Жылося Ганни не дуже погано; хлиба було доволи торикъ, хватыло ажъ до нового.—а нового Богъма,—та ничого, миркуе удова: прыйде на Покрову Степанъ и прынесе гроши.

Цилый день у Покровы ждалы Степана — не прыйшовъ. Другый день Марыся ажъ на толоку выходыла назустричъ— немае Степана. На пьятый день тилько прыйшовъ Степанъ и прынисъ клунокъ: въ ему було дви сорочкы, постолы, батигъ,—усе его збижжя. Дуже зрадилы ему.

— Що жъ це ты, сыну, такъ запизнывся?.. Мы тебе чекалы ще на Покрову, якъ торикъ...

---

[1]) „Котыга“ — двухколесный, передвижной амбаръ съ платьемъ, сапогами и провизіей.

[2]) „Шматокъ“—гуртъ овецъ тысячи въ двѣ головъ.

[3]) Испанской породы овцы.

— Такъ, запизнывся, бо...

— Що жъ це ты и клунокъ свій забравъ?

— Я, мамо, зовсимъ прыйшовъ.

— Якъ зовсимъ?—перелякано спытала Ганна, и сердце іи захололо.

— А такъ.

— Хиба жъ тебе выгналы?

— Выгналы.

— Ой лышенько! За що жъ, сыну, выгналы? Може ты самъ не схотивъ?

— Ни, я хотивъ, а шахмейстеръ [1]) прыихавъ и звеливъ иты до дому, я й пишовъ.

— Якъ же це такъ? Робывъ, робывъ, а проты зимы взялы, тай прогналы? Сыну мій коханый! ты видъ матери не таись: може ты що вкравъ, або що?

— Ни, мамо, не кравъ.

— Може яке ягня заризалы та ззилы?

— Ни, не ризалы... У Мейна не можно: вивци личени и колы яка пропаде, одибъется—заразъ штрапъ, а якъ здохне —маханъ [2]) собаци виддай, а шкурку шахмейстрови. Ни, тамъ не вкрадешъ, не зъисы.

— За що жъ, за що жъ воны таке роблять? А други зосталысь, чи й другихъ порозгоняно?

— Ни, зосталыся... Оце атаманы и стари чабаны зосталыся, а усихъ пидпасычивъ зъ нашыхъ селъ прогналы. Казалы, що у Каховци на ярмарку полтавци поставалы дешевше на зиму, а котри булы до Покровы у насъ такы, да у якономіяхъ—ти за харчъ сталы.

— Головонько жъ моя бидная! И грошей не далы?

— Не далы. Казалы, що уси забравъ, а упередъ не дають; такый прыказъ. Казалы, що хлиба и сина немае, такъ усимъ дають менче.

— Лышенько жъ мое! чымъ же я годуватыму васъ, диткы мои кохани?—заголосыла Ганна, а за нею и менши диты.

Довго она плакала, бо бачыла, що зима прыйде, заробыть

---

[1]) Главный овцеводъ.

[2]) „Маханъ"—тушка, мясо.

нигде, бо и въ Перекопи — и тамъ людей повно, за хлибъ роблять,—просто таки лягай, тай умирай.

— Мамо, а мамо! Та вы тое... чого вы плачете? А може й перезимуемъ...—говорывъ Степанъ.

— Сыну, мій сыну, дурна ты дытыно. Якъ же мы перезимуемъ? Безъ тебе було важко, а тутъ ще й тоби треба шматокъ хлиба,—де жъ я его визьму?

— Та воно може... якъ небудь... Може й перезимуемо.

— Ахъ!—промовыла Ганна:—дурне, дурне...

Хлиба жъ, хвалыть Мылосердного, було трохы, на мисяць стане, або й на два.

Заходылысь варыты исты. Марыся прынесла кырпычу, запалало у печи. Закыпила вода, вкынулы шматочка зо тры бурякивъ, та кыслого каменю, що въ Перекопи купують, та солы — отъ и борщъ. Хлибъ черствый и того по шматочку дае Ганна. Картопли немае — бо ій й заводу нема, картопля не родыть, а бурякы иноди ростуть; не родыть ніякои огородыны.

Одпочывшы днивъ зо тры, Степанъ пишовъ роспытувать людей. де бъ ему стати хочъ за харчъ. Одни зъ его сміялысь, други казалы: ты, Степане, хочъ и малый, а вже велыкый дурень. Хиба не бачышъ, що тутъ робыться? Самымъ исты ничого, а ще й наймытивъ держаты.

На Мыхайла пишовъ винъ до молоканивъ, чи не прыймуть до отары. Не прыйнялы, бо позганялы вивци на други степы, у други повиты — тутъ ничымъ годувать шпанку. Уже й морозы взялыся. Зима рано прыйшла. Оце уранци устане Степанъ, визьме дви виревкы, та у двоихъ зъ Марысею идуть на степъ збираты палыво — курай. Цилый день проходять, сонечко сяде, а воны по стеблыни збирають и прынесутъ вьязку, або й дви. На одну ничь не стане [1]).

Хлиба все менче и менче у комори.

— Лышенько мое! хочъ бы ты, Степане, де ставъ на службу, ато исы багато, бачъ хлиба вже мало зосталось...

Посыдивъ ще Степанъ день, походывъ, назбиравъ кураю, а у вечери и каже:

---

[2]) Кураемъ и друг. сорными травами топятъ печи въ степяхъ.

— Мамо!

— Чого, мій голубе?

— Я пиду... бо мали диты у васъ... Зоставайтесь самы.

— Куды жъ ты пидешъ? Де жъ тебе прыймуть?.. Ты жъ ще хлопья мале...

— Пиду...

Уранци Степанъ узявъ шматокъ хлиба, у клунокъ сорочки и батигъ [1]) и пишовъ зъ села.

Однымъ ротомъ менше стало.

Тыжня черезъ два писля св. Мыколая настала зима, да така, якои десять годъ уже не було. За кураемъ уже ходыть не можна, бо ввесь выбралы, а нàдто ще й снигомъ замело. У хати—якъ на двори; стины уси ледовою корою вкрылыся, у куткахъ снигъ лежавъ. Одсунулы лавкы одъ стинъ, уси сыдять на печи, але й пичъ холодна, бо немае палыва. Зъ ранку до вечора ходятъ Марыся зъ Ганною по селу и по за селомъ збираютъ кизякъ... Та де тамъ збирать! Скотячій ликарь зъ урядныкомъ палять гній, бо чума на худоби,—не можна, кажуть, его держаты—прыказъ такый.

Мынуло й Риздвяне свято. Завше весело було у це велыке свято—а теперь тыхо: не чутно ни цисень, ни гомону на вулыци. Де-не-де хтось заспива, та й зныкне—фуга [2]) не дае и цымъ двомъ-тремъ веселымъ молодымъ душу одвесты.

Настала й „голодна кутя“ [3]),—для Ганны й справди голодна: ни пырогивъ не пеклы, ни кути не варылы. Передъ вечеромъ сумно было у хати, диты щось щебеталы, тай замовклы; менши заснулы, а старшенькій хлопчыкъ на печи сивъ коло Марыси, обнявъ іи и тыхенько щось пытавъ.

— Марысю, а Марысю! Чи у всихъ кутя була?

— У всихъ, любенькій.

— А у жыдивъ? У жыдивъ мабуть не була. Не була, Марысю?

— Ни, не була у жыдивъ, тилько у тыхъ, що до церкви ходять.

— А солодка кутя у панивъ? Га? Солодка? И узваръ

---

1) Плеть—принадлежность всякаго рабочаго въ степяхъ.

2) Мятель.

3) Сочельникъ, канунъ праздника Крещенія.

мабуть е? Е, Марысю? Мени Степанъ казавъ, що у правляющого ой солодкый, солоодкый!..

Ганна засвитыла свичечку шагову *) воскову передъ иконою, стала на вколишкы и тутъ усю душу вылыла... Наболило у сыроты. Згадалось ій дивоцтво, якъ той сонъ, якъ блюскавка засвитылась, а дали ій весилля, трудове жыття зъ лыбымъ чоловикомъ, а дали, дали... тилько слезы закапалы зъ очей. Вона проказувала уси молытвы, яки знала, а потимъ прыпала до земли и застыла...

Диты замовклы: Ивашко и Марыся злякалысь, якъ стогне та плаче маты

Ажъ ось двери скрыпнулы и на порози стала стара бабуся, сусидка Ганнина.

— Будьте здорови зъ святымъ вечоромъ,—промовыла вона суворымъ, товстымъ голосомъ.

Ганна схопылась, диты боязно выглядалы з-за комина— вони ій страхъ якъ боялысь.

— Отъ якъ у васъ... Звычаивъ старыхъ не держыте. Я хрещена маты, а хрещеныця Марыся мени кути не прынесла ни на свято, ни сегодня. Я ждала, ждала и розсердылась, дуже розсердылась.

— Бабусю голубонько,—нема у насъ кути, тому й не носыла Марыся...

— Эге! Такъ що жъ, що нема? Такъ може у мене е?.. Треба було й такъ прыйты.

— Выбачайте на цей разъ: соромъ, такый соромъ ходыты по чужыхъ хатахъ... Мы ще до цего не звыклы...

— Эге, не звыклы... Тилько сердыте мене... Злазь зъ печи! Чуешъ, Марысю. Злазь и тягны дитей,—сердыто будонила баба.

Марыся и диты позлазыли. Баба выйшла у сины, внесла й поставила на столи горщыкъ кути, паляныню **) и зъ пьять пырогивъ.

— Якъ ты мени не прынесла, такъ я тоби прынесла. Сидайте, ижте; а спершу треба хрестытыся.

---

*) „Шагъ"—1½ коп. на ассигнаціи.

**) Круглый, плоскій хлѣбъ; принадлежность всѣхъ праздниковъ и поминальныхъ дней.

Диты хутко силы за стилъ и узялись исты.

— Спасыби вамъ, бабусю,—заговорыла Ганна.

— Що таке?

— Спасыби, кажу, що прынеслы...

— Я не тоби, не твое дило мене вчыть... То не твое и не мое—Боже, отъ чые... Сидай коло мене... Отъ що, знаешъ Мыколаивку?

— Знаю, бабусю.

— И дорогу знаешъ?

— Знаю добре й дорогу, це видъ насъ 25 верстовъ шляхомъ.

— Добре, колы знаешъ. Сегодня вернувся мій Денысъ, винъ прывизъ зъ Херсонщыны Петра Будька до дому; коло Мыколаевки на хутори Будько продавъ коней и заробывъ сылу грошей. Такъ ему Богъ давъ. А дома его жинка слаба. Винъ казавъ, щобъ Денысъ прыславъ до него на хутиръ дивчыну за няньку, до дитей... отъ що. Марыси уже 12 мынуло... Помиркуй, може виддасы...

Ганна зомлила: жаль ухопывъ за серце; вона подывылась на Марысю и слезы закапалы зъ очей.

— Марысю,—говорыла баба,—хочешъ у наймы? Хочешъ за няньку стать?

— Хочу, бабусю, колы гроши мамци дадуть на хлибъ.

— Дурна! Звисно дадуть... Дурна! Иды сюды.

Марыся наблыжылась до бабы. Баба перехрестыла ій и поцилувала.

— Дакъ якъ тое, якъ хочешъ—треба хутко, треба завтра йты... Прощавайте...

И пишла соби стара.

Цилу ничъ Ганна збиралась, не спала, та ныщечкомъ плакала. Воно може й чудно, але якъ не плакаты баби—дытыну отдаючы у наймы, та ще спершу зъ дому выряжаючы? Передъ свитомъ збудыла вона Марысю, дала ій шматотъ хлиба за пазуху, одягла ій у дви сицёви спидныци, тепли панчохы, стареньки свои башмакы, кохту на вати и зверху стару, рвану кожушанку, на голову два платкы на-

дила, а сама одяглася у свиту, бо кожуха не было—Степанъ забравъ, якъ пишовъ.

— Що це ви, мамо, плакалы?

— А плакала, Марысю...

— Не треба, мамо, я служытыму добре, догожу хозяйци, а вы гроши визьмете та борошна *) купыте.

Зибралысь. Ганна повела Ивашка и двохъ малыхъ до сусидкы бабы. Ивашко ставъ на порози.

— Марысю! А Марысю! не йды... замелзнешъ... не тлеба...—и заплакавъ.

— Да йды вже! Дурне, бачъ карка, якъ той воронъ,— промовыла Ганна, а серцеви щось говорыло: не йды!

Може й справди не йты? А исты що? А чымъ дитей годуваты? Попухнуть зъ голоду.

На двори падавъ маленькій снижокъ. Сонця не було ще: тилько на свитъ благословлялось. Витрець пивночный **) потроху дмухавъ.

Выйшлы. Коло церквы помолылысь Богу и пишлы за село.

Куды не глянешъ—ривно, ривно. Небо заволокло хмарою билою и не розберешъ, де те небо починается и де безбрежне снигове море кинчается.

Пройшлы уже й могылу на третій верстви—степъ дали ще ривнищій й краю ему немае.

Литомъ степъ чудовый, хорошый, а все жъ якыйсь таемныčый, а снигомъ вкрытый—суворый, страшный.

Вже й потомылысъ добре, а ще—якъ думалось Ганни— й половыны дорогы не пройшлы. За могылою витрець, що подыхавъ не ривно, потрошку теперъ крипчавъ. Зирвется вѣнъ звирюкою лютою видкилясь зверху, вдарыться объ землю и выхватыть велыку кучу снигу, пидійме его трохы одъ земли й несе, несе... А зверху, зъ того доброго неба, пада й пада снигъ. Несется витеръ хуртовыною, забира зъ собою легенькій снижокъ зъ земли, забира по дорози и той, що пада зъ неба и несе его назустричъ подорожнимъ.

Ганна трохы втомылась, Марыся ледве йде... Отъ хуртовына налетила на ихъ, змело зъ дорогы чысто весь снигъ,

*) Ржаная мука.
**) Сѣверный.

вдарыло у облыччя, забыло духъ—и воны сталы... Дали йты легче. Снижку нема... воны йдуть хутко.—Другый стовпъ навыженный летыть, забыва духъ, липыть очи, ножемъ гострымъ риже облыччя. Воны йдуть, розигналыся трошкы по ривній земли и зразу—шубовсть у снигову кучугуру. Марыся завъязла по плеча, Ганна упала. Перевелы духъ. Ганна стала вытягать дытыну, бере іи за руку, тягну. Ледве, ледве вытягла; выйшлы на ривне мисце, тутъ тилько снигу по колина... Давно вже за панчохы набылося снигу, давно вже Марыся плаче... стала, плаче...

— Мамо, мамо! Рукы болять...

— А ногы якъ, чи чуешъ ногы?

— Ни, мамо, не чую, болилы, а теперь не чую.

— Ну одпочынемъ... Здіймай башмакы.

Не змогла Марыся зняты ихъ. Стягла Ганна, стала терты ногы: били, били, а пальци, якъ палочкы. Тре снигомъ, красніють.

— Тры, Марысю, рукы снигомъ, сядь за витромъ.

Плаче й не ворушыть рукамы.

Оттерла Ганна ій рукы.

— Поижъ, доню, хлибця.

— Не можу, мамо, хлибъ якъ кистка, не вкусю, замерзъ.

Одпочылы... А часъ не гаится, часъ иде, а могылы на половыни дорогы не выдно.

А хуртовына въется, гудыть, вые, якъ люта звирюка. Ажъ темно стало...

Тягне Ганна за руку дытыну. Тутъ и самій йты важко по глыбокому снигови, проты витру, а ще тягты іи за собою!.. Снигъ йде, фуга вые. Отъ уже й могыла... Бильшъ половыны одійшлы, верстовъ 8 зосталось... незабаромъ и Мыколаивка. Ще трошкы силы... Витеръ неначе затыхъ, не такъ забыва очи снигъ.

— Мамо, чи далеко ще?—говорыть Марыся, ледве, ледве йдучы.

— Ось, ось заразъ. Бачышъ могылу? отъ якъ перейдемо іи, то й Мыколаивку литомъ выдно... Заразъ буде.

Пройшлы могылу...—Що жъ це? Витеръ повернувъ: то бувъ прямисенько у обличчя, а теперъ збоку. Що жъ? Це

витеръ повернувся, чи мы зблудылы?—думалось Ганни и велыкій острахъ ухопыхъ іи душу... Ни, то витеръ.

Идуть добре... Ганна тягне Марысю... Пройшлы зъ годыну,—а Мыколаивкы не выдно... Сталы, слухають, чи не прынесе витеръ собачого голосу зъ села... слухають, а винъ несе у-у-у—такъ жалибно, такъ гризно.

— Мамуню, мамуню! Я боюсь! Хтось плаче...

— Ни, любко, нихто; то тоби здается, то, Марысю, витеръ.

Марыся дрижыть видъ холоду и переляку.

Може бъ вернутыся до дому?—не разъ западала така думка Ганни. А исты?.. а диты? А борошно? Де жъ его взяты? Хиба жъ Бога немае? Треба йты.

И теперь стала вона и дума: повернуть хиба назадъ? Далеко одійшлы, близче йты... А якъ заблудылись? Господы Милосердный! Дай сылы! И вона пишла.

На часыночку витеръ затыхъ було—неначе дратувавъ, и знову понисъ снигъ, бье очи, риже, пече лыце й рукы, збыва Ганну и Марысю то у одынъ бикъ, то у другый.

— Я дійду... А Марыся? Куды жъ іи веду! Дочку на смерть веду... Хиба жъ на смерть? у наймы йдемо. И чого це мени тая смерть прыйшла у голову?

— Мамо! Я не можу йты... не можу.

Марыся упала.

— Чого ты? Иды, що ты, дурна, замерзнуть хочешъ, чи що? отъ недалеко. Уставай, ходимъ.

— Не можу, я спаты хочу.

— Иды, я тебе буду тягты, за обыдви рукы.

Поставыла іи Ганна позадъ себе, узяла за обыдви рукы и пишла и іи потягла.

Снигъ по колина, Марыся пада, уже й не плаче, не говорыть.

Подывылась Ганна навколо *), якъ тильки на хвылыну витрець стыхъ, и побачыла, що билище мисце на неби нызенько. „Господы? То це-жъ сонце сида!? Це вже й до вечера недовго... И куды жъ це мы зайшлы... Сонцеви треба

*) Вокругъ.

буты по ливоручъ, а воно за спыною сида... Куды жъ це я зайшла? Кудысь у праву сторону? Заблудыла...

Страшне слово у степу; нема страшнищого!.. Марыся упала и не встае.

— Уставай, ледащо! Уставай, а то бытыму, якъ ще николы не была!

Марыся не озывается.

— Чуешъ!?. Уставай заразъ. Уставай. Убью!—закрычала не своимъ голосомъ Ганна и кынулась до Марыси.

— Не можу, мамо,—ледве озвалась.

— Голубонько, дытыночко моя кохана! Доню люба! Устань, моя рыбко, отъ-отъ вже й село... послухай! Чи чуешъ, собакы брешуть?..

— Чую, чую... Дайте руку, пидведить мене... я пиду.

Чутно, витеръ донисъ лай собачій. Марыся пиднялась, пройшла зъ два ступни и упала.

— Не далеко... донесу,—думала Ганна.

Взяла дочку на рукы и понесла.

— Держысь за шыю крипче, прытулысь до мене, та не спы.

— Ни, не буду... держусь.

Темніе. Морозъ прытыснувъ дужче. А витеръ свое робыть—не боиться й морозу.

Несе Ганна доню, иде й хытается. Разъ упала... упала й удруге. Нема сылы, не може йты...

А витеръ зъ снигомъ гоминъ несе... отъ и дымку трошкы прынисъ. Село уже зъ верству, не бильше. Ганна схопылась, ухватыла Марысю й побигла... Отъ ще трошкы... Господы, Господы! Дай сылы!.. Немае, немае... Упала Ганна... не може несты...

— Марысю! Спышъ?

— Ни, не сплю... а хочется дуже... Мамо! покладить мене... я дуже спаты...

— Що-жъ мени робить? Покладу іи и хутко добижу до села, тамъ люди дадуть помочи. Не вже жъ не донесу? Такъ блызько? Ни, не донесу, немае силы...

Ганна зняла зъ себе спидныцю, зняла одынъ платокъ; спидныцю розислала,—одкынувшы снигъ, поклала Марысю, а платкомъ накрыла іи...

„Заразъ добижу до села.“

— Марысю! не спы, одпочынь, а я заразъ.

И побигла по снигу.

Марыся щось говорыть: „тепле... сонечко... квиткы...“ й замовкла.

Ганна по колина й выще йде, пада, встае и знову йде... Це тому, що я Богу не молылась... Буду молыться... Господы... Господы... Милосердный...

А снигъ мете, витеръ лютуе.

— Господы... Що-жъ це я все Господы?.. Яка-жъ вона тая молытва?.. Отъ забула-жъ я іи... забула... уже недалечко. . отъ брешуть собакы... Господы! Якъ же-жъ тая молытва? якъ іи звуть?.. Чи добижу жъ я?.. Знову упала. Немае сылы, немае... Отче нашъ... а! згадала! А Марыся жъ що? Чи не заснула? Якъ засне—вмре... Що жъ... Воля Божа... якъ винъ Мылосердный хоче... Отъ вже й загата... Слава Богу! Слава Богу!.. Ни, не загата, це гній... Дали, дали! У наймы... у наймы... Знову стало на думци одно слово... у наймы... Я жъ хотила молытысь?.. Господы, Боже! поможы!—ажъ закрычала Ганна и кынулась бигты...

Вона йшла коло млынивъ, отъ вона уже стала коло викна якоись хаты.

— Люде добри! Хто въ Бога вируе, рятуйте!

Черезъ годыну, або дви, человикъ зъ пьять ишлы по за селомъ и промижъ нымы Ганна ледве, ледве ногы волочыла.

— Сюды, сюды,—каже вона.

— Куды жъ сюды? Це у балку... ни, не сюды.

Витеръ затыхъ, мисяць билолыцый засвитывъ и люди знайшлы Ганнинъ слидъ.

— Онъ-де, онъ-де...—крычыть вона и бижыть.

Отдали выдно горбокъ снигу.

— Онъ тамъ вона...

Идуть скорище, прибиглы.

— Вона, вона!—закрычала Ганна, кынулась до Марыси и замерла...

Марыся лежала, якъ й лягла: рученята заховани у ру-

кава, ниженькы пидогнула пидъ себе, очыци закрыти, — а выдъ тыхій, покійный; усмихъ на ему сяе...

— Замерзла... царство небесне, вичный покій! — хтось сказавъ.

— У наймы... За борошно... у наймы оддала!! — заголосыла Ганна.

Д. Марковичъ.

Нечистые цвѣты.

Какая славная весенняя погода!
Какъ вольно дышется, какъ жизнь мила, легка...
Я вышелъ погулять, - веселый, — какъ природа;
Вдругъ вижу: дѣтскій гробъ несутъ два старика.

* * *

Шатаясь,—пьяные,—они его тащили
Безъ всякой жалости, какъ узелокъ тряпья.
Не провожалъ никто. На гробъ не положили
Ни одного цвѣтка...—„Бѣдняжка,—думалъ я,—

* * *

Ты видно незаконный чей-нибудь, — случайный?..
Тебя спѣшатъ зарыть. Обманутая мать
Ушла, чтобъ скрыть позоръ, въ пріютъ родильницъ тайный...
Она теперь въ слезахъ припала на кровать;

* * *

Ей жаль ребеночка. Она не понимаетъ,
Что для такихъ дѣтей — одинъ конецъ благой,
Что васъ, — отверженцевъ—малютокъ, — смерть спасаетъ
Отъ мачихи—судьбы жестокой и лихой".

* * *

Вотъ поровнялась съ гробомъ пара молодая:
Красавица-брюнетка съ „милымъ другомъ" шла
Подъ ручку, весело, безъ умолку болтая,
И полевыхъ цвѣтовъ большой букетъ несла...

* * *

По губкамъ—слишкомъ краснымъ, бровкамъ—слишкомъ чернымъ,
По наглости наряда, блеску жадныхъ глазъ—
О ремеслѣ ея тяжеломъ и позорномъ
Догадывались всѣ прохожіе сейчасъ...

* * *

Увидя дѣтскій гробъ, она остановилась;
И затуманились задорные глаза,
И по щекѣ ея накрашенной скатилась
Святая, чистая, горячая слеза.

* * *

Ей тотчасъ вздумалось украсить гробъ цвѣтами;
Она къ нему букетъ свой быстро поднесла;
Но вдругъ—одумалась; дрожащими руками
Разсыпала цвѣты,—вздохнула и прошла...

* * *

И понялъ я тебя, несчастное созданье,
Живущее въ грязи, въ позорѣ роковомъ!
Я увидалъ души твоей униженной страданье,
Когда ты вспомнила о ремеслѣ своемъ

* * *

И горько думала: — „Нельзя мнѣ, непристойно,
Невиннаго младенца гробикъ украшать...
Цвѣты въ моихъ рукахъ нечисты, недостойны...
Подарокъ мой ребенку — оскорбилъ бы мать...“

* * *

Ты лучше лицемѣрокъ гордыхъ. Ты сознала
Предъ дѣтскимъ гробомъ—мерзость жизни прожитой!
Душа твоя—жива. Она не потеряла
Благоговѣнія къ невинности святой.

* * *

И вѣрю я, что тотъ, кому, полна смиренья,
Ты бѣдный свой букетъ не смѣла поднести,
Сказалъ тогда Отцу, въ святомъ Его селеньи:
„Прости мою сестру,—прошу Тебя,—прости!“

А. Барыкова.

Въ пріемыши.

I.

— Цыцъ, пострелята! Ишь возню подняли. Мотрите, такъ отшлепаю, что до новыхъ вѣниковъ не забудете!—закричала женщина на двухъ разрѣзвившихся и наскочившихъ на нее сзади мальчугановъ, обертываясь и переставая рубить толстое полѣно, съ которымъ она расположилась посреди комнаты.

Мальчуганы остановились и поглядѣли на нее. По ихъ лицамъ, похожимъ другъ на друга, сразу можно было рѣшить, что это два брата. Одному казалось по виду лѣтъ пять, а другому года три.

— Не смѣешь,—сказалъ старшій, становясь передъ женщиной въ воинственную позу.—Я мамкѣ скажу.

— Ишь ты какой воинъ выискался! Такъ я и испугалась твоей мамки, подумаешь! Да пока она вернется, я разъ десять успѣю тебѣ спину нахлестать,—говорила женщина.

— Попробуй, тронь, тронь! — задорно закричалъ мальчикъ, смѣло подступая къ своему врагу.—Я тебя самъ... я тебѣ покажу, какъ съ чужими дѣтьми драться! Дери сваво Ваньку, коли руки чешутся.

У окна за верстакомъ стукъ молотка прекратился, согнутая спина выпрямилась и сидѣвшій тамъ сапожникъ съ ремнемъ на лбу, черноватый, лѣтъ сорока, съ одутловатымъ лицомъ, опустивъ на колѣни головку сапога, надѣтую на колодку, обернулся и съ улыбкой одобренія посмотрѣлъ на раскраснѣвшагося отъ гнѣва мальчика.

— Такъ, такъ, Петька! Хорошенько, хорошенько ее! Ай да воинъ! ай да молодецъ! Не то, что Санька: онъ ишь вонъ тебѣ за спину прячется, а ты у насъ ирой! — говорилъ сапожникъ, натравляя мальчика на женщину.

Раззадоренный похвалами, Петька крѣпко сжалъ кулачонки и бросился къ женщинѣ, но та грубо оттолкнула его отъ себя и, угрожая топоромъ, сердито закричала:

— Только подойди, щенокъ, такъ тебѣ обѣ ноги и обрублю!

Сапожникъ, довольный разыгравшеюся сценой, залился сиплымъ смѣхомъ.

— И тебѣ охота тоже мальчишку натравлять, Евсѣичъ!— съ сердцемъ замѣтила ему женщина и принялась опять разрубать полѣно.

Сапожникъ, передернувъ раза два плечами, тоже принялся опять стучать молоткомъ.

Мальчики присмирѣли и чѣмъ-то занялись у порога.

Въ комнатѣ, кромѣ описанныхъ дѣйствующихъ лицъ, было еще два не дѣйствовавшихъ, спавшихъ въ завѣшенныхъ люлькахъ, прикрѣпленныхъ къ потолку. Одно изъ нихъ—двухмѣсячная дѣвочка, Зина, сестра Петьки и Саньки, а другое— годовой мальчикъ Ванька, сынъ рубившей дрова женщины.

Комната, въ которой жили всѣ эти лица, находилась въ подвальномъ этажѣ, была довольно просторная, въ два окна, и съ перваго взгляда производила, пожалуй, сносное впечатлѣніе. Но стоило приглядѣться пристальнѣе, и вы замѣтили бы большія сѣрыя пятна, расползавшіяся по наружнымъ стѣнамъ, а подойдя ближе, разглядѣли бы какъ сырость проступила по нимъ почти сплошь множествомъ мелкихъ капель, а въ иныхъ мѣстахъ потекла тонкими струйками воды. Въ комнатѣ стояло три кровати: одна большая двойная кровать отсутствующей хозяйки-цвѣточницы, матери двухъ игравшихъ мальчугановъ, другая кровать принадлежала нанимавшей уголъ женщинѣ, разрубавшей полѣно, и, наконецъ, третья кровать сапожника, нанимавшаго другой уголъ. Въ углу, у окна, стоялъ небольшой столикъ, надъ которымъ висѣли образа; у стѣнъ стояли два продырявленныхъ стула и печь-чугунка, нагрѣвавшая всю комнату, когда была натоплена, а когда не было дровъ, такъ и такъ обходилось — людей много, надышатъ.

Мужъ хозяйки-цвѣточницы былъ портной, ходилъ на поденную работу въ одно портняжное заведеніе, гдѣ и кормили его. За работу платили дешево, вычитали за верстакъ, за пищу по пятнадцати копеекъ въ сутки, такъ что въ недѣлю приходилось ему зарабатывать, за всѣми вычетами, большею частью не болѣе шести гривенъ; а иногда и вовсе въ заведеніи не было работы, по отсутствію заказовъ.

Это бы еще ничего, если бы портной не пилъ и весь свой скудный заработокъ отдавалъ семьѣ; но къ несчастью было необычайною рѣдкостью, когда онъ приносилъ въ субботу всѣ заработанныя деньги, большею же частью у него оставалось двадцать-тридцать копеекъ, а иногда и вовсе ничего, и даже самъ онъ пропадалъ по нѣсколько дней.

Какъ перебивалась съ дѣтьми цвѣточница — одинъ Богъ вѣдалъ. Сама она зарабатывала не болѣе пятидесяти копеекъ въ недѣлю дѣланіемъ цвѣтовъ, которые носила въ кондитерскія. И теперь она понесла свои цвѣты съ Песковъ въ кондитерскую, на Надеждинскую улицу, да что-то долго не возвращается. Постоялка уже нарубила дровъ, можно бы и печь затопить, но ждетъ хозяйку: можетъ быть, нынче варить что-нибудь будетъ.

Въ люлькѣ запищала дѣвочка.

— Эй, Петька, покачай сестру до матери! — крикнула женщина старшему мальчику, — а то проснется, ѣсть захочетъ, а матери нѣтъ... Санька! ну, ты поумнѣй, покачай ты, послушный мальчикъ; а то она и мово разбудитъ.

Санька, младшій мальчикъ, подошелъ и сталъ качать люльку.

Но дѣвочка успѣла уже проснуться и раскричалась. Закричалъ и Ванька, спавшій въ другой люлькѣ.

— Ну, поднялся содомъ! — проворчалъ сапожникъ, съ ожесточеніемъ стуча своимъ молоткомъ.

Ваньку вынула изъ люльки мать и стала кормить грудью, а Зина продолжала кричать.

Санька усердно размахивалъ скрипящую люльку, стараясь унять сестру, но ничего не помогало.

— Ахъ, ты Боже мой! искричится вѣдь дѣвка-то, — сказала постоялка. — Петька! да забавь ты ее чѣмъ-нибудь, ты постарше.

Въ корридорѣ послышались торопливые шаги, быстро распахнулась дверь, и вошла сама цвѣточница.

— Чтой-то ты нынче такъ долго, Максимовна?— спросила постоялка.

— Эка долго! ничего не подѣлаешь, — отвѣчала та, торопливо кладя на столъ краюшку чернаго хлѣба, завернутую

въ тряпку, снимая съ себя лѣтній дипломатъ, который служилъ ей зимой вмѣсто шубы, и снимая съ головы большой платокъ.

— Мама! что принесла? — обступили ее оба мальчика.— Дай ѣсть, смерть хочется!

Петька очутился уже у стола и ощупывалъ покупку.

— Петька! эка проворный! не тронь, говорятъ тебѣ! — крикнула на него мать.—Вотъ я Санѣ дамъ, а тебѣ нѣтъ.

Она подошла къ люлькѣ и, вынувъ изъ нея кричащую дѣвочку, сѣла съ ней на кровать и стала кормить ее грудью. Между тѣмъ оба мальчика, несмотря на запрещеніе матери, развернули хлѣбъ, завязанный въ тряпку, и, поискавъ еще чего-то глазами на столѣ, отломили себѣ по куску.

— Мама! а гдѣ жъ говядина-то?—спросилъ Саня.

— Нѣту, милый, говядины, не наработали мы еще съ тобою на говядину денегъ,—отвѣчала мать.

— А щей дашь?

— Схожу, возьму капустки; пустыхъ похлебаете.

— Эка! все пустыхъ да пустыхъ!—воскликнулъ Петя. — Я, когда буду большой, всегда буду на говядину денегъ зарабатывать. Санька, а ты?—обратился онъ къ брату.

Но Санька ничего ему не отвѣтилъ, а, подойдя къ матери, опрокинулся къ ней затылкомъ на колѣни и продолжалъ уписывать за обѣ щеки свой кусокъ хлѣба. Мать стала его гладить рукой по бѣлокурой головкѣ.

Оба сына были очень похожи на мать. Несмотря на сырой подвалъ, въ которомъ они жили, несмотря на скудную пищу, состоящую большею частью изъ сухомятки, мальчики казались здоровенькими; правда, щеки ихъ не были румяны, но и болѣзненнымъ цвѣтъ лица ихъ нельзя было назвать. Это были живые, веселые мальчики, а старшій, какъ мы видѣли, порядочный-таки буянъ.

Цвѣточница была крестьянка, и можетъ быть со своихъ родныхъ полей принесла она въ этотъ сырой подвалъ и силу своего организма, и бодрость духа, почти никогда ее не покидавшую и которую вотъ уже пять длинныхъ лѣтъ никакъ не можетъ сломить въ ней петербургская жизнь, полная нужды и душевныхъ мукъ. Цвѣточницѣ было не болѣе трид-

цати пяти лѣтъ; она была плотная, еще красивая женщина и казалась даже моложе своего возраста. Она обучалась въ хорошемъ магазинѣ цвѣточному искусству, но нужда заставила ее дѣлать самые дешевые цвѣты для петербургскихъ кондитерскихъ; да и тутъ не всегда принимали ея работу. Сегодня, напримѣръ, она въ трехъ мѣстахъ получила отказъ. Бѣгала-бѣгала по улицамъ въ одномъ лѣтнемъ дипломатишкѣ да въ худыхъ башмачонкахъ, насилу въ четвертой приняли. Дали за все шестьдесятъ копеекъ. Изъ нихъ надо двадцать за матеріалъ заплатить—въ долгъ забрала въ магазинѣ,—четвертакъ въ мелочную лавочку отнести, на гривенникъ хлѣба купила, остался въ карманѣ одинъ пятакъ.

„Надо капустки ребятамъ купить. А завтра что ѣсть будутъ?“—разсуждаетъ про себя бѣдная женщина, кормя грудью Зину и машинально проводя рукой по лежащей у нея на колѣняхъ бѣлокурой головкѣ меньшого сынишки.

— Затопи,—милая, печь, обращается она къ постоялкѣ.— Пойду, возьму въ лавкѣ на пятачокъ капустки да картофельцу въ долгъ попрошу.

Она положила заснувшую дѣвочку въ люльку и, накинувъ на голову платокъ, вышла въ корридоръ.

Вскорѣ весело затрещала чугунная печь, распространяя пріятную теплоту по комнатѣ. Вернулась цвѣточница съ капустой и картофелемъ, ополоснула два горшечка, положила въ нихъ принесенную провизію, налила водой и поставила на раскалившуюся чугунку.

Мальчики вертѣлись у печки, съ нетерпѣніемъ поджидая, когда закипятъ щи и картофель.

На чугункѣ появились еще два горшечка: это постоялка и сапожникъ варятъ себѣ обѣдъ.

Черезъ часъ всѣ сидѣли за столомъ и съ аппетитомъ ѣли горячую пищу.

Послѣ обѣда цвѣточница одѣла сыновей въ рваныя ватныя пальтишки и послала побѣгать по двору.

Сапожникъ снова принялся за сапоги, постоялка сѣла вязать шерстяной чулокъ, а хозяйка, перемывъ и прибравъ посуду, взяла чинить, подаренную добрыми людьми, Санину сѣренькую курточку.

Маленькіе спали въ люлькахъ.

Нѣкоторое время всѣ трое работали молча, погруженные каждый въ свои мысли.

— Эхъ, жисть, жисть!—вздохнула цвѣточница, какъ бы помимо воли отвѣчая вслухъ на свою горькую думу.—Вѣкъ вѣченическій вотъ такъ и майся съ малыми дѣтьми и бейся, какъ рыба объ ледъ... Отецъ-то который день домой глазъ не кажетъ и думать забылъ о семьѣ; небось, гдѣ въ кабакѣ глаза заливаетъ...

— Ужъ и не знаю, Максимовна, чего ты его не бросишь?—замѣтила изъ своего угла постоялка, стуча толстыми желѣзными спицами чулка.—Выхлопотала бы себѣ отдѣльный паспортъ и жила бы вродѣ какъ въ разводѣ съ нимъ. Смотри, какъ разъ бы у тебя дѣтей въ пріютъ забрали. Съ одною дѣвочкой все бы легче тебѣ было; а тамъ, глядишь, и пособіе какое отъ обчества бы вышло. Вотъ сама не хочешь, сама и виновата; сколько разъ я тебѣ говорила и другіе совѣтовали... Возьми хоть примѣръ съ меня: ужъ вѣдь какъ я маялась, пока не бросила своего. Ну, стоишь на своемъ, такъ и терпи нужду—никто тебѣ не виноватъ.

— Ахъ, Василисушка! - возразила съ укоромъ и сожалѣніемъ цвѣточница,—вѣдь каковъ ни на есть, а все же онъ мнѣ мужъ или нѣтъ? Какъ мнѣ его бросить-то? Вѣдь онъ отецъ моимъ дѣтямъ-то или нѣтъ?

— Что ты ее съ мужемъ разводишь?—обернулся къ Василисѣ сапожникъ съ кривою усмѣшкой на губахъ. – Ты безъ мужа можешь прожить, а она своего Василія любитъ.

— Любитъ! — повторила цвѣточница, качая въ раздумьи головой. — Иной разъ и глаза бъ мои на него не глядѣли, какъ вернется онъ домой пьяный, весь растерзанный, растрепанный. Иной разъ такъ закипитъ сердце,—кажется, Господи! своими руками задушила бы его. Ну, а какъ отойдетъ, такъ и подумаешь: коли же я, жена, его брошу, кто жъ объ немъ тогда подумаетъ? Коли я оттолкну его, тогда онъ совсѣмъ опустится, совсѣмъ ужъ пропащій человѣкъ станетъ...

— Авось, онъ и теперь пропащій,—возразилъ Евсѣичъ:—развѣ водка-то кого до добра доводитъ?

Цвѣточница глубоко вздохнула.

Снова всѣ трое молча погрузились въ свою работу. Короткій зимній день склонялся къ вечеру. Въ небольшія тусклыя стекла подвала давно уже глядѣли сумерки. Наконецъ, невозможно стало долѣе работать впотьмахъ. Хозяйка встала, взяла съ окна жестяную лампочку и потрясла ее въ рукахъ — на днѣ плескалось немножко керосину; она зажгла ее и повѣсила на гвоздикъ между двухъ оконъ. Сапожнику стало видно работать, а обѣ женщины придвинулись къ свѣту.

Вскорѣ въ корридорѣ раздалось топанье дѣтскихъ ногъ, послышались звонкіе, веселые голоса Пети и Сани. Впотьмахъ мальчуганы нащупали ручку двери и ворвались въ комнату.

Старшій живо скинулъ свое пальтишко, а къ меньшому подошла мать и стала помогать ему раздѣваться.

— Ну, что? набѣгались? назяблись? — спрашивала она, прикладывая руку къ холоднымъ щечкамъ Сани.

— Озябъ, мама, — отвѣчалъ тотъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— А я ничего, я не озябъ, — говорилъ Петя, потирая одну объ другую свои красныя ручонки.

— Ты молодецъ, — замѣтилъ ему сапожникъ, — ты ирой, настоящій будешь солдатъ.

— Да, да, а у самого руки изошлись, — замѣтила Петѣ мать.

— Дай-ка я стащу съ тебя сапожонки, — обратилась она опять къ меньшому,—полѣзай на постель; я вамъ туда хлѣбца дамъ; поѣдите и ложитесь съ Богомъ.

Черезъ минуту и Саня, и самъ „ирой“, скинувъ худые сапожонки, сидѣли на постели, завернувъ босыя ноги материнымъ ватнымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ ситцевыхъ косячковъ и клѣточекъ и данномъ цвѣточницѣ еще въ приданое, а теперь изъ новенькаго и свѣжаго обратившимся въ ветхое, грязное. Но все-таки оно славно грѣло ноги мальчуганамъ. Мать дала имъ на постель по кусочку посоленнаго хлѣба, дала запить воды изъ глиняной кружки, заставила старшаго прочитать Богородицу, перекрестила и уложила на постель къ стѣночкѣ. А сама, оглядѣвъ что Петька изорвалъ свои черныя суконныя штанишки, опять сѣла за работу.

— Экій малый уродился!—говорила она, кладя на штанишки сѣрую ситцевую заплату:—все на немъ точно огнемъ горитъ; не успѣешь одну дыру зашить, смотришь—онъ въ другомъ мѣстѣ продралъ.

— Малый бой, что и говорить, — замѣтила постоялка:— давеча, безъ тебя, онъ было на меня съ кулаками полѣзъ, такой озорникъ, право! А тутъ еще Евсѣичъ его натравляетъ.

Евсѣичъ, не оборачиваясь, съ сиплымъ смѣхомъ замоталъ головой.

Разбойникъ растетъ,—сказала мать.—Вотъ Саня совсѣмъ другой у меня. Весь въ покойника-брата, вотъ какъ вылитый; такой же тихій да ласковый. Жалокъ онъ мнѣ: пожалуй, выростетъ, еще бойчѣе Петьки будетъ. Чему хорошему отъ уличныхъ мальчишекъ набраться. Вонъ сосѣдкины ребятишки,—кивнула она головой по направленію къ внутренней двери, изъ-за которой неслись отчаянные крики и ревъ,—съ живыхъ кошекъ кожу сдираютъ! А вѣдь играютъ вмѣстѣ—не убережешь своихъ; да иной разъ и рада бы съ ними заняться, а времени нѣтъ.

— Экъ она ихъ деретъ кажинный день, какъ сидоровыхъ козъ,—пошутилъ сапожникъ, прислушиваясь къ дѣтскимъ воплямъ, раздававшимся изъ другой квартиры,—ажно въ ушахъ звонъ отъ ихъ визгу стоитъ.

— Надоѣло слушать,—замѣтила цвѣточница.—Какъ съ дѣтьми обращается!

Наконецъ, за стѣною прекратились крики, и брань, и ревъ, только изрѣдка кто-то тамъ горько-горько всхлипывалъ.

Лампочка между двухъ оконъ два раза вспыхнула и стала гаснуть.

— Ну! и керосинъ весь выгорѣлъ,—произнесъ Евсѣичъ, потягиваясь и поднимаясь съ обрубка, на которомъ сидѣлъ; онъ торопливо сталъ убирать свои инструменты.

— Надо спать ложиться,—сказала постоялка.

Сапожникъ вышелъ изъ комнаты. Обѣ женщины прибрали свою работу, покрестились передъ образами и только-что хотѣли ложиться, какъ проснулся и закряхтѣлъ въ люлькѣ Ванька и закричалъ. Вслѣдъ за нимъ, точно сговорившись, проснулась и Зина.

Матери перемѣнили мокрыя пеленки сухими и сѣли кормить дѣтей грудью.

Вошелъ Евсѣичъ, медленно началъ раздѣваться и, нехотя перекрестившись, сталъ, кряхтя, укладываться на свою жесткую постель.

Лампочка въ послѣдній разъ вспыхнула и погасла. Матери ощупью уложили своихъ ребятъ въ люльки и сами улеглись.

Вскорѣ въ комнатѣ раздался громкій храпъ Евсѣича, которому минутъ черезъ пять стала вторить и Василиса, тонко выводя носомъ высокія ноты.

II.

— Дворникъ, скажите пожалуйста, живетъ здѣсь цвѣточница?—спрашивала дама, входя во дворъ и обращаясь къ рубившему дрова высокому молодому малому.

Эта дама не разъ уже бывала у цвѣточницы по порученію одного изъ благотворительныхъ обществъ.

— Живетъ, вотъ здѣсь,—указалъ ей дворникъ,—въ подвальномъ этажѣ. Какъ спуститесь по ступенькамъ внизъ, отворите дверь и сейчасъ направо, и такъ все прямо по корридору, прямо и дверь къ ней будетъ.

Дама поблагодарила и пошла по указанному направленію; спустилась по ступенькамъ, отворила дверь въ корридоръ и остановилась въ недоумѣніи, очутившись въ совершенной темнотѣ, пропитанной затхлымъ, гнилымъ запахомъ. Поприсмотрѣвшись къ мраку, она разглядѣла два длинныхъ, узкихъ корридора и пошла какъ разъ не по тому, на который указывалъ ей дворникъ. Отворивъ одну изъ дверей, выходившихъ въ него, она освѣдомилась,—тутъ ли живетъ цвѣточница. Изъ комнаты валилъ густой паръ, дымъ и смрадъ отъ чего-то, чадившаго въ печи.

— Затворяйте! затворяйте! — сердито крикнулъ на нее изнутри грубый женскій голосъ.—Чего холоду-то напускаете?.. Нѣту здѣсь никакой цвѣточницы.

И женщина съ сердцемъ захлопнула передъ самымъ носомъ дамы дверь, всю мокрую отъ пара.

— Вѣдь, вотъ не въ первый разъ здѣсь, — отходя отъ двери, говорила сама съ собою дама, — а все не привыкну къ этой вони и мраку и вѣчно заблужусь.

Она повернула въ другой корридоръ, пошла по немъ и добралась, наконецъ, до желанной двери.

— Матушка, Александра Александровна! васъ ли я вижу! — воскликнула цвѣточница, поднимаясь навстрѣчу входящей дамѣ.

— Меня, меня. Кого же еще? — возразила Александра Александровна, улыбаясь. — Ну, какъ поживаете?

— Да ничего, все по-старому. Чтой-то вы насъ забыли совсѣмъ, Александра Александровна?

— Дѣйствительно, давно-таки не навѣщала васъ и домъ даже не узнала, — отвѣчала Александра Александровна, усаживаясь на стулъ около стола. — А я къ вамъ съ предложеніемъ, — начала она, немного помолчавъ, — не знаю, примете ли?

— А что такое, Александра Александровна?

— А вотъ что: одни богатые бездѣтные люди желаютъ взять въ пріемыши мальчика, лѣтъ двухъ-трехъ, такъ не пожелаете ли, можетъ быть, вы своего Саню отдать?

— Отчего же не пожелать, Александра Александровна? — воскликнула Максимовна, — съ большимъ даже удовольствіемъ. Какъ же не пожелать? Съ большою даже радостью. Кто жъ своему дѣтищу не пожелаетъ счастья? Въ полномъ довольствѣ жить или нужду такую терпѣть, — вѣдь тоже разница большая. Ужъ я и не знаю, чѣмъ заслужила, ужъ какъ и благодарить васъ, что вы объ насъ вспомнили? — быстро и возбужденно говорила цвѣточница, очевидно затрудняясь какими словами выразить чувствительнѣе свою благодарность.

— Подождите благодарить, — возразила Александра Алексанровна: — еще понравится ли, надо прежде показать его имъ.

— Ужъ вотъ сами видите, — заговорила снова цвѣточница, подводя Саню за руку къ Александрѣ Александровнѣ и разглаживая ему спутавшіеся на головѣ волосенки, — сами видите, какой онъ у меня здоровый, веселенькій мальчикъ и тихій, не то, что Петька; тотъ дѣйствительно шаловливъ,

а этотъ — сами видите, Александра Александровна! Ужъ я обманывать васъ не стану да и не смогу.

— Да, онъ, дѣйствительно, славный, здоровый мальчишечка,—сказала Александра Александровна, обнимая рукой Саню.

Тотъ довѣрчиво придвинулся къ ней и сталъ тереться головой о рукавъ ея шубы.

— Ш-шъ! не надо, запачкаешь,—остановила его мать, предугадавъ его намѣреніе улечься на колѣни къ Александрѣ Александровнѣ.

— Сами видите, какой онъ у меня ласковый,—сказала довольная цвѣточница,—ужъ думаю, что понравится господамъ. А кто они будутъ такіе, осмѣлюсь спросить васъ, Александра Александровна?

— Да какъ вамъ сказать? Это люди очень богатые и добрые; они будутъ воспитывать вашего мальчика, какъ своего собственнаго сына; желаютъ, разумѣется, чтобы и онъ ихъ за своихъ родителей почиталъ и любилъ,—отвѣчала Александра Александровна, глядя въ лицо цвѣточницы и стараясь прочитать на немъ, поняла ли она весь смыслъ послѣднихъ словъ ея.

— Ну, ужъ само собой,—возразила цвѣточница.—Много ли ребенку нужно, Александра Александровна, вы сами знаете? Слово ласковое, гостинчикъ, игрушку какую,—гляди, онъ дня черезъ три, много-много черезъ недѣлю и забылъ совсѣмъ родную-то мать...

— И не жалко вамъ, Максимовна, разставаться съ нимъ?—спросила дама.

— Что же дѣлать-то, матушка? какъ мнѣ самой-то ихъ воспитывать?—возразила цвѣточница.—Кабы я знала, что на муку отдаю его чужимъ людямъ, а то вѣдь я знаю—онъ тамъ свое счастье найдетъ, ужъ не воспитать мнѣ его самой такъ, какъ они воспитаютъ. Что же онъ, живучи со мной, только однимъ глупостямъ научится? Съ голоду чуть не помираемъ, надо правду сказать, скрываться нечего. Отецъ-то, сами знаете, какой у нихъ. А тамъ жить въ богатствѣ да въ довольствѣ—да кто жъ своему дѣтищу врагъ?

— Вѣдь вамъ и видѣться съ нимъ, можетъ быть, нельзя

будетъ, если они этого не пожелаютъ,—сказала Александра Александровна.

Въ это время вошелъ въ комнату вотчимъ мужа цвѣточницы, служившій въ кучерахъ и изрѣдка кое-чѣмъ помогавшій семьѣ, но въ настоящее время самъ очутившійся безъ мѣста. Это былъ высокій сѣдой старикъ съ окладистою бородой. Когда онъ узналъ о предложеніи Александры Александровны и о рѣшеніи цвѣточницы, то и онъ степенно одобрилъ, закурилъ свою коротенькую трубку, сѣлъ поодаль, чтобъ не очень дымить, и сталъ расхваливать мальчика:

— Сами видите, барыня,—говорилъ онъ,—мальчикъ во всей формѣ, чистенькій мальчикъ, какъ ему не понравиться?.. Хоть и жалко матери, конечно, разставаться съ нимъ, но вѣдь для его же счастья, не для другого какого она отдаетъ его. Мальчикъ чистенькій, вы сами можете видѣть и передать имъ,—онъ чистенькій, веселенькій мальчикъ.

— Ужъ я не смѣю и думать видѣться съ нимъ, если они не пожелаютъ, — говорила, между тѣмъ, Максимовна. — Развѣ какъ-нибудь, когда, можетъ быть, онъ въ садикъ выйдетъ гулять, такъ я украдкой изъ-за кустика на него погляжу, чтобы онъ меня не видѣлъ, или, коли въ ограду не пустятъ, въ щелочку въ заборъ на него посмотрю. Вѣдь забыть его совсѣмъ я не могу, вы сами знаете, Александра Александровна? Передайте имъ такъ, сдѣлайте милость!..

— Хорошо, я передамъ,- сказала, вставая, Александра Александровна.—А вотъ вамъ тутъ рубашка для него голубая и плисовыя штанишки, чтобы совсѣмъ молодцомъ представиться. Костюмчикъ еще можно носить, но мой Володя уже выросъ изъ него,—прибавила она, развязывая принесенный узелокъ.

— Покорно васъ благодарю! Благодари, Саня, Александру Александровну,—говорила растроганная мать, принимая узелокъ изъ рукъ Александры Александровны:—видишь какую она тебѣ чудесную рубашку принесла!

Саня подошелъ къ матери.

— Идѣ, мама? Покажи-ка, покажи!—воскликнулъ онъ и потащилъ у матери узелъ.

— Когда же съ нимъ придти-то? Или они сюда кого пошлютъ?—спросилъ вотчимъ, поднимаясь съ постели и видя, что Александра Александровна собирается уходить.

— Да хоть завтра же,—возразила та.—Чего же время терять? Вотъ вамъ и адресъ.

— Покорно васъ благодаримъ, Александра Александровна,—говорила цвѣточница, низко кланяясь.—Прощайте-съ!

— Вотъ и чудесно. Конечно, время терять нечего,—мало ли охотниковъ на это мѣсто найдется?—воскликнулъ вотчимъ, провожая Александру Александровну до двери.—Такъ вы такъ и потрудитесь передать имъ, сударыня, что мальчикъ весь по формѣ, чистенькій, въ порядкѣ,—говорилъ онъ ей вслѣдъ.

„Удивительная женщина!“ — разсуждала сама съ собой Александра Александровна, выйдя изъ подвала на свѣжій воздухъ:—ни на минуту не задумалась надъ участью своего ребенка! Отдаетъ его чужимъ людямъ безъ малѣйшаго колебанія, не выразила ни сожалѣнія, ни печали—ничего, кромѣ чисто животной радости, что Саня ея будетъ жить въ довольствѣ у богатыхъ людей. И этотъ вотчимъ, безпрестанно рекомендующій своего внука за „чистенькаго мальчика!..“

Снова спустилась ночь въ сырую комнату подвала. Сладко спятъ разметавшіеся на кровати мальчуганы. Сапожникъ, укрывшись съ головой полушубкомъ, глухо выводитъ носомъ нижнія ноты. Василиса, лежа навзничь, раскрыла ротъ и какъ-то хрипитъ, повременамъ точно захлебываясь. Что-то копошится и шуршитъ въ углу въ кучѣ невыброшеннаго на этотъ разъ сора. На дворѣ недавно посаженная на цѣпь собачонка жалобно визжитъ, мечась изъ стороны въ сторону и силясь оборвать крѣпкую желѣзную цѣпь. На улицѣ то и дѣло скрипятъ проѣзжающія мимо извозчичьи санки; слышатся изрѣдка пьяные голоса загулявшейся компаніи... Тускло свѣтитъ передъ образами выпрошенная цвѣточницей на одну ночь у сосѣдки лампадка. А около Сани и Пети кто-то все вздыхаетъ, вздыхаетъ, ворочается съ боку-на-бокъ и опять вздыхаетъ.

— Глядите, какой онъ у меня красавчикъ! — говоритъ цвѣточница, одѣвъ на другой день своего Саню въ голубую кашемировую рубашку и въ черныя плисовыя шаровары.

Вотчимъ и постоялка подошли поближе посмотрѣть на красавчика. Петя уже давно вертится около брата, обдергивая ему то съ того, то съ другого бока рубашонку и проводя съ видимымъ удовольствіемъ рукой по мягкимъ плисовымъ шароварамъ. Даже сапожникъ оставилъ работу и повернулся своимъ сгорбленнымъ корпусомъ, чтобы посмотрѣть на разряженнаго Саньку. А глазки послѣдняго блестѣли наивною радостью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ какъ бы еще больше присмирѣлъ въ своемъ новомъ костюмчикѣ.

— Ну, съ Богомъ, пора, чего жъ ждать,—сказалъ вотчимъ, отходя отъ мальчика и затягиваясь изъ своей коротенькой трубки.

Мать надѣла на Саню его старенькое ватное пальтишко, дала ему шапку въ руки и стала сама одѣваться.

Въ комнатѣ всѣ вдругъ какъ-то притихли. Саня, какъ бы недоумѣвая, хлопалъ своими свѣтлыми сѣрыми глазенками и поочередно смотрѣлъ на каждаго изъ присутствующихъ. Петя переводилъ взглядъ съ брата на мать, которая дрожащими пальцами торопилась застегнуть пуговицы своего лѣтняго дипломата.

— Ну, сынокъ, — сказала она, накинувъ на голову большой платокъ и закалывая его у подбородка булавкой,—стань передъ образомъ, перекрестись.

Мальчикъ сталъ и перекрестился.

— Скажи: Боженька! пошли мнѣ, Господи, счастья!..

Саня повторилъ слова матери.

— Ну, теперь попрощайся, пойдемъ.

— Чего прощаться? Еще вернется, не сразу тоже оставятъ тамъ,—сказалъ вотчимъ.

— Ну, прощайте пока,— сказала мать.

— Прощайте пока, — весело повторилъ за нею Саня.

И мать за руку повела его къ двери.

— Саня! Саня! — выскочилъ въ корридоръ за братомъ Петя,— тебя мама въ пріемыши отдаетъ.

III.

— Ника, сегодня приведутъ къ намъ еще одного новаго мальчика, по рекомендаціи кузины Саши,—говорила молодая красивая блондинка, входя въ кабинетъ мужа и опускаясь въ мягкое кресло около письменнаго стола.

Ей было лѣтъ двадцать шесть, но на видъ она казалась моложе, благодаря своей нервной, стройной фигуркѣ. Ника поднялъ голову отъ бумаги, лежащей передъ нимъ, взглянулъ на жену своими сѣрыми безцвѣтными глазами и разсѣянно произнесъ:

— Да? ты опять просила?

Ему было уже лѣтъ за сорокъ, и весь онъ былъ какой-то выцвѣтшій, точно засохшій въ какой-нибудь канцеляріи. Жена капризно вздернула губки и сказала:

— Ну, да; точно ты не знаешь, что я давно уже ищу! Или ты уже раздумалъ, можетъ быть?

— Нѣтъ, душа моя,—заговорилъ Ника, замѣтивъ недовольную мину жены,—я потому такъ говорю, что ты слишкомъ всѣмъ этимъ волнуешься, а это не можетъ не оказать плохого вліянія на твое здоровье, ты знаешь вѣдь свою нервозность.

— Ну, что же дѣлать? Надо же выбрать наконецъ!

— Разумѣется, надо, если ты хочешь; но ты не будь слишкомъ разборчива; положи, напримѣръ, что этого мальчика, котораго рекомендуетъ Александра Александровна, ты непремѣнно сдѣлаешь твоимъ пріемышемъ.

— Ахъ, какъ ты не понимаешь!—воскликнула Лили.—Это странно: не могу же я, не видя сама, назвать своимъ сыномъ всякаго Ваньку, Аѳоньку, кого мнѣ порекомендуютъ?

— Но вѣдь Александра Александровна...

— Что жъ изъ этого, что Александра Александровна? И она можетъ ошибиться: то, что ей кажется красивымъ, мнѣ можетъ показаться безобразнымъ.

— Вотъ объ этомъ-то я и хотѣлъ тебѣ сказать,—возразилъ мужъ,—нечего при выборѣ мальчика обращать большое вниманіе на его наружность. И лицо можетъ измѣниться, и

неуклюжесть пропадетъ; мальчика можно выдержать, сообщить ему приличныя манеры et tout-ça. Нужно обращать вниманіе, главнымъ образомъ, на тихій, кроткій нравъ ребенка, чтобы онъ не раздражалъ тебя, когда ты будешь съ нимъ возиться.

Въ передней слабо дрогнулъ звонокъ.

— Не ведутъ ли?—встрепенулась Лили и вышла.

Черезъ минуту появился въ залѣ лакей и, остановившись въ почтительной позѣ, доложилъ:

— Сударыня! тамъ женщина пришла съ мальчикомъ.

— Раздѣньте ихъ и введите ко мнѣ въ уборную,—приказала Лили и, шурша пышною юбкою своего шелковаго платья, прошла въ уборную, опустилась на бархатную кушетку и, запрокинувъ свою бѣлокурую головку, съ нѣкоторымъ волненіемъ стала ожидать появленія „новаго“ мальчика. Ей и хотѣлось поскорѣе со всѣмъ этимъ покончить, и въ то же время она никакъ не могла ни на одномъ ребенкѣ остановиться.

„Посмотримъ, каковъ-то этотъ будетъ?“—шопотомъ произнесла она, заслышавъ въ корридорѣ приближающіеся шаги, и закрыла глаза.

Неслышно отворилась дверь и, несмѣло переступивъ порогъ, въ уборной Лили очутилась знакомая намъ цвѣточница, держа за руку своего Саню. Лили открыла глаза и быстрымъ взглядомъ окинула вошедшихъ. Мать и сынъ низко поклонились ей. Не отвѣчая на ихъ поклонъ, Лили впилась глазами въ мальчика и нѣсколько секундъ просидѣла молча, съ сжатыми на колѣняхъ руками. Но вдругъ ея синіе глаза заблестѣли привѣтливымъ блескомъ, розовыя губы распустились въ ласковую улыбку, на щекахъ выступили двѣ глубокія ямочки; она быстро встала съ кушетки, подошла къ мальчику и взяла его за руки.

— Какой онъ у васъ миленькій, симпатичный мальчикъ,—весело обратилась она къ матери.—Сколько ему лѣтъ?

— Три года, сударыня!—отвѣчала та и протянула было руку, чтобы погладить сына по головѣ, но вдругъ остановилась—ей почему-то показалось, что она ужъ не должна теперь этого дѣлать.

Между тѣмъ Лили присѣла въ своей пышной шелковой юбкѣ передъ мальчикомъ на корточки и старалась расшевелить его.

— Какъ зовутъ тебя, милый? какъ зовутъ? Скажи, знаешь какъ тебя зовутъ?—говорила она, тормоша его за руку.

Мальчикъ молча смотрѣлъ на свѣжее, красивое лицо Лили, на завитки ея бѣлокурыхъ волосъ, спускавшихся на лобъ, на сверкавшія брильянтовыя сережки въ ушахъ, на золотую брошку съ маленькою, блестящею птичкой посрединѣ.

— Какъ онъ меня осматриваетъ!—съ веселымъ смѣхомъ обратилась Лили къ матери.

Мать улыбнулась.

— Отвѣчай же, сынокъ! Сударыня хотятъ знать, какъ зовутъ тебя. Развѣ ты забылъ свое имя?

— Саней,—простодушно отвѣтилъ мальчикъ, какъ бы удивляясь, что его объ этомъ спрашиваютъ.

— О, какой славный!—воскликнула Лили,—кака онъ мило говоритъ! Пойдемъ, Саня, я тебѣ конфектъ дамъ, лошадку,—обратилась она къ мальчику и повела его за руку.

На порогѣ она остановилась и, обернувшись къ матери, сказала:

— Я, кажется, оставлю вашего мальчика; онъ мнѣ очень нравится, вотъ только покажу его мужу.

Цвѣточница осталась одна у порога уборной. Въ груди у нея радостно билось сердце. Она оглянула роскошно убранную комнату и подумала: „Вотъ въ какія палаты попадетъ мой Саня изъ подвала! Господи! хоть онъ-то будетъ счастливъ, хоть объ немъ-то не будетъ болѣть у меня сердце“. И она хотѣла по привычкѣ взглянуть на образъ и перекреститься, но нигдѣ не отыскала его по угламъ. Вмѣсто этого множество блестящихъ вещей попадались ей на глаза: вотъ огромное, свѣтлое зеркало въ золотой рамѣ поднимается съ полу до самаго верху; съ потолка спускается на бронзовыхъ цѣпочкахъ не то лампа, не то фонарь, и на немъ сидитъ огромная розовая бабочка; у окна въ корзинкахъ цвѣтутъ зимой ландыши и розы; на темной бархатной кушеткѣ лежитъ, шитая бархатнымъ швомъ, подушка, весь полъ застилаетъ громадный, красивый коверъ. „И тутъ будетъ жить мой Санька!“ подумала опять цвѣточница и снова радостно забилось у нея сердце...

— Ника,—весело говорила Лили, вводя Саню въ кабинетъ мужа,—какъ тебѣ нравится этотъ мальчикъ?

Ника обернулся, оглядѣлъ Саню съ головы до ногъ и сказалъ, не торопясь:

— Что же, мальчикъ, кажется, здоровый, недурненькій при этомъ; но, главное, на мой взглядъ, у него долженъ быть тихій нравъ. Оставляй, Лили; лучше, право, не найдешь.

— Да мнѣ самой онъ нравится, я только тебѣ хотѣла его показать,—отвѣчала Лили.

— Ну, и отлично, и кончай скорѣе съ его матерью.

— Надо еще посмотрѣть, каковъ онъ будетъ безъ матери,—возразила Лили.—Можетъ быть, будетъ слишкомъ тосковать... Знаешь, я оставлю его на испытаніе на недѣлю. Нельзя же вѣдь... ему ужъ три года, можетъ быть онъ такъ успѣлъ привязаться къ матери, что ко мнѣ никогда и не привыкнетъ совсѣмъ.

— Не думаю,—замѣтилъ мужъ, еще разъ пристально взглянувъ на Саню,—это не такой ребенокъ.

— Мнѣ самой тоже кажется,—сказала жена.—Ну, такъ какъ же съ матерью... съ тою женщиной?..—поправилась Лили.—Она у меня въ уборной дожидается.

— А дай ей рублей 25, 50, 100, наконецъ, однимъ словомъ, сколько хочешь, и пожалуйста, нельзя ли избѣжать слезъ и прощаній и всѣхъ этихъ сценъ.

— Хорошо, я ей дамъ 50 рублей пока,—сказала Лили,—а черезъ недѣлю еще 50 и сдѣлаю потомъ условіе, чтобы она ребенка не могла потребовать назадъ. Конечно, мы ее не оставимъ и въ будущемъ. Такъ я ей такъ и скажу.

— Ну, да, да...

Лили привела мальчика въ комнату, уставленную множествомъ разнообразныхъ игрушекъ, которыя она накупила, семь лѣтъ тому назадъ, для своего перваго ребенка, родившагося преждевременно и не выжившаго даже двухъ мѣсяцевъ, послѣ чего доктора сказали ей, что она никогда не будетъ имѣть собственныхъ дѣтей.

Она позвонила и велѣла позвать къ себѣ дочку повара. Въ мгновеніе ока явилась передъ нею девятилѣтняя Маша, и Лили сказала ей:

— Займи безъ меня вотъ этого мальчика, Маша. Вотъ вамъ коробка конфектъ, покажи ему всѣ игрушки, выдвини лошадку,—однимъ словомъ, займи его хорошенько. Слышишь?

И затѣмъ она поспѣшно вышла изъ комнаты.

— Слушайте, милая!—сказала она, входя въ уборную и подходя къ стоящей все на томъ же мѣстѣ цвѣточницѣ,—намъ съ мужемъ нравится вашъ мальчикъ; мы оставляемъ его, но съ тѣмъ, чтобы онъ совершенно забылъ васъ. Понимаете?

— Понимаю, сударыня!—отвѣчала мать.—Ужъ разумѣется, если вы его хотите совсѣмъ усыновить, такъ я не должна ему на глаза показываться, чтобы онъ васъ, сударыня, какъ родную мать, признавалъ и любилъ. Я это понимаю очень даже хорошо, сударыня.

— Ну вотъ и отлично, я очень рада, что вы такъ разсудительны, моя милая!—сказала довольная Лили.—На недѣлю мы его оставимъ на испытаніе. Быть можетъ, онъ такъ привязанъ къ вамъ... будетъ скучать, плакать, требовать васъ. Вѣдь это случается съ очень привязчивыми дѣтьми. Не правда ли?

— О, сударыня!—возразила мать,—мой Сапя не такой. Прочія дѣти—можетъ быть, а мой ни кричать, ни требовать меня не будетъ, будьте покойны насчетъ этого, сударыня! А что поплакать, точно поплачетъ сначала, безъ этого, конечно, не обойдется: тоже вѣдь привязанъ ко мнѣ... А онъ совсѣмъ тихій ребенокъ, сударыня, вотъ вы сами увидите... Я даже прощаться съ нимъ, коли хотите, не буду.

— Я сама это думаю,—обрадовалась Лили.—Ну что только тревожить ребенка? Онъ тамъ такъ славно играетъ. А вотъ вамъ пока 50 рублей, милая,—прибавила она, поспѣшно вынимая изъ портмоне и подавая цвѣточницѣ деньги.—Черезъ недѣлю еще столько же получите,—поспѣшила она прибавить, замѣтивъ странную тѣнь, мгновенно пробѣжавшую по лицу матери.—Разумѣется, мы васъ и впередъ никогда не оставимъ... Черезъ недѣлю напишемъ съ вами условіе, все какъ слѣдуетъ по закону. Вы напишите, что отказываетесь отъ вашего сына и что обязуетесь никогда не требовать его отъ насъ обратно. (Чего, разумѣется, вы и безъ того никогда бы не сдѣлали, потому что ему будетъ у насъ хорошо). Еще вы дадите подписку, что никогда... не будете видѣться съ нимъ,—сказала нерѣшительно Лили и потомъ добавила:—это необходимо.

Губы и руки матери дрожали, когда она принимала деньги отъ Лили. Она хотѣла благодарить барыню и не могла. Ей

показалось въ этотъ моментъ, что обѣ онѣ дѣлаютъ что-то очень дурное. Однако, она завязала деньги въ кончикъ ситцеваго платка и положила платокъ въ карманъ. Моргая своими потемнѣвшими глазами, она, казалось, силилась разглядѣть что-то въ будущемъ своего сына, но какая-то сѣрая дымка застилала передъ нею пространство... И вдругъ къ душѣ ея прихлынулъ страстный приливъ нѣжности къ покидаемому ею ребенку. Вдругъ сердце застучало-застучало въ груди, какъ испуганная птица къ клѣткѣ, и замерло.

— Что съ вами, милая?—спросила Лили, съ удивленіемъ и даже съ нѣкоторымъ испугомъ глядя въ лицо стоящей передъ нею женщины:—вы ужасно поблѣднѣли?

— Сударыня!—воскликнула мать какимъ-то совсѣмъ не своимъ голосомъ,—сударыня!..

Она силилась еще что-то сказать, но языкъ не повиновался ей. И вдругъ она упала передъ Лили на колѣни, схватила ея руки и страстно стала покрывать ихъ поцѣлуями.

Сначала Лили немного испугалась, но потомъ подумала: „Она благодаритъ меня“.

— Встаньте, встаньте, милая! Зачѣмъ же такъ?—торопливо заговорила она, силясь отнять у нея свои руки.

— Нѣтъ, сударыня!—продолжала мать,—на колѣняхъ буду молить васъ... Позвольте мнѣ... хоть разъ въ годъ, хоть въ саду, изъ-за кусточка... изъ-за кусточка поглядѣть на него... изъ-за кусточка, сударыня!.. Я спрячусь, я не покажусь ему... Въ заборъ, въ щелочку... только бы видѣть!.. Вѣдь все-таки я мать... забыть его не могу... никогда, никогда въ жизни!..

Слезы ручьемъ текли у нея по лицу, она вся дрожала, силясь удержать громкія рыданія, готовыя вырваться каждую минуту изъ груди. Несмотря на охватившее ее чувство тоски и отчаянія, она сознавала все-таки всю неприличность своего поведенія въ этомъ домѣ, и передъ кѣмъ же? передъ благодѣтельствующею ее доброю барыней. Она понимала, какъ дико разнеслись бы ея рыданія по этимъ большимъ, спокойнымъ комнатамъ, она понимала это, и употребляла неимовѣрныя усилія, чтобы сдержать себя. На минуту въ глазахъ у нея потемнѣло и все закружилось и она, оставивъ руки Лили, прислонилась головой къ косяку двери.

Лили была растрогана до глубины души всею этою сценой. У нея самой текли по щекамъ слезы. Увидя, что женщинѣ дурно, она не позвала даже лакея, а сама налила ей изъ графина воды и подала напиться изъ своего собственнаго голубого стаканчика.

— Успокойтесь, милая! — уговаривала она женщину, поспѣшно вынимая изъ кармана кружевной платокъ и вытирая имъ свои покраснѣвшіе глаза.—Повѣрьте, я буду любить вашего Сашу, какъ родная мать, какъ родного сына... Ну, что дѣлать? поскучаетъ первое время ребенокъ, а тамъ и забудетъ васъ. Повѣрьте, что онъ будетъ у насъ счастливъ. И васъ мы никогда, никогда не оставимъ, будьте въ этомъ увѣрены! Вы не будете съ этого момента знать такую нужду, въ какой вы живете теперь. Только обѣщайте мнѣ не видать вашего сына и совсѣмъ, совсѣмъ забыть его.

Мать уже успѣла овладѣть собою.

— Сударыня! — сказала она, — забыть его я никогда не забуду, не хочу и обманывать васъ въ этомъ, потому я никогда не могу забыть его. А видѣться съ нимъ не буду, коли таково ваше желаніе. Хоть мнѣ это и очень трудно...

— Ну да, я понимаю, что вамъ тяжело; но вѣдь это для его же счастья, поймите, милая!—внушительно говорила Лили.

Мать снова стала утирать платкомъ закапавшія изъ глазъ слезы.

— А осмѣлюсь спросить васъ, сударыня,—робко начала она послѣ непродолжительнаго молчанія, - могу я сейчасъ видѣть его?..—Но голосъ снова измѣнилъ ей. Она опять умолкла на мгновенье и потомъ добавила: — Проститься съ нимъ?

— Можете, конечно,—отвѣтила Лили:—я не имѣю права запретить вамъ это теперь, я вполнѣ понимаю ваше желаніе. Но вы успокойтесь прежде, милая, а то онъ увидитъ ваши заплаканные глаза, ваше разстроенное лицо, и самъ расплачется, бѣдненькій!

Женщина помолчала.

— Успокоиться я все равно теперь не могу. Позвольте мнѣ хоть только взглянуть на него, — сказала она:—гдѣ онъ тамъ, чѣмъ занимается.

— Хорошо, пойдемте,—сказала Лили.—Онъ въ дѣтской, среди всевозможныхъ игрушекъ, и тамъ съ нимъ дѣвочка, дочь нашего повара.

Онѣ прошли нѣсколько роскошно-убранныхъ комнатъ, прежде нежели достигли дѣтской. Онѣ остановились у затворенной двери и стали прислушиваться. Изъ глубины комнаты раздавался звучный, веселый голосокъ Сани: „Но-но-но!.. Ноже ты, но!“ кричалъ онъ, весь отдавшись увлеченію: „но, пошелъ, но!“

Мать и Лили переглянулись между собою и невольно улыбнулись другъ другу.

Лили, пріотворивъ немного дверь, заглянула первая въ комнату, опять улыбнулась и посторонилась, давая мѣсто матери.

Саня сидѣлъ посреди комнаты верхомъ на деревянной лошадкѣ и, раскачиваясь взадъ и впередъ на деревянныхъ крашеныхъ полозьяхъ и болтая оголившимися ножонками, стегалъ ее тоненькимъ кнутикомъ по бокамъ и по заду. Онъ сидѣлъ спиной къ двери, и мать не могла видѣть лицо его. Но зато она слышитъ его веселый голосокъ, видитъ, какъ усердно и съ какимъ увлеченіемъ работаетъ онъ руками и ногами, и мгновенно возникаетъ въ ея воображеніи счастливый образъ ея Саньки: она ясно видитъ, какъ яркій румянецъ заливаетъ его блѣдныя щечки, какимъ восторгомъ горятъ его сѣрые, добрые глазки, въ какую самодовольную, счастливую улыбку раздвигаются ежеминутно его пухленькія, чмокающія и понукающія лошадку губы.

— Боже мой!—шепчетъ она, обращаясь къ Лили,—такъ занялся, что и о матери забылъ совсѣмъ, и не чуетъ его сердце, что ужъ въ послѣдній разъ...

Но вдругъ ей вновь подступили къ горлу спазмы и перехватили духъ. Она схватилась обѣими руками за шею, силясь еще разъ подавить готовыя вырваться изъ груди неукротимыя рыданья; но, почувствовавъ, что теперь это выше силъ ея, она кинулась прочь отъ двери дѣтской, промчалась по роскошнымъ, торжественно спокойнымъ комнатамъ дома, влетѣла въ переднюю и, распахнувъ настежь входную дверь, выскочила на парадную лѣстницу.

Лили въ недоумѣніи остановилась посреди залы. Она даже не позвонила и не приказала запереть за этой странною женщиной дверь. Съ поникшею бѣлокурою головкой, обрамленной мелкими завитками, стояла она посреди комнаты и чѣмъ-то трогательнымъ и неотразимо-граціознымъ вѣяло отъ всей ея маленькой, изящной фигурки. Стоящее наискось зеркало съ любовью отразило ея нѣжный образъ на своемъ гладкомъ, блестящемъ стеклѣ; робкій лучъ солнца, проникавшій сквозь бѣлыя тюлевыя, зашитыя крупными цвѣтами, занавѣски, сплошь задергивавшія большія окна, робко прильнулъ къ ея разгорѣвшейся щекѣ и нѣжно золотилъ и бѣлокурыя пряди волнистыхъ волосъ, и мелкіе завитки, разсыпавшіеся подъ ея гладко зачесаннымъ миніатюрнымъ затылкомъ... Вдругъ Лили быстро подняла голову и торопливыми шагами направилась къ кабинету мужа.

— Non, vraiment, Nica,—заговорила она взволнованнымъ голосомъ, входя въ кабинетъ и быстро подходя къ письменному столу,—vraiment nous ne connaissons pas notre peuple, mais pas-du-tout, pas-du-tout! Ces gens-là sont très sensibles, mais très *).

И она начала было разсказывать мужу исторію съ этою женщиной, но Ника съ первыхъ же словъ прервалъ жену замѣчаніемъ:

— Я рѣшительно не вижу причины, почему бы тебѣ надо было волноваться. Ты-то тутъ при чемъ? Ну, она мать, съ ея стороны я понимаю... Ну, а ты-то? Нѣтъ, успокойся, успокойся совершенно, иначе я тебя и слушать не стану...

Е. Шелеметьева.

---

*) Нѣтъ, Ника, мы, право, не знаемъ нашего народа; совсѣмъ не знаемъ! Эти люди очень чувствительны, очень...

Въ семьѣ.

(Предъ чужимъ чистымъ счастьемъ).

> Наступаютъ дни, когда каждый будетъ любить только себя и семью свою, и когда каждый ничего не будетъ видѣть кромѣ себя и семьи своей.
>
> Изъ книгъ пророческихъ.

Дождь сегодня такъ злобенъ, и вечеръ такъ мглистъ,—
За окномъ ужъ нигдѣ не увидишь огней.
Точно стонъ, изъ холоднаго мрака полей
Чуть доносится поѣзда трепетный свистъ.

Все притихло вокругъ, все оковано сномъ;
Даже псы притаились въ своихъ конурахъ...
Только буйному ливню раздолье кругомъ,
Только вѣтеръ наводитъ томительный страхъ...

Жутко станетъ, какъ вспомнишь, что, можетъ, бредутъ
По размытымъ полямъ, по трущобамъ лѣснымъ
Сотни жалкихъ бродягъ, подъ покровомъ почнымъ,
Безъ надежды на хлѣбъ, безъ надеждъ на пріютъ.

А у насъ такъ тепло и свѣтло... Самоваръ
На столѣ свою тихую пѣснь поетъ,
Ярко лампа горитъ, и ласкающій жаръ
Изъ натопленной печки волною плыветъ.

Дремлетъ наша дѣвчурка: давно ужъ она
Вмѣстѣ съ куклой въ постельку къ себѣ улеглась,
Но сквозь нѣжный туманъ золотистаго сна
Губки что-то лепечутъ, блаженно смѣясь.

И Евангелья истиной дышущій стихъ
Мы читаемъ съ тобой послѣ мирныхъ трудовъ,
И въ очахъ лучезарно-смиренныхъ твоихъ
Свѣтитъ кроткій восторгъ отъ спасительныхъ словъ.

Я на этотъ покой безъ укора смотрю,—
Онъ—минутный привалъ на далекомъ пути:
Я одною съ тобой тайной жаждой горю,
Жаждой къ свѣту Христа сколько силъ есть идти.

Если братъ, истомленный безвѣрьемъ людскимъ,
Чуть дыша подъ крестомъ дикой злобы людской,
Ищетъ тѣхъ, кто склонился-бъ съ участьемъ надъ нимъ,
Ищетъ отдыха слабой, голодной душой, —

Къ намъ стучись: мы откроемъ тебѣ нашу дверь,
Мы несчастнаго друга обнимемъ, любя;
Послѣ тяжкихъ скорбей, послѣ горькихъ потерь,
Какъ съумѣемъ, голубчикъ, утѣшимъ тебя.

Вѣдь на то намъ и счастья такъ много дано,
Чтобъ сіяньемъ любовнѣйшей ласки своей
Изстрадавшимся братьямъ свѣтило оно
Въ ужасающей тьмѣ этихъ мертвенныхъ дней!

И. Горбуновъ-Посадовъ

Конецъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	
Новое знакомство. Стихотвореніе *А. Барыковой*	1
Первыя воспоминанія. (Изъ неизданныхъ авто-біографическихъ замѣтокъ.) *Л. Толстого*	2
Мать. Стихотвореніе *С. Надсона*	6
Одна. (Изъ „Степныхъ думъ“.) *И. Горбунова-Посадова.*	8
Двѣ матери. (Изъ Ф. Коппе.) Стихотвореніе *А. Чуминой*	16
Груня Богоданная. (Изъ романа „Въ лѣсахъ“.) *А. Печерскаго*	22
Незаконный. Стихотвореніе *А. Барыковой*	35
Квитанція. (Изъ статьи „Живыя цыфры“.) *Г. Успенскаго*	36
Грѣшница. (Изъ Гейне.) Стихотвореніе *А. Плещеева*	45
Мальчикъ у Христа на елкѣ. Разсказъ *Ѳ. Достоевскаго*	46
Дѣлежъ. (Изъ Э. Манюэля.) Стихотвореніе *В. Лихачева*	50
День Васи. Разсказъ *К. Баранцевича.*	54
Два мальчика. Стихотвореніе *А. Барыковой*	68
Свиданіе Анны съ сыномъ. (Изъ романа „Анна Каренина“.) *Л. Толстого.*	70
Маты. Стихотвореніе *Днипровой-Чайки*	78
Христіанка. (Быль.) *И. Горбунова-Посадова*	81
Сынъ гаера. Стихотвореніе *гр. А. Голенищева-Кутузова*	88
На перепутьи. Стихотвореніе *И. Горбунова-Посадова*	
Казачка провожаетъ сыновей въ Сѣчь Запорожскую. (Изъ повѣсти „Тарасъ Бульба“.) *Н. Гоголя*	90
Внимая ужасамъ войны... Стихотвореніе *Н. Некрасова*	94
Питомка. Разсказъ *В. Слѣпцова*	95
Шматокъ хлиба. Стихотвореніе *В. Чайченко*	109
Голосъ совѣсти. Разсказъ *А. К-ской*	110
Наймычка. Поэма *Т. Шевченко*	118
Роды. (Изъ романа „Анна Каренина“.) *Л. Толстого.*	133
Сбѣжавшая больная. Стихотвореніе *Я. Полонскаго*	144

Стр.

Пріемышъ. (Быль.) *В. Короленко* 146
Утро на берегу озера. Стихотвореніе *И. Никитина* 155
Воровской сынъ. Разсказъ *Н. Лѣскова* 157
Женщина. Стихотвореніе *С. Надсона* 162
Бабушка. (Изъ поэмы „Семья“). *Д. Мережковскаго* 167
Зимняя ночь въ деревнѣ. Стихотвореніе *И. Никитина*. 168
Мать. Стихотвореніе *А. Майкова* 169
Мертвое дитя. Стихотвореніе *И. Сурикова* 171
Мать и дѣти. (Съ новогреческаго.) Стихотвореніе *А. Майкова* 172
Смерть матери. (Изъ „Дѣтства“.) *Л. Толстого*. . . . . —
Умирающая мать. Стихотвореніе *А. Апухтина* 177
Сынъ боленъ! (Изъ „Семейной хроники“.) *С. Аксакова*. . . . . —
Мать. Стихотвореніе *А. Подолинскаго* 179
Материнское сердце. Сказаніе 180
Воробей. Стихотвореніе въ прозѣ. *И. С. Тургенева*.. 182
Изъ поэмы „Рыцарь на часъ“. *Н. Некрасова* 183
Любовь великая. Разсказъ Кота-Мурлыки *(Н. Вагнера)* 188
Старая сказка. Стихотвореніе *С. Надсона* 218
У наймы. Разсказъ *Д. Марковича* 219
Нечистые цвѣты. (Изъ Ф. Коппе.) Стихотвореніе *А. Барыковой* . . . 233
Въ пріемыши. Разсказъ *Е. Шелеметьевой* 335
Въ семьѣ. (Предъ чужимъ чистымъ счастьемъ.) Стихотвореніе *И. Горбунова-Посадова*. 258

ПРОПУСКЪ ВЪ СБОРНИКѢ:

На стран. 50, въ концѣ разсказа: «Мальчикъ у Христа на елкѣ», пропущена авторская подпись: «Ѳ. Достоевскій».

Главный складъ сборника находится въ книжн. магазинахъ И. Д. Сытина и К°. Москва, у Ильинскихъ воротъ, д. Титова.

Адресъ составителя: Ст. Россошь, Воронежской губ. Ив. Ив. Горбунову.

Списокъ нѣкоторыхъ изъ книгъ, полезныхъ для матерей и воспитательницъ.

I.

Книги, касающіяся беременности, родовъ и первоначальнаго физическаго воспитанія дѣтей.

Токологія или наука о рожденіи дѣтей. Д-ра медиц. Алисы Стокгэмъ. Съ предисловіемъ Л. Н. Толстого. М. 92 г. Изд. 2-ое.

(Гл. I. Безболѣзненное дѣторожденіе. Гл. II. Зачатіе.—Развитіе плода. Гл. III. Беременность.—Признаки и симптомы. Гл. IV.—V.—VI. Болѣзни беременности. Гл. VII. Одежда беременныхъ. Гл. VIII. Купанье беременныхъ. Гл. IX. Пища беременныхъ. Гл. X. Движеніе беременныхъ. Гл. XI. Цѣломудрія въ супружескихъ отношеніяхъ. Гл. XII. Вентиляція (провѣтриваніе).—Отдыхъ. Гл. XIII. Роды. Гл. XIV. Трудные роды. Гл. XV. Послѣродовыя болѣзни. Гл. XVI. Младенцы; уходъ за ними при рожденіи и въ періодъ ранняго младенчества. Гл. XVII.—XVIII. Болѣзни дѣтей. Гл. XIX. Выкидышъ. Гл. XX. Менструація. Гл. XXI. Женскія болѣзни. Гл. XXII. Критическій возрастъ.—Менопауза. Гл. XXIII. Діэтическій столъ).

Мать и дитя. Гигіена въ общедоступномъ изложеніи. В. Н. Жука. Спб. 4-ое изд. 1889 г.

(I. Наслѣдственность. II. Беременность. III. Жизнь утробнаго младенца. IV. Уходъ за новорожденнымъ. V. Уходъ за родильницей. VI. Одежда грудныхъ дѣтей. VII. Дѣтская и ея принадлежности. VIII. Мать и кормилица. IX. Искусственное вскармливанье. X. Первые годы жизни).

Гетцъ. Уходъ за здоровыми и больными дѣтьми. 2-ое изд. Спб. 1880 г.

Галанинъ. Письма къ матерямъ объ уходѣ за здоровымъ и больнымъ ребенкомъ. 2-ое изд. 1891 г.

Волкенштейнъ. У колыбели. Совѣты молодымъ матерямъ. Спб. 1876 г.

Якоби. Уходъ за дѣтьми и вскармливаніе. Кіевъ. 1878 г.

Миллеръ. Анатомическія и физіологическія особенности дѣтскаго организма. М. 1885 г.

II.

Дальнѣйшее нравственное, умственное и физическое воспитаніе.

А—ва. Картинки домашняго воспитанія. Спб. 1879 г.

Колоколова. Письмо матери къ матерямъ. Спб. 1876 г.

Водовозова. Умственное и нравственное развитіе дѣтей Изд. 4-ое. Спб. 1891 г.

Филипповъ. О первоначальномъ воспитаніи дѣтей. М. 1892 г.

Симоновичъ. Замѣтки объ индивидуальномъ и общественномъ воспитаніи дѣтей. Два тома. Спб. 1874 г.

Сикорскій. Воспитаніе въ возрастѣ перваго дѣтства. Спб. 1884 г.

Руссо, Ж. Собраніе сочиненій. Т. I. *Теорія воспитанія.* («Эмиль». Изложеніе «Новой Элоизы» и воспитательныя теоріи М-me Вольмаръ. Семь писемъ о воспитаніи и пр.) Спб. 1866.

Пэре. Первые три года жизни ребенка. Спб. 1879 г.

Прейеръ. Душа ребенка. Спб. 1891 г.

Стоюнинъ. Педагогическія сочиненія. Спб. 1892 г.

Толстой Л. Н. XIII томъ собранія сочиненій. (Послѣсловіе и пр.).

Бьернсонъ. Единобрачіе и многобрачіе. Призывъ къ сѣверной молодежи. Переводъ П. Ганзена. Спб. 1891 г.

Корнигъ. Гигіена цѣломудрія.

Кривенко. Физическій трудъ, какъ необходимый элементъ образованія. Изд. 2-ое.

Покровскій. Дѣтскія игры, преимущественно русскія. М 1887 г.

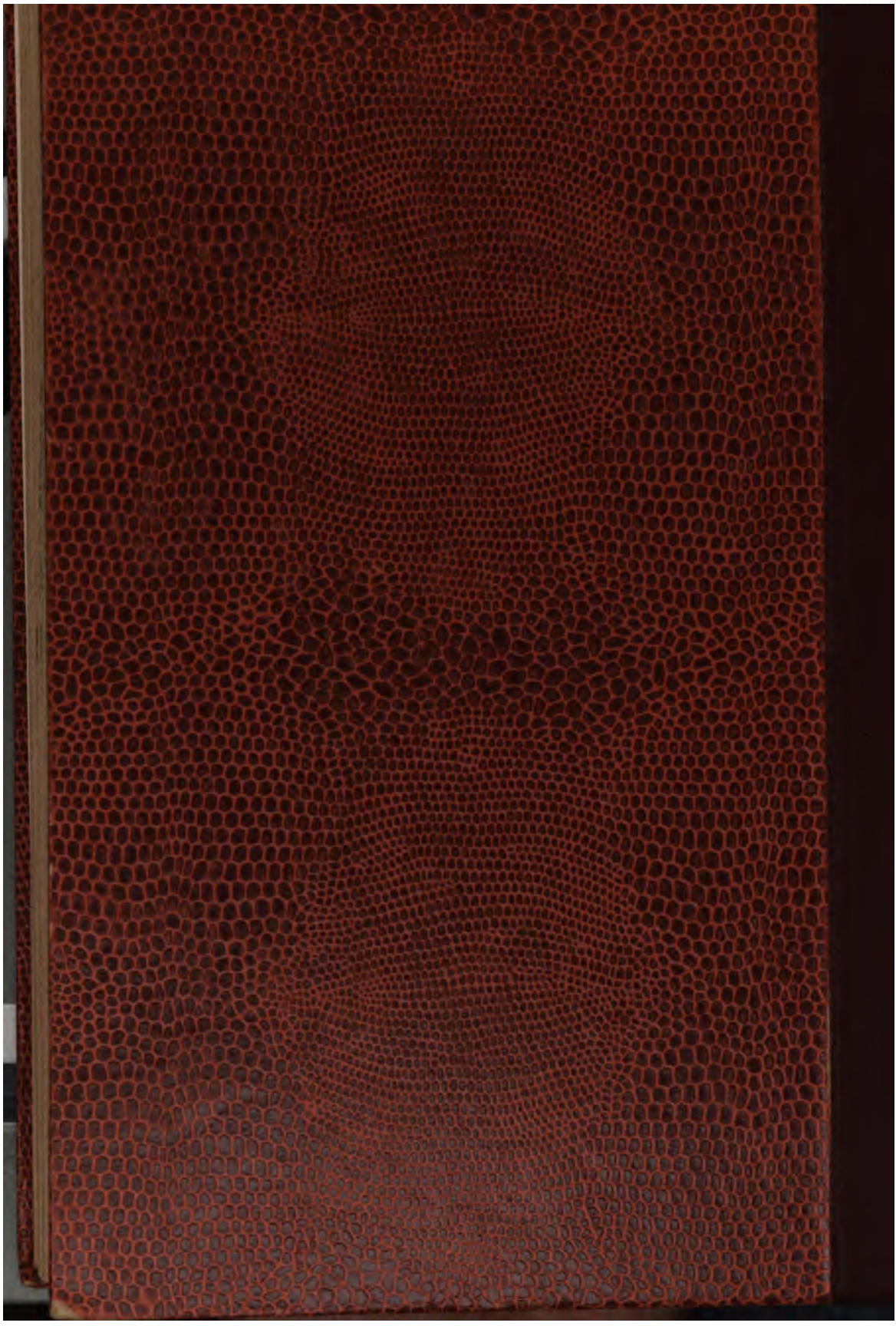
Висковатовъ. Сборникъ игръ и занятій для семьи и школы. Спб. 1884 г.

PG 3205 .M6 R8 1892
Russkim materiam :
C.1
Stanford University Libraries
3 6105 040 171 550

TR

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

AUG 16 1998